Библиотека Казахской Литературы

Габит МУСРЕПОВ

Улпан ее имя

Аннотация: Роман «Улпан ее имя» охватывает события конца XIX и начала XX века, происходящие в казахском ауле. События эти разворачиваются вокруг главной героини романа – Улпан, женщины незаурядной натуры, ясного ума, щедрой души.

«… все это было, и все прошло как за один день и одну ночь».

Этой фразой начинается новая книга – роман «Улпан ее имя», принадлежащий перу Габита Мусрепова, одного из основоположников казахской советской литературы, писателя, чьи произведения вот уже на протяжении полувека рассказывают о жизни степи, о коренных сдвигах в исторических судьбах народа.

Люди, населяющие роман Г. Мусрепова, жили на севере нынешнего Казахстана больше ста лет назад, а главное внимание автора, как это видно из названия, отдано молодой женщине незаурядного характера, необычной судьбы – Улпан. Умная, волевая, справедливая, Улпан старается облегчить жизнь простого народа, перенимает и внедряет у себя все лучшее, что видит у русских. Так, благодаря ее усилиям сибаны и керей-уаки первыми переходят к оседлости. Но все начинания Улпан, поддержанные ее мужем, влиятельным бием Есенеем, встречают протест со стороны приверженцев патриархальных отношений. После смерти Есенея Улпан не может больше противостоять им, не встретив понимания и сочувствия у тех, на чью помощь и поддержку она рассчитывала.

«…она родилась раньше своего времени и покинула мир с тяжестью неисполненных желаний и неосуществившихся надежд», – говорит автор, завершая повествование, но какая нравственная сила заключена в образе этой простой дочери казахского народа, сумевшей подняться намного выше времени, в котором она жила.

Пока женщина не встает,

мужчина не просыпается.

… все это было, и все прошло как за один день и одну ночь.

1

Есеней, верхом на коне, с гребня высокого холма в урочище Каршыгалы смотрел как издали неторопливым живым потоком, которому не видно конца, накатываются его табуны. После стравленных подчистую летних пастбищ, теперь, осенью, под копытами коней лежали припорошенные снегом нетронутые травы. Верно, лучше места для зимовки не надо и искать… Есть ложбины, где всегда заблаговременно укроешь лошадей от свирепых здешних буранов. Невдалеке – тоже надежная защита от непогоды – длинными косматыми гривами протянулись леса, еще не совсем потерявшие листву. Ему казалось даже, что отсюда, с холма, слышен успокаивающий сердце хруст сочной травы на крепких лошадиных зубах. За судьбу табунов в эту зиму можно кажется, не опасаться. Недаром же говорится: чтобы сгубить богача, достаточно одного джута, а чтобы сразить батыра – одной пули. А он – и богач, и батыр. И, как бы для подтверждения этих своих мыслей и в ожидании похвалы новым угодьям, он повернулся в седле к спутникам.

С ним на холме было еще четверо.

Одного из них звали, по происхождению недавнего предка, Туркмен-Мусрепом, он был самым близким соратником Есенея. Второй – тоже Мусреп по имени, и к его имени привычно прибавлялось – охотник, он происходил из рода алдай. Неподвижно сидел в седле молчаливый Бекентай-батыр. А четвертым с ними был

Кенжетай – младший брат Туркмен-Мусрепа, постоянный коновод у Есенея.

Они были очень разные – два Мусрепа. Туркмен-Мусреп обладал тонким слухом, и сыбызгы – свирель из степного курая – оживала, когда он подносил ее к губам. Он и сам сочинил несколько кюев, которые услаждали слушателей во многих аулах. Под ним всегда ходил отборный конь. Туркмен-Мусреп питал пристрастие к щегольской одежде и вел легкую жизнь джигита, лишенного семейных забот, хоть в его холеных усах и бороде можно было, присмотревшись, заметить несколько – пока всего несколько – седых волосков.

О страсти его тезки лучше всего говорило прозвище – охотник. Его просто нельзя было представить в другом виде – на правой руке нахохлившийся черный беркут в колпачке, по кличке «Гроза лис», за спиной – длинноствольная берданка на сошках. Намолчавшись в одиночестве на охоте, этот Мусреп любил поговорить, но красноречием не отличался.

Эти места показал Есенею именно он, и сейчас, поймав его взгляд, постарался напомнить о своей заслуге:

– О, ага-султан! Что я говорил? Теперь и сам видишь… Для твоих лошадей сам аллах создал эти зимние пастбища! Пока что Каршыгалы никому не принадлежит. Один раз перезимуешь, и его назовут урочищем ага-султана, и оно достанется в наследство детям и внукам твоим!

Есеней молча смотрел на него. Не только красноречием, но и сообразительностью и чуткостью Мусреп-охотник тоже не отличается… Не так уж и много сказал слов, а дважды больно задел Есенея. Пока что высокое звание, высокий чин ага-султана – это только мечта, которой он добивается много лет, а добьется или нет –

неизвестно. «Детям и внукам твоим…» Как это должен воспринимать тот, у кого оба сына умерли в один день, а жена двадцать лет назад перестала рожать… В устах всякого другого это прозвучало бы оскорблением, издевкой! Но такой уж Мусреп-охотник неудачливый льстец, хочется ему во что бы то ни стало угодить.

Прошлой зимой, встретившись на охоте, он подарил Есенею двух красных лис и трех хорьков и с тех пор держит себя несколько вольно. А с минувшего бабьего лета стал вообще неразлучен с Есенеем, натаскивает его молодых легавых арабской породы. Потому-то Есеней и позволял ему иной раз то, чего другому не позволил бы, и сейчас только мотнул головой, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

Туркмен-Мусреп, который всегда и все понимал, решил предостеречь Есенея.

– И так видно, с первого взгляда, – сказал он, – что травостой здесь богатый, пастбища берегли, не трогали ни летом, ни осенью… Но где теперь найдешь ничейные земли? Кому-то все это принадлежит…

Мусреп-охотник недовольно перебил его:

– Много ты знаешь! Это самая ничейная из всех ничейных земель! Разве есть в этих краях хоть один уголок, где бы я не побывал? Я по морде, по меху могу определить, какая лиса или какой волк из какого урочища… И сколько их там… Бог свидетель – в Каршыгалы сейчас три тысячи волков, пять тысяч лисиц, двенадцать тысяч хорьков и семь тысяч зайцев!..

Туркмен-Мусреп съязвил:

– Бедные волки, бедные лисы… Они же голодными останутся, раз так мало зайцев… Но, может быть, Мусеке, вы тогда скажете нам, сколько здесь белых и сколько черных куропаток?

– Верно, – поддержал шутку Есеней. – Если тут столько голодных волков, то они за зиму сожрут все мои табуны, и я останусь и пешим, и голодным…

Время шло к вечеру, и сперва небо, затянутое темными тяжелыми тучами, просеивало мелкую снежную крупу, а потом повалили тяжелые хлопья.

Кенжетай тронул брата за рукав и кивнул в сторону леса. Туркмен-Мусреп тоже всмотрелся и обратился к Есенею:

– Мне кажется, мы здесь не одни… С опушки тянется дым костров… А вон и всадники!

К ним от леса направлялись трое. Один – впереди, его конь шел иноходью. Джигит, подъехав почти вплотную, сдержал коня и, ничуть не смущаясь, воскликнул;

– Ассалаумаликем, почтенные! Нас послали передать вам просьбу трех аулов рода курлеутов-переселенцев… Пастбища в Каршыгалы мы все лето и осень не трогали, надеясь зимой найти здесь спасение. Наши аулы не могут силой отстоять Каршыгалы… Нас послали в надежде, что просьба обездоленных будет благосклонно выслушана сильными, но честными.

Мусреп-охотник, который и самого себя считал чуть ли не владетелем этого урочища, грубым окриком оборвал юношу:

– Не мели вздора, щенок! Смотри… Своим курлеутам передай, пусть они не вздумают спорить из-за земли, куда ступили копыта лошадей ага-султана Есенея!

Но юноша не заробел, не смолчал:

– Может, вы и не считаете за людей тех, у кого нет своего Есенея… Но мы все равно просим повернуть назад табуны… Они же пожаром пройдут по нашей земле!

Мусреп-охотник вскипел:

– Ты с кем говоришь, негодяй? Если тебя не сумели воспитать в почтении к старшим… Я сейчас… Хочешь, чтобы тебя выпороли по голой заднице?!

Он даже тронул своего коня, но Есеней остановил его властным движением.

Юноша ждал.

А Есенею парень понравился… Глаза у джигита, не переступившего, должно быть, и двадцатой весны, горели отвагой и решимостью. Такими же могли быть и его сыновья, которых в один день унесла черная оспа. И в своем роду – роду сибанов, состоящем из десяти больших аулов, – он незаметно, но внимательно наблюдал за молодыми джигитами и старался поддерживать их, если нужно было и можно… Есеней незаметно кивнул Туркмен-Мусрепу, призывая его сгладить грубость охотника.

Туркмен-Мусреп и сам слышал, что парень назвал своих курлеутами-переселенцами. Сорваны люди с родных земель… Стало быть, аулы, пославшие его, еле сводят концы с концами. Наверное, нет у них даже влиятельного аксакала-бия – златоуста, который в споре мог бы отстоять права своих сородичей.

– Слушай, сынок, такая просьба, как ваша, не может остаться без внимания, – мягко сказал он. – Так и передай своим в ауле… А про тебя я не скажу, что ты – невоспитанный. Кто красив лицом, бывает красив и душой. Может быть, ты погорячился, но мы понимаем, это – от отчаяния…

Есеней одобрительно слушал Туркмен-Мусрепа, а юноша, не испугавшийся угроз Мусрепа-охотника, не смутился и от ласковых слов, только что им услышанных.

– Уважаемые… Люди, меня пославшие, не требовали, чтобы я горячился или проявлял гордыню. Если так случилось, то виноват только я. Верное слово, как стрела, поражает цель. А неверное – бьет в грудь того, кто его произнес. Вот вам мой аип!

Он спрыгнул с коня и небрежно бросил повод Кенжетаю.

– Если ты коновод, поведешь и этого…

Все произошло так быстро, что они и опомниться не успели. Парень спешил одного из своих провожатых, вскочил на его коня и бросил на прощанье:

– Простите, если я что не так сказал…

Его товарищи устроились на одном коне, и все направились обратно к лесу.

Есеней по-прежнему молча смотрел им вслед, но Туркмену-Мусрепу, который понимал его и без слов, показалось, что он готов был чуть ли не последовать за молодым джигитом.

– Почему не дали мне? – с обидой произнес Мусреп-охотник. – Надо было выпороть наглеца по голой заднице! – Он снова разозлился и, должно быть, представлял, как бы взлетала его плеть, наказывая парня.

Туркмен-Мусреп с усмешкой взглянул на него, на Есенея.

– Интересно, чья это может быть дочь? – спросил он, как бы размышляя с самим собой.

– Дочь?.. – лишь второй раз за все это время обронил Есеней.

– Конечно! У нас Мусреп-охотник всех лис тут знает, а самую прекрасную из них не заметил. А ты сам? Когда она сказала: «Вот вам мой аип», взгляд у нее был не только решительный, открытый… На Есенея она взглянула с чисто девичьим любопытством.

– Вот Туркмен, вот Туркмен… – смеялся Есеней. – Но молодой ведь! И ни одна не укроется от твоего взгляда. Может быть, тебя будем звать – Мусреп-охотник?

А сам охотник был просто ошеломлен:

– Девушка?.. Если это верно, значит, господь ударил меня соилом по голове! Я опозорен… Тогда это дочь Артыкбая, это Улпан! И месяца не прошло, как я ночевал у них. Как же я не узнал их вороного иноходца? Улпан целый день провела со мной на охоте, и я подарил ей двух жирный гусей… Ах ты, моя милая… Как же я теперь взгляну в твои глаза?

– Когда будешь пороть, это тебе, конечно, не удастся, – доконал его Туркмен-Мусреп.

Ответить охотнику было нечего, он совсем опустил голову, и Есеней спросил, чтобы окончательно рассеять сомнения:

– Ты уверен? Она действительно дочь Артыкбай-батыра?

– Ойбай, ага-султан! Другой такой девушки здесь не встретишь… Это она, Улпан. И конь ее… Вон, Кенжетай держит вороного иноходца. Посмотри сам – у бабок на задних ногах одинаковые белые кольца, а на лбу звездочка. Когда такой конь идет иноходью – и капли воды не прольется из пиалы, поставленной на его круп.

Сейчас каждый из них в отдельности недоумевал – как он не распознал сразу в юном джигите девушки… Впрочем, ведь и день был пасмурный, и дело шло к вечеру, и по-прежнему опускались сверху крупные хлопья… Да и кто пошлет девушку по важному делу!

Можно было и не распознать, но все равно Мусреп-охотник горестно вздыхал, Есеней щурился, Кенжетай с уважением посматривал на старшего брата. И только Бекентай-батыр, невозмутимый, как многие сильные люди, спокойно ждал, что будет дальше.

Улпан торопила коня.

Ее сородичи – курлеуты – проведали, что с летних степных пастбищ, идут табуны Есенея. И встревожились. Тем более, дозорные узнали среди нескольких всадников самого Есенея.

Узнала его и Улпан – сидящего на большом темно-мухортом коне. Узнала, хоть голова была покрыта капюшоном из черного толстого сукна. Узнала, и ей вспомнилось, как она испугалась, увидев Есенея впервые. Сколько ей было тогда? Лет пять, не больше.

Отец решил – пусть едет она разговаривать с неожиданными пришельцами, и Улпан переоделась и постаралась вести себя так, чтобы никто из них не догадался, что не с молодым джигитом они ведут переговоры…

Сейчас Улпан казалось, что это ей удалось, и она была очень довольна собой.

После ее внезапного отъезда спутники Есенея, да и он сам, не знали, что теперь делать. С девушки взяли аип! Вороной конь, рывший копытом снег, стоял возле Кенжетая живым укором их недогадливости. Может быть, в эту минуту Есеней вспомнил народное присловье: «Жертвуй скотом ради спасения жизни, жертвуй жизнью ради спасения чести».

Туркмен-Мусреп поймал его взгляд:

– Нам должно быть стыдно уже за то, что мы ворвались в земли Артыкбай-батыра, – сказал он. – Но самый большой позор – мы позволили его дочери оставить коня за мнимую ее провинность!

Он продолжал смотреть в рябое, изъеденное давней оспой, лицо Есенея.

Есенею самому никогда не приходилось платить аипа, за всю его долгую жизнь. А с тех пор, как он – уже очень давно – стал бием, он всегда требовал строгого наказания виновных в нарушениях неписаных, не всегда справедливых но твердых степных установлений… И сейчас ему было неловко и смешно, что он сам – по глупой случайности – стал виновным. Тем более, что Артыкбай, хоть и очень давно они не встречались, не раз выручал его, спасал и от позора, и от неминуемой смерти.

Потому он затруднялся, не считая себя вправе решать, как поступить. Туркмен-Мусреп сказал:

– По-моему, самое лучшее – вернуть вороного хозяйке. А впридачу – еще одного коня.

Больше всех обрадовался Мусреп-охотник, который хорошо знал, как выследить и загнать зверя, но не представлял себе, как выпутаться из неприятного положения, в какое они попали не без его участия.

– О тезка! О дорогой мой! – закричал он. – Нет лучше друга и советчика у ага-султана! Отведите бедным курлеутам моего белого коня…

Но белый конь был стар, и Есеней кивнул Кенжетаю на своего гнедого, по кличке Музбел, что означает – ледяной хребет, у него от головы до крупа тянулась ровная светло-серая полоса. А когда Кенжетай, еле сдерживая вороного, который рвался домой, тронулся с места, Есеней сказал вслед:

– Передай мой привет Артеке… Скажи, завтра сам приеду отдать ему поклон…

Кенжетай с конями в поводу исчез в снежной пелене, и Есеней высказал свое решение:

– За этот холм… Чтобы сюда не ступали копыта ни одной лошади… Кроме коса Садыра. Два коса – перегнать в сторону Кусмуруна, а четвертый – к нашим пастбищам па Аккусаке, Караемене и озере Еламан. Вы, два Мусрепа, останетесь со мной, а ты, Бекентай, поезжай с кусмурунскими косами…

Бекентай кивнул и тронул своего коня, и так они и не узнали, что он думает обо всем, случившемся с ними на этом холме.

Есеней в одиночестве и не торопясь ехал к озеру, еще не успевшему покрыться льдом. Там утром он велел поставить юрты.

«Должно быть, старею, – думал он. – А еще недавно я первым слышал полет стрелы, пущенной вражеской рукой, и успевал отклониться… Как я мог обидеть Артыкбай-батыра? Не подумать – если это аулы курлеутов, то и он с ними… Или хуже стал соображать? Ведь раньше я всегда сам выбирал место для зимовки табунов. А тут доверился охотнику, будто не знаю цены его болтовне… И то, что с нами говорит девушка, не я заметил, а Туркмен-Мусреп…»

Эта случайная встреча заставила Есенея надолго вернуться в прошлое пятнадцатилетней давности. Тогда они почти не расставались с Артыкбаем, и акыны на разные голоса славили подвиги этого батыра. Силу своей руки и несгибаемость духа Артыкбай проявил в борьбе с воинами Кенесары-торе, которые совершали набег за набегом на север казахской степи.

Приходили они и в аулы племен керей и уак, состоящих между собой в близком родстве.

Для начала прибывали гонцы с требованием, чтобы все аксакалы и все карасакалы съезжались в назначенное место, где Кенесары

должен быть избран ханом всех казахов. На размышление – поедут они или не поедут, ухватятся или не ухватятся за края белой кошмы, на которой должны его поднять, – давалось три дня и три ночи.

А размышлять керей-уакам было о чем.

Пять их волостей вплотную граничили с Тобольском, Багланом, Стапом, Кпитаном – в последних двух названиях так приспособили для себя казахи пришедшие от русских слова – штаб и капитан. Были здесь и другие казачьи станицы, были села, деревни…

В Аманкарагайском округе зашумели базары. Чай и сахар, печеный ноздреватый хлеб, полотенца, мыло, ситец, бархат, шелк, кожа тонкой выделки – все это в разной степени, в зависимости от достатка, но все равно входило в быт аульных юрт. Двадцать лет тому назад («теперь это уже тридцать пять лет тому назад, – подумалось Есенею, – больше половины жизни») пало ханство у них, на севере казахской степи, и куда меньше стало междоусобных стычек, схваток, сражений… Люди стали привыкать к тому, что по ночам можно спокойно спать и не обязательно выставлять дозорных.

Всему этому хотел положить конец Кенесары. У народа есть память… Стоило когда-нибудь одного из самоуверенных чингизидов провозгласить ханом, как каждый в своей вотчине творил, что ему вздумается, не считаясь с устоями, легко попирая родовые законы.

Вот почему день и ночь, еще день и еще ночь, и еще трое суток прошло, а ответа, какого ждал Кенесары, не было. Тогда в дело вступили его сарбазы. Сарбазы угоняли косяки лошадей, угоняли девушек и молодых женщин. Что нельзя было угнать или навьючить – жгли. Плохо приходилось аулам, не желающим признавать Кенесары ханом… Но ни сломить их, ни покорить он не смог.

Чем больше думал тогда Есеней, тем меньше понимал он Кенесары. Казалось бы, и не глуп… Но на что же он рассчитывает? Ведь твердо

стоят русские города и на востоке казахской земли, и на западе, и на юге… Уральск, Оренбург, Тобольск, Тюмень, Петропавловск, Омск… Между ними протянулись казачьи станицы. Где же надеется создать свое ханство Кенесары? В Бетпак-Дале? В голой и голодной пустыне? Какой удел готовит он, ненасытный в своей жажде власти, примкнувшим к нему племенам и родам? Ничего, кроме актабан-шубырынды – великих бедствий и горестей? Кое-кто из тех, что последовали за ним два года назад, начали это понимать и бегут из его становищ… Верно, русский урендык возьмет свое в ауле, не пропустит, но все же от соседства с русскими есть и много пользы. А уж от того, что попадет в казан своего хана, тебе даже мутной пены не достанется…

Есеней знал настроения своих близких сородичей – сибанов, знал, что думают и другие, и начал упорно сопротивляться Кенесары. Пять волостей, населенных кереями и уаками, с отчаянной готовностью поддерживали его в борьбе.

2

В казахских междоусобицах случается много раненых, но редко бывают убитые. Лучники чаще всего стреляют издалека, потому и стрелы не поражают насмерть. Сарбаз, вооруженный соилом, боевой дубиной – шокпаром, при известной сноровке легко может отражать удары копьеносцев и даже удачным ответным ударом – переломить копье или пику. И если это удастся, его противник становится вовсе беспомощным и беззащитным. А сабельный бой почти не был в ходу. Так что за три года боев между Есенеем и Кенесары убито не было и трехсот человек. И все же в каждой второй семье находился искалеченный мужчина, на него никто из близких не мог больше надеяться как на кормильца и защитника.

Есенею доносили, что Кенесары стягивает всадников к берегу Ишима, думает переправиться к ним, керей-уакам. Но и Есеней во всех пяти волостях собрал мужчин, способных держать оружие, и рассредоточил их по берегам озер, на джайляу. Во главе отдельных отрядов поставил испытанных батыров и верных аксакалов, а сам в сопровождении сорока всадников отправился в путь – повидаться с начальником Аманкарагайского округа Чингисом Валихановым.

Чингис, сын последнего здешнего хана, назначенный русскими властями ага-султаном, по крови приходился родичем Кенесары, тоже торе… Он не примкнул, как можно было ожидать, к мятежу, но и мер не принимал, чтобы пресечь его разбой. Уходят аулы на сторону Кенесары?.. Пусть уходят… Возвращаются от него беглецы? Пусть возвращаются… И так продолжалось три года. Ага-султан отсиживался в своей орде, как по старой привычке называли его ставку, и заботился больше всего о том, чтобы жители округа, разоренные набегами, исправно снабжали его сорока жирными лошадьми на зимний забой – согым, а на лето сорока дойными

кобылицами и сотней овец… Есеней намеревался выяснить наконец и его настроения, и свои отношения с ним.

Ага-султан на лето перебрался в юрту, и Есеней вошел к нему с неизменным своим спутником Туркмен-Мусрепом и в сопровождении двух батыров – Артыкбая и Садыра.

Чингис встал, чтобы поздороваться с самым влиятельным бием в своем совете. Ага-султан всегда с долей восхищения, но и с опаской посматривал на Есенея – смугло-черного, рябого, лицо которого становилось свирепым, стоило ему что-то посчитать несправедливым.

– Садитесь. На свое место. Оно всегда ваше, – показал он рядом с собой.

При входе Есенея все, кто находился в юрте, поднялись на ноги. Поднялся и посланный Кенесары – Тлеумбет-бий. Поднялся и Жанай-батыр, приехавший с ним.

Есеней принял их почтительные приветствия как должное и сел рядом с ага-султаном с правой стороны, потеснив на этом самом почетном месте Тлеумбег-бия. Усаживаясь, Есеней задел его коленом, и тот, поморщившись от боли, отпрянул.

Когда все расселись, Чингис продолжал:

– Добро пожаловать, Есеке… Я рад вас видеть, но вы приехали на целый месяц раньше, чем мы назначили съезд. Потому только я и хочу спросить – все ли благополучно у вас?

Есеней сердито засопел:

– Боже мой!.. Было бы все благополучно, разве я пустился бы в дорогу? Разве твой взбесившийся родич даст покой подвластному

тебе населению? Что ни день – то набег! Потому я и приехал, что дальше так жить нельзя.

Есеней нарочно говорил о том, что все знали, говорил резко, чтобы задеть Тлеумбета, и каждое его слово било, как рассчитанный удар плети.

Чингис попытался смягчить разговор:

– А мы тут – в орде – живем спокойно, благодаря вам… Мы надеемся – пока сам Есеней находится среди своих, никто не осмелится напасть на керей-уаков…

– Вот уж три года скоро, три года, как керей-уаки стали спать в седлах, – возразил Есеней, глядя в глаза ага-султану.

– О, наш Есеке, оказывается, приехал во гневе… А когда гневается Есеке, я не смею раскрыть уста… – Чингис улыбнулся, и эту улыбку можно было посчитать и попыткой обратить все в шутку, но и напоминанием Есенею, что он все-таки находится в ставке ага-султана. и хорошо бы – он помнил об этом, – Вот и сейчас – не могу даже решиться взывать к его терпению, чтобы не довести дела до открытой ссоры.

Заметив, что узлы в их беседе так и не завязываются, заговорил Тлеумбет-бий. Как всегда торжественно, пересыпая свою речь намеками, слегка нараспев, будто стихи читал:

– С тех времен, как казахи стали казахами, с тех времен

и страна у них своя,

и землю свою они обрели…

Если теперь лишиться ханства,

это значит лишиться всего!

Беда поселится в их аулах,

и перестанут они существовать как народ!

Это прозвучало как заклинание, а дальше Тлеумбет принялся предостерегать:

– Черная саба,

в которой стригун мог бы плавать свободно,

огромный котел из Бухары, вмещающий тушу двухлетки, —

все опустеет,

все останется без хозяина.

А тот,

кто захочет хлеба,

который пекут в больших печах,

а тот,

кто примется хулить хана своего, —

пусть он бий или раб, —

не минует кары!

Тлеумбет уже непритворно задыхался от негодования и закончил туманной угрозой:

– Не приходилось видеть, чтобы благоденствовали такие!

Если бы слушать его впервые и в другой обстановке, это могло бы произвести впечатление. Но Есеней его знал, Есеней не посчитал нужным самому отвечать Тлеумбету, искоса взглянул на Мусрепа.

Тот задумчиво начал:

– Отагасы! Может быть, по молодости лет, по неразумию и легкомыслию я не понял нашего уважаемого Тлеумбет-бия. О каком ханстве, о каком хане, о каком времени он говорил? Двадцать лет, как покинул наш бренный мир Валихан, отец нашего ага-султана, находящегося среди нас. С той самой поры я не знал, что у казахов шести округов в составе Сибирского генерал-губернаторства имеется свой хан! А если недостойное сборище отщепенцев и бродяг называет ханом Кенесары – пусть они и называют! Какое нам до этого дело? Какой благоразумный человек признает его ханом? Зачем? Чтобы грабить и убивать тех, кто отказывается признать Кенесары? Вы, Тлеуке, приезжали к нам дважды – и дважды повторяли один и тот же заученный напев… А что ответили вам тогда кереи и уаки, составляющие пять волостей? Что? Не помните?

Тлеумбет-бий, плотно зажмурив глаза, застыл с опущенной головой. Он не только не хотел видеть Мусрепа, он и слышать не хотел бы ни одного его слова. Неслыханное оскорбление – Есеней, окружной бий, этот русский ставленник, преданный хлебу, который пекут в больших печах, не пожелал лично ответить посланцу Кенесары, его бию, и поручил это какому-то туркмену, которого повсюду таскает за собой…

Но Мусреп еще не кончил.

– Помните свой первый приезд к нам? – продолжал он. – Все сошло вполне благопристойно… А во второй раз? – Он немного выждал и, не обращая внимания на то, что Есеней неодобрительно поморщился, закончил: – Вы тогда вообще вернулись домой без коня!

Вернуться без коня, тем более человеку не простому, а бию – нет большего позора у казахов. И все собравшиеся в доме ага-султана хорошо знали, что имеет в виду Мусреп, и знали, что это – сущая правда.

Кенесары тогда вторично послал Тлеумбет-бия – уговорить керей-уаков, чтобы они подчинились его воле. Кенесары знал, кого послать… Недаром же, восхваляя красноречие прославленного бия, про него говорили – раздвоенное горло, медное нёбо… Он заворожил собравшихся обилием пословиц и поговорок, приведенных к месту, страстной напевностью своей речи… Он заставил взволноваться представителей пяти керей-уакских волостей, и они одобрительно кивали головами, вскрикивали: «О деген-ай, – вот так сказал!..», покоренные не столько смыслом его слов, сколько тем, как он говорит. «О деген-ай!.. Один Едиге, покровитель народа, мог бы сказать так!» – начали они славить бия.

«Похвал мне не надо, лишь бы слово мое дошло до сородичей моих», – скромно ответил Тлеумбет и самодовольно откинулся на пуховую подушку.

Все шло, казалось, как он и рассчитывал.

Но тут из толпы выступил вперед и остановился перед Есенеем пожилой, почти совсем седой человек.

«Есеней, – обратился он к нему. – Может быть, не время… Но я принес тебе жалобу как бию… Спроси у этого святого златоуста, у Тлеумбет-бия спроси: а кому принадлежит желто-пегий иноходец, на котором он приехал к тебе?»

«Наверное, ему… – ответил Есеней. – Думаешь, Тлеумбет-бий станет ездить на чужом коне?»

Тлеумбет-бию пуховая подушка, должно быть, показалась камнем с острыми углами. Он воскликнул, вскакивая:

«Оказывается, ты поставил здесь капкан для меня?!»

Есеней не ответил, ждал, что скажет дальше неожиданный проситель.

«Не знаю, станет или не станет, – продолжал тот. – Но желто-пегий иноходец, прославленный во всех скачках, – мой. Тому две недели… Проклятые разбойники – а этот человек, твой гость, был их вожаком, – угнали табун моих желто-пегих. Хоть бы одного коня оставили, продолжить породу! Я снялся с обжитого места и вчера прикочевал на окраину Кпитана…»

Люди, только что благоговейно слушавшие Тлеумбета, зашумели неодобрительно, но Есеней остановил их движением руки:

«А ты кто будешь?»

«К иному слава приходит через его коня, а к иному – через собак… Саутбек из атыгай-караулов прославился своими желто-пегими собаками, а я, один из никудышных стариков койлы-атыгая. – своим желто-пегим иноходцем, которого у меня теперь нет».

«В таком случае, ты – Жаманбала?»

«Возможно…»

Есеней молчал. Всегда долго приходилось ждать, когда он произнесет решающее слово. А сейчас он предпочел обратиться к Тлеумбету:

«Почтенный бий… Прошу вас – вынесите приговор сами…»

«Сорок ударов плетью!» – скоропалительно откликнулся тот.

«Кому?»

«Разумеется, тому, кто осмелился жаловаться на бия!»

После раздумья – совсем недолгого на этот раз – Есеней обратился к Жаманбале:

«Конь – твой…»

Так это было во второй приезд посланца Кенесары к керей-уакам.

Тлеумбет-бий все еще сидел неподвижно, будто каменная баба, каких много понаставлено в степи с незапамятных времен, не произносил ни слова, не открывал глаз.

Тогда Есеней, по-прежнему не обращая на него никакого внимания, повернулся к Чингису:

– Ты сказал, ага-султан, что я приехал во гневе… А разве нет для этого причин? А сейчас – сколько я услыхал пышных слов! Черная саба, в ней стригун купался бы в кумысе, как в нашем озере Еламан… Котел, в котором можно целиком сварить двухлетку… Все это – пустые слова! Им веры нет! А хулить хлеб – значит брать большой грех на душу. Хлеб стал для казаха тем же, что и мясо. Когда же ханы, имевшие черную сабу и бухар-котел, кормили чернь?.. Я уже говорил тебе… Ну, подняли Кенесары на белой кошме. Ну, стал он ханом. Где будет его ханство? В Бетпак-Дале? То-то аксакалы, которые два-три года назад драли горло громче всех за него, сегодня поворачивают своих людей обратно на родину. Тайком… А если их перехватывают сарбазы Кенесары, то первые плети достаются этим самым аксакалам… Я не вчера родился на свет и еще не выжил из ума! Но вспомни мои слова – Кенесары никогда не станет ханом шести округов. Не много пройдет времени, и он сбежит в сарыаркинские степи, ведь домой, в родные края, ему тоже дороги нет.

Есеней пока сказал все, что хотел сказать, и замолчал.

Молчали и собравшиеся на совет бии, аксакалы, оагыры, ожидая, что скажет ага-султан.

Но молчал и Чингис.

Он понимал правоту Есенея, но не говорил об этом вслух. Что – Кенесары… В Европе никто не решается подняться против русского оружия, подавившего гордыню западных государств. Кенесары ведет народ к беде, и ничем хорошим его мятеж кончиться не может.

Но, если подумать, – а вдруг волостные управители и влиятельные бии всех трех жузов изберут Кенесары ханом. Может быть, правительство царя тоже его признает? И тогда управление степью отойдет к нему? Может ведь и так случиться. Хотя сомнительно. Власть хана ныне – не очень жизнеспособная власть. Народ измучен беспрерывными кровавыми набегами, доведен до отчаяния… Люди уже готовы отречься от Кенесары, а пока что повторяют чьи-то горькие слова: «Самое большее, Кенесары проживет до ста лет, а там, бог даст, сдохнет».

Рябой черный великан, с его умом, все это понимает и недвусмысленно ставит ага-султана, чингизида по происхождению, перед выбором: или, как ага-султан, возглавь борьбу народа против Кенесары, или открыто перейди на сторону родича. С тем, чтобы предъявить такое требование, Есеней и приехал в ставку раньше назначенного времени.

А ага-султан продолжал колебаться. Конечно, человек, назначенный на его пост, к тому же имеющий чин майора, должен был первым подняться против мятежного Кенесары. Но как решиться на это?.. А Тлеумбет-бий, тоже сидящий на почетном месте, настаивает, вкрадчивый шепот его вползает в уши: ты торе, ты ханского рода, твое место рядом с Кенесары… Но как пойти на это?

Есеней посчитал нужным добавить:

– Твой родич Кенесары стянул тысячи сарбазов к землям керей-уаков. Хочет на днях начать наступление. Я не боюсь сказать, что мы тоже не сидим сложа руки, и еще посмотрим, чья возьмет. Ясно одно, на этот раз одна из сторон попросит пощады. Я приехал сказать, чтоб ты знал это.

Ага-султан опять не ответил, и Тлеумбет-бий решил, что хватит отмалчиваться, пора и ему сказать слово. Он обратился к главному своему сопернику:

– Дошла до нас одна весть, и мы не знали – радоваться нам или горевать… Будто бы главный бий Аманкарагайского округа славный Есеней стал русским хоржунщиком… Нам-то все равно, лишь бы тебе было хорошо!

Спокойно выслушав Тлеумбета, он ответил:

– Ну что ж… Я могу быть благодарен своему потертому хоржуну. В нем уместилось двести сарбазов Кенесары… Но мне странно слушать вас… Вы были почтенным бием родов атыгай и караул, а теперь стали расторопным поштабаем у Кенесары, по его первому кивку скачете, куда он скажет, сломя голову. Вас тоже поздравляю с новой почетной должностью.

Присутствующим не надо было объяснять, в чем колкость их слов. И чин хорунжего получил Есеней, и в боях – за три года – взял в плен около двухсот воинов и сдал их в Стап. А Тлеумбет на последних выборах лишился звания бия и состоял при Кенесары, выполняя его поручения.

Чингис в душе проклинал и Есенея, и Тлеумбета… Надо же было, чтобы они сошлись в его доме! Лучше всего тянуть, как ему удавалось тянуть до сих пор. Но если он сейчас не скажет этому настырному великану «да», тот нажалуется Сибирскому генерал-губернатору, что добрая половина большого округа, беспрестанно подвергается нападениям мятежников. Уж там, в Омске, выложит все вчистую. И жалобу есть кому подать: Турлыбек, советник, ведающий всеми шестью казахскими округами, приходится Есенею двоюродным братом с материнской стороны. Жалоба, понятно,

начнется словами: «Я не один раз лично ездил к ага-султану, говорил с ним, предупреждал об опасности, но он моим словам не внял…»

И Чингис в эту минуту размышлял главным образом о том, как бы, по-прежнему не говоря ни «да» ни «нет» обеим враждующим сторонам, постараться прервать эту встречу, которая вот-вот выльется в открытую ссору.

Сам того не подозревая, ему на помощь пришел майор Бергсен, прозванный казахами Берсеном, что значит – данный, приставленный… То ли немец, то ли швед по рождению.

– Господин ага-султан, к конно-спортивным играм все готово, – четко доложил он. – И стрелки тоже готовы. Прикажете начинать?

Чингис обрадовался ему как родному:

– Сейчас, сейчас… – И обратился к своему совету: – Уважаемые бии… Когда льется много слов, истина в них потонет. Нам известно, куда тянет дым костров, разложенных и теми, и другими. Последнее слово еще будет сказано, а сейчас приглашаю вас полюбоваться военным искусством наших людей…

Так он сказал, зараженный суесловным красноречием Тлеумбета, и поднялся.

Гости тоже поднялись и следом вышли наружу.

Берсен – приставленный, так его звали не случайно. Сибирский губернатор прислал ага-султану Чингису двадцать вооруженных казаков. Для охраны. Но, конечно, и для неусыпного наблюдения – тоже.

Казаки начали с джигитовки – и показали себя мастерами. На полном скаку взлетали в седла, на полном скаку под брюхом коня переходили от одного стремени к другому. А как были вышколены

кони! Только что скакали – и вдруг замирали на месте, будто вкопанные, по команде все одновременно легко валились на бок и лежали не шелохнувшись.

Есеней с завистью думал, что вот казахские кони в таком случае растерялись бы, заметались бы по сторонам, пугаясь друг друга, не слушаясь всадника…

Чингис не зря вывел своих гостей, своих советников посмотреть на игры…

После джигитовки казаки вышли в полном боевом снаряжении. Была рубка лозы, когда солнце едва успевало блеснуть в холодном клинке, а сам клинок не удавалось рассмотреть – с такой скоростью взлетала и опускалась шашка. Была стрельба – с ходу в чучело. Был учебный бой – с пиками, и, хоть казаки яростно налетали друг на друга, никто даже поцарапан не был.

Мусреп, стоявший неподалеку, обратил внимание, как многозначительно посматривает Чингис на Тлеумбета. Дает наглядный урок, чтобы тот передал Кенесары. Наверное, ага-султан надеется, что после такого зрелища Тлеумбет перестанет настаивать… Кто у них там справится с такими обученными и отлично вооруженными воинами?

Но ученик оказался недогадливым. Сперва он делал вид, что просто наблюдает, как и все остальные, а потом не выдержал, и до Мусрепа донесся его насмешливый голос:

– А мы разве, если в другом месте пришлось бы с ними повидаться, будем смотреть, разинув рот, как они заставляют своих лошадей ложиться и вставать?..

Нет, ничего не поможет… Тлеумбета не убедишь, Кенесары не убедишь. Они – и другие их бии, аксакалы, – уже не могут ни управлять сопротивлением, ни свернуть с пагубного пути.

Казаки внезапно замерли, шашки – в ножны, и шагом разъехались, уступая место следующим соревнованиям, которые проводились в честь приезда Тлеумбет-бия.

С перекладины, между двумя столбами, свисали на нитках монеты: блестели на солнце два начищенных медных пятака – крупных, старинных; два серебряных целковых; два золотых пятирублевика. Берсен объявил условия: попавший стрелой в медяк награждается лисьим мехом, в целковый – волчьим, а кто попадет в золотой, тот получит соболью шкурку.

По умению, по зоркости глаза, по сноровке само собой разумелось, что от Есенея выйдет с луком в руках Артыкбай-батыр. а со стороны Тлеумбета – Жанай-батыр. Они и встали рядом на отмеренном заранее расстоянии в пятьдесят шагов и, как положено, состоялся обмен учтивыми приветствиями.

– Лучший стрелок из кереев никому не должен уступать дорогу, стреляй ты, – предложил Жанай.

– Нет, – возразил Артыкбай. – Аргын, ваш предок, был первенцем у нашего праотца, пусть ваша стрела полетит первой.

– Я уступаю свою очередь…

– А я не могу согласиться…

– Лучший стрелок кереев, стреляй!

– Вы старше меня годами, вы мой старший брат…

После трехкратных предложений и отказов Жанай вложил стрелу и стал было прицеливаться, но ему пришлось смахнуть мушку, севшую на ресницы, и он потер правый глаз.

– Зря вы это сделали, – сочувственно сказал Артыкбай.

Жанай с силой натянул тетиву и резко отпустил стрелу. Стрела пролетела, не срезав нитки, не задев монеты. Жанай, понятно, целился в золотой.

А пущенная почти следом стрела Артыкбая нитку точно пересекла, и золотой, тускло блеснув, упал на землю. Судья, назначенный следить за стрелками, уже нес есенеевскому батыру соболью шкурку…

Жанай коршуном накинулся на соперника:

– Ты почему болтал под руку, стоило мне прицелиться?

– Я хотел дружески предостеречь… Если перед выстрелом протереть глаза, то стрела поразит белый свет, а не цель. Разве не так получилось?

– Какое тебе дело до моих глаз? Что – я убил твоего отца, и ты требуешь возмещения за него?

Артыкбай тоже начал выходить из себя:

– Артыкбай-батыр никому не простил бы не только за отца, но и за паршивого козленка!

– Подлец!

– Старый мерин, обнюхивающий блудливую кобылицу, неужели я подлее тебя?

Они давно знали друг друга и многое знали друг о друге… Сестра Кенесары по имени Бопай слыла женщиной ненасытной. Родом из чингизидов, она не могла выйти замуж за простого казаха, но не в ее

привычках было упустить кого-либо из приглянувшихся батыров или других видных людей. След ее коня в степи, далеко за аулом, почти никогда не оставался одиноким. Случалось, ездил с ней и Жанай…

Жанай отскочил, вскинул свой лук. Но лук был и в ругах Артыкбая…

Чингис крикнул:

– А ну, прекратите!

Батыры разошлись с таким видом, будто решили никогда не пить воды из одного озера, не жить на этом свете вдвоем, и взглядами своими они обещали встретиться не здесь, не в ага-султанской ставке, а где-нибудь на поле боя, и поскорей…

Чингис понял, что и состязания не принесут мира и успокоения, и, прекратив их, направился к себе.

Батырам-копьеносцам и лучникам обеих сторон ничего не оставалось, как разделиться и разойтись по своим юртам.

После обильного угощения Чингис, с Есенеем наедине, уговаривал его:

– Есеке, хорошо, что вы приехали к нам… Погостили бы несколько дней. Ведь за один раз ничего толком не обсудишь и ничего не решишь. А?

Но Есеней не соглашался:

– Ни одного дня не могу… То, что я говорил, я говорил не ради красного словца. Кенесары метит мне в самое сердце… Я жду твоего решения, ага-султан. А потом сразу уеду. Мне по дороге нужно еще побывать в Стапе и Кпитане.

Чингис знал, зачем он туда собирается и что будет там говорить, и попытался, хоть понимал что незачем, объяснить:

– Надо же войти в мое положение… – начал он. – Я – между двух огней, и каждый может меня опалить. Так мне ли раздувать пожар? Пусть решает сам народ, как он хочет… – нашелся Чингис. – Если я ага-султан, то ты – один из семи биев… Все мы служим царю. А разве Кенесары только наш с тобой враг? А царь войска не дал бороться с ним. Я думаю, царь и нам не очень-то доверяет… Видишь, я самым сокровенным с тобой делюсь… Мы-то с тобой управляем только одним округом. А сторонники Кенесары, я слыхал, договариваются во всех трех жузах, чтобы избрать его ханом. Я вмешиваться не стану. Как суждено, так и случится. А что касается царя… – Чингис понизил голос до шепота, хоть они и вдвоем были в юрте. – Мне кажется, он не против, если мы не перестанем истреблять друг друга…

Есеней с казахской, батырской прямотой шептать не стал:

– Я понял… Со стороны главы округа нам помощи ждать не приходится? Так?

– Ваши силы превосходят силы противника, я знаю. А во главе – наш Есеке! – утешил его Чингис. – Как я буду выглядеть, если влезу в это дело? Это же курам на смех!.. – постарался он лестью и шуткой несколько смягчить свой отказ.

К вечеру Есеней отправился домой со своими всадниками.

Туркмен-Мусрепу он коротко сказал, не желая вдаваться в подробности разговора с ага-султаном, что кереям и уакам придется самим постоять за себя. Рассчитывать не на кого.

Есеней и его люди уехали, а Тлеумбет-бий еще несколько дней продолжал нажим на Чингиса, и тоже ничего не добился. Но хотя бы выяснил, что он не выступит и на стороне Есенея.

Ага-султан оставался верен себе.

3

Из Аманкарагая Есеней со своими спутниками ехал всю ночь и на рассвете добрался до аула Жазы-бия, который проводил лето на берегу Малого Тенгиза, как называли устье реки Убаган.

Этот Жазы-бий, родом из аргынов, принимал когда-то участие в подготовке к размежеванию земель Оренбургской и Сибирской губерний, к его словам прислушивались, а его слово всегда было направлено против Кенесары. Правда, пока что он не посадил своих джигитов на коней и не бросил призывающий к бою клич: «Аттан!», но во всех делах был верным сторонником, единомышленником, закадычным другом Есенея. Жазы довелось немного поучиться в русской школе, человек он был рассудительный, и – после Есенея – считался самым влиятельным бием в Аманкарагайском округе.

Своего друга он принял с почетом, но поговорить по душам, как того требовала сложная обстановка, им не удалось. Стоило Есенею слезть с седла и направиться к большой белой юрте, он увидел вдали двух всадников, которые во весь опор скакали к аулу.

– Это мои, – сказал он, когда всадники приблизились. Это и в самом деле были посыльные от разведчиков Есенея, которые повсюду разыскивали его. Случилось то, что должно было случиться – войска Кенесары вчера переправились через Ишим на этот берег.

Есеней спокойно выслушал их. Он был готов к этой вести, только надеялся, что успеет вернуться до нападения.

– Жазы… – повернулся он к другу. – Дай мне сорок лошадей. Если останутся целыми, верну, а погибнут – уплачу стоимость…

Гости только и успели войти в юрту и утолить жажду кумысом, когда снаружи раздался конский топот. Это по приказу Жазы уже пригнали сорок коней из его табуна.

– Какие могут быть счеты между нами, – сказал на прощанье Жазы. – Не думай об этом, Есеке, и ничего не возвращай…

Сменив лошадей, они поехали дальше и не останавливались…

Коротко расспрашивали встреченных… Но и без всяких расспросов было видно: это не просто очередная вылазка сарбазов Кенесары. Это попытка решающим ударом покончить с сопротивлением керей-уаков. Некоторые аулы – по беспечности, рассчитывая, что находятся в безопасности, далеко, – не захотели до времени покидать джайляу и остались на прежних своих летних становищах. Оттуда угоняли лошадей. Уводили девушек и женщин помоложе. Из юрт забирали кошмы и ковры и всю домашнюю утварь, до последней пиалы.

К восходу следующего дня Есеней подоспел к своим. Сарбазы Кенесары схватились с джигитами кереев и уаков. Храпя, мчались кони, потерявшие седоков… Передний край битвы смещался то к югу, а то к северу, и у тех и у других были заметны и преследователи, и преследуемые. А то преследователи поворачивали назад, и те, кого они только что преследовали, кидались обратно, вслед за ними…

Есеней мгновенно уяснил обстановку. У Кенесары всадников насчиталось бы раз в пять меньше, но это были сарбазы, для которых война стала привычным делом. А его джигиты еще вчера занимались мирным трудом и, даже обладая превосходством в численности, без толку скучивались, не соображали, что наступать надо развернутым строем, при этом обеспечив безопасность краев. При общем беспорядке ожесточенные стычки вспыхивали там, где появлялись наиболее отважные, известные силой и ловкостью батыры и копьеносцы.

Есеней тоже не мог принять на себя управление боем… Человек он был сильный, бесстрашный, но полководцем его никто не назвал бы. И все же он знал, что надо делать. Для начала промчался с одного

конца боя до другого, громовым голосом выкрикивая боевой клич кереев, их общий уран:

– Ошибай!.. Ошибай! Ошибай! Ошибай!

Надо, чтобы его джигиты знали: Есеней здесь, Есеней с ними, и это придаст им сил и решимости. Он подбадривал каждого встречавшегося по дороге батыра, а потом и сам ворвался в самую свалку, заставил сарбазов отступить, не забывая наблюдать при этом, где, у какого леска или в какой лощине ослабевают его люди, и тотчас спешил к ним на помощь. Пять-шесть батыров, неотступно следовавших за ним, увлекали за собой кереев и уаков, и там, где оказывались они, противник вынужден был отступать.

Солнце взошло за полдень, и лошади устали – и у тех, и у других. И стрелы в колчанах были на исходе. Во время броска, который возглавил сам Есеней, человек пятьдесят кенесаринцев оказались в плотном кольце и вынуждены были сдаться.

Когда разъехались, то выяснилось – из есенеевского ополчения в плен попало раза в три больше… Еще можно было видеть, как их ведут, связав за спиной руки… Попадались особенно те, что старались поймать лошадей, оставшихся без хозяев.

В это время был ранен и сам Есеней. Случайно, по-глупому! Он погнался остановить убегавших с поля боя своих джигитов и вместе с ними постараться отбить пленных, но стрела впилась в шею его лошади, и лошадь распласталась. Ничком, ободрав лицо, упал и Есеней. Утирая кровь, он принял повод из рук Бекентай-батыра, который был рядом со сменными лошадьми, и занес ногу в стремя свежего коня, и его настигла вражеская стрела, вонзившись между лопатками. Есеней ухватился за гриву, не в силах был двинуться с места…

Мусреп и Садыр, Артыкбай, сражавшиеся с ним стремя в стремя, окружили его, стали лечить древним, испытанным способом. Сперва выдернули стрелу, а потом, макая ее в кровь, струившуюся из раны, они совершили обряд «ушык-тау», чтобы изгнать болезнь.

Звучало заклинание:

– Ушык! Ушык! Ушык! Помоги вылечить, пророк Юсуп! Ушык!.. Ушык! Ушык!.. Это не мы лечим, а лечит черный баксы из Алдая! Ушык! Ушык! Ушык!

Мусреп распорядился:

– Теперь скорее! К доктыру, в Стап! Бекентай! Веди в поводу лошадь бия!

Бекентай впереди, а Мусреп и Садыр поддерживали Есенея в седле с обеих сторон. Артыкбай-батыр прикрывал сзади.

– Ойбай, потише, шагом, шагом… – застонал Есеней, они с места пустили коней вскачь.

А шагом – значило самим попасть в плен, Мусреп крикнул:

– Скачи, Бекентай! Не останавливайся! Скачи! Отступавшие сарбазы заметили, что Есеней покидает поле боя с самыми опасными для них батырами, и приободрились, начали охватывать их кольцом, а часть – настигала сзади.

Дело могло кончиться плохо, но тут, на счастье, подоспела казачья сотня, из Стапа. Казаки рассыпались цепью, некоторые из них держали наизготовку пики, солнечные лучи плавили обнаженные шашки… Сарбазы, почти настигшие Есенея и его батыров, стали благоразумно отставать, но напоследок еще просвистело в воздухе несколько прощальных стрел. И одна из них нашла Артыкбай-батыра,

который по-прежнему скакал позади всех, поразила прямо в крестец…

Останавливаться, совершать обряд ушыктау – было не до этого… На ходу он своей рукой выдернул стрелу, швырнул на землю – и продолжал горячить коня, не замечая боли. Он и слова не сказал, что ранен, пока не встретились с казаками. Даже – как ни в чем не бывало – по-русски поздоровался с сотником: «Дырасти…» И только теперь, когда Есеней и все они находились в безопасности, повалился с седла.

Есенея и Артыкбая на верблюжьих вьючных седлах отвезли в Стап, положили в военный госпиталь. Есеней через месяц вернулся домой – верхом. А Артыкбай-батыра не отпускали шесть месяцев и в аул повезли на санях. С тех пор и навсегда обе ноги у него стали безжизненными – даже с посторонней помощью он шага ступить не мог. Люди говорили, если бы он не сам выдернул стрелу и не швырнул бы ее в степь, если бы той же стрелой его товарищи совершили обряд изгнания боли – ушыктау, то и не потерял бы ног. Ведь Есенея сперва тоже ранило, но для него все закончилось благополучно…

Есеней в тот месяц неподвижно лежал в госпитале, но не бездействовал. Были у него тайные замыслы, которые, казалось, близки к осуществлению теперь, после того, как он долго не признавал Кенесары, упорно сопротивлялся ему и в конце концов заставил уйти. Кенесары понял, что казачьи сотни поддержат керей-уаков против него, и больше не тревожил не покорившиеся ему аулы. Он откочевал на юг, держа путь к предгорьям Алатау.

Все это ставил Есеней себе в заслугу и думал, как лучше использовать свои преимущества. Не случайно ездил он тогда и к ага-султану, заранее зная, что Чингис ничего не захочет предпринять против родича… Отпрыски ханов не могут не мечтать о ханстве.

Чингис Валиханов не выстудил против Кенесары, позволил тому длительно грабить округ, тем самым допустил раскол среди казахских племен и предал интересы русского правительства… Если эти мысли внушить губернатору Сибири, они станут жечь его, как жжет расплавленный свинец!..

Чингис не зря опасался – у Есенея действительно есть такой человек, для которого уши губернатора всегда открыты. Не посторонний человек – тот самый нагаши, брат, Турлыбек Кошен-улы, видный чиновник, советник губернатора по делам всех шести казахских округов.

Есеней, чтобы не терять времени, послал за Турлыбеком, и тот приехал в Стап. Рана у Есенея не заживала, гноилась, и, мучимый болью, он встретил родственника раздраженно:

– Для чего, спрашивается, ты околачиваешься там, у себя в Омске? Сколько можно терпеть, чтобы ублюдки-торе сидели на нашей шее? Неужели у вас до сих пор не поняли, кто такой – Чингис? Что он оказал большую помощь Кенесары – тем, что отказался помочь мне, не выступил против него.

Турлыбек почтительно ответил:

– Есеке… Такое мнение все больше укрепляется в канцелярии губернатора… Однако…

– Однако не осмеливаются его тронуть, это ты хочешь сказать? – перебил он. – Без тебя знаю! Тогда хоть мне развяжите руки. За пять суток я доставлю его к вам в Омск, связанным, он и рукой пошевелить не сможет!

Выпускник Омской семинарии, человек городской уже не только по одежде – черная тройка, жестко накрахмаленный стоячий воротничок, – Турлыбек, в отличие от степного упрямца и гордеца

Есенея, был вертким, как хороший пристяжной конь… Он и сам знал, чего стоит Чингис, он хотел помочь двоюродному брату, которому был многим обязан, но кое-что и для него оказывалось непосильным.

В омской обстановке он разбирался до тонкостей. Он знал: с тех пор, как перестало существовать ханство и были созданы округа, возглавляемые ага-султанами, первым серьезным испытанием для губернатора был мятеж Кенесары. Турлыбек не скрывал отрицательного отношения к Кенесары, настаивал – было время – на решительных действиях, но поддержки не встретил. Некоторые высшие чиновники искренне считали простых казахов коварными дикарями, на которых надеяться нельзя, и потому не решались раз и навсегда покончить с привилегиями ханского рода, лишить его всяких надежд на возврат прошлого.

Турлыбек понимал и другое: Кенесары хотел воспользоваться недовольством простых казахов, заставить их провозгласить себя ханом. А Есеней, беспомощно лежа сейчас на животе и отчитывая его, надеется использовать отказ Чингиса выступить против Кенесары, чтобы самому достичь титула ага-султана.

Он знал больше. Чтобы обезопасить себя от соперника, Чингис на предстоящих выборах намерен Есенея сместить, избрать другого бия, более покладистого и уживчивого. Другого, несмотря на победу Есенея над Кенесары. Несмотря на то, что доводы о двуличности и коварстве самого Чингиса бесспорно справедливы… К сожалению, помешать будет трудно. Чингис у губернатора пользуется неизменным уважением. Тот, посмеиваясь, приводит цитату из Шекспира, прямо про Чингиса сказано – ночи проводит в попойках, а потом весь день отлеживается в постели… Пожалуй, другого ага-султана ему и не надо!

И помощник Чингиса майор Бергсен жаловался на него, присылал донесения, что в ставку к ага-султану наведываются посланцы

Кенесары, с наступлением темноты они подолгу беседуют далеко за аулом, обмениваются ценными подарками, доказывающими взаимное уважение, понимание. Но сомнения, недовольство, прямые даже улики – все рассеивается в прах, разбивается о твердую скалу. И поколебать ее, не говоря о том, чтобы разрушить, Турлыбеку не под силу. В конечном счете, надо полагать, верх одержит Чингис. А Есеней будет повергнут, должности бия он лишится. Не говоря уже о том, что не быть ему ага-султаном, – человек степной, неискушенный, человек другого круга…

Но с Есенеем Турлыбек всем этим не делился – считал, ни к чему. А тот, по-прежнему ничком, опираясь подбородком о мощную руку, продолжал густым властным басом свое:

– Для чего же я учил тебя?.. Мог бы найти другого сироту и его послать в Омск! Покажи, что не зря! Чингис на краю пропасти, его надо немного подтолкнуть. Я знаю, знаю, как это сделать, но вот – вынужден валяться тут и даже головы не могу поднять! А то бы – от одного моего удара рухнул шанрак Чингиса!

Есеней в запале мог решиться и на это. В конце концов и казаки из Стапа помогли бы… Для них все считается – «ордой»! «Бари бир», – говорят они. Что Кенесары, что Чингис… И это хорошо понимал Турлыбек. Он решил – постараться утихомирить страсти, сохранить и Есенея, и Чингиса. Ведь если они рассорятся в открытую, покоя в округе не будет, хоть Кенесары, кажется, и не намерен возвращаться.

Турлыбек рассудительно сказал:

– Есеке, время сейчас и в самом деле благоприятное. В Омске высоко ценят вас. Они считают, что вы – вы, а не Чингис, удержали Аманкарагайский округ, не дали примкнуть к мятежу. Я на днях был у генерал-губернатора, получал разрешение на поевдку к вам. Он просил передать большой привет Есенею Естемесову… Еще сказал, не

забудет ваших заслуг и раздумывает, какие почести воздать бию Есенею…

При этом известии Есеней заметно повеселел и заговорил спокойнее:

– В Пограничной комиссия оставь рапорт от моего имени. Подробно, не скупясь на слова, опиши мои трехлетние схватки с Кенесары. Подчеркни – я создал ему безвыходное положение, и он вынужден был уйти. Я изгнал его. Зимовать ему придется в Бетпак-Дале, он больше не соберется с силами, чтобы вернуться сюда! Он – как его отец… Касьш был наемным холопом у хана Хивы и десять лет воевал с русскими. Этот идет по дороге отца и дальше будет идти… – Есеней помолчал и, уверенный, что Турлыбек многим ему обязан и постарается в точности исполнить его волю, продолжал: – Больше ничего не буду… Ты сам знаешь, что надо, что лучше сказать губернатору. Для меня будет достаточно – самая лучшая для меня почесть, если ты на этот раз свалишь Чингиса!

Турлыбек попрощался и хотел уже ехать, но тут к Есенею вошел жузбашы – казачий сотник Коцух, и с ним – Тлемис, парень жил в Стапе и при случае исполнял обязанности толмача.

– Аман, Есеней-бей Естемесович… – по-казахски произнес приветствие Коцух, называя, однако, Есенея по отчеству, прибавляя к его имени – «бей», что у турок, как он слыхал, звучит очень почетно.

– Аман, Ефим-торе Котсук, аман… – отозвался Есеней. То ли и в самом деле не мог произнести букву «ц» в фамилии сотника, то ли делал это нарочно, но тот, возможно, не догадывался о значении слова, смертельно оскорбляющего его мужское достоинство, возможно, делал вид, что не догадывается.

– Ну, Есеней-бей, дело с проклятым Кенесары можно считать законченным?

– Думаешь, не вернется?

– Нет! Куда ему! Как он может вернуться, если сам Есеней начал, а Коцух – прикончил!

Чем-то они были похожи – удалью, может быть, и потому нравились друг другу, делились своими тайнами и намерениями, а когда одному не хватало русских слов, а другому – казахских, им на помощь приходил Тлемис.

– Значит, не придет больше? – Есенею хотелось еще и еще поговорить о разгроме Кенесары. Он пока не успел насладиться победой. – Жаль, меня ранило… Я бы его самого приволок к тебе на аркане!

Сотник, кивая, выслушал Тлемиса и наклонился к Есенею:

– Попробует сунуться – так оно и будет… Только не захочется ему, попробовал наших казачьих шашек! Жаль, припоздали мы… Мои казачки и сенокос забросили, шашки наголо – и пошли… И пошли! Вот Тлемис с ними потом обшарил всю округу – четыре дня ездили и вернулись прошлой ночью. На этом берегу Ишима ни живой души не осталось, все разбежались. А позавчера мои переправились на тот берег, верст сорок отмахали. Ни души. Старики-калеки, старухи ихние одно твердят, что Кенесары ушел на юг…

– Ты же сперва сказал – ни души нет…

– Я имел в виду – никого, кто мог бы взять оружие, Есеней-бей…

Разговор продолжался, но Есеней отвечал односложно, он думал не о сотнике – о Тлемисе.

Когда-то, когда Тлемису было всего десять лет, Есеней приказал выпороть его отца – тот свиней подрядился пасти в станице. Мальчик стоял как вкопанный, а когда его мать, рыдая, кинулась к ногам

Есенея, умолить его, сын силой заставил ее встать и увел в дом. А Есеней прельстился тем, что красивая женщина упала к его ногам, стойкость и выдержка мальчика тоже произвели на него впечатление – он простил пять ударов… Хозяин этого дома был вовсе невзрачный, а жена – притягивала взгляды мужчин. «Е-е, – подумал Есеней. – Отец мальчишки не этот тупоголовый. Отец – горбоносый черкес-ювелир, тот часто ездит к ним и аул… Видно, не устояла она, соблазнилась блеском брошек и перезвоном сережек…»

Много лет прошло, и Тлемис – совсем взрослый джигит – действительно похож на кавказца, не скроешь. Живет в Стапе и по-русски, кажется, говорит не хуже, чем по-казахски. По лицу его Есеней видел – Тлемис не забыл о порке, которой он подверг его отца.

– Родители живы-здоровы? – дружелюбно спросил Есеней.

– Отец умер, а мать жива, – бесстрастно ответил Тлемис. Есеней предложил:

– Скоро в Ирбите ярмарка… А я, сам видишь, лежу, встать не могу. Может, погостишь у меня в ауле и съездишь на эту ярмарку? Мне-то послать некого… – вздохнул он.

– Пусть будет так, Есеке, – согласился Тлемис, не проявляя, впрочем, особого восторга и не выказывая благодарности. – Когда прикажете?

– Хорошо, чтоб не позже, чем через два дня, ты уже был бы у нас. Сам проследишь, какой отбирать скот на продажу.

– Хорошо, Есеке…

– Перед отъездом повидайся со мной. Тлемис кивнул.

Но сотник еще не закончил своего разговора:

– Есеней-бей Естемесович… Завтра я поеду в ставку ага-султана. Надо вернуть казаков, которые у него там в охране. От кого его теперь охранять? А бабы-казачки покоя мне не дают, совсем озверели бабы без своих… А все-таки губернатор у нас – странный человек! С одним султаном велит воевать, а другого – охранять. Вы понимаете что-нибудь? Ведь оба они… Постоянно шлют друг другу гонцов, обмениваются любезностями… Вот уж я в эту поездку всуну кое-куда ага-султану хороший стручок красного перца!

Есеней затрясся от смеха, одновременно охая от боли. Дрожала его черная голова, величиной с добрый казан, разлетался пух из подушки.

– А второй стручок – всунь ему за меня, – попросил он.

Месяц спустя Чингис уехал из ставки, поселился в своем ауле. Его мало беспокоило, что на это время округ остался без управления. А люди в округе мало беспокоились об ага-султане, хоть бы он и вовсе не возвращался.

Так все это было пятнадцать лет тому назад…

4

И теперь все это разрозненно, сбивчиво, но отчетливо – вспомнилось Есенею. Он даже поторопил коня, будто снова, раненный, уходил от погони… Заныл бугорчатый шрам между лопатками… Да, в то время его слава была крепкой и устойчивой, а сам он – горячим, резким, уверенным в своих решениях, и с конца его плети не раз сочилась кровь А сейчас ему около шестидесяти… Пора раздумий, раскаяния, благотворения, когда он не должен бы допускать насилия и несправедливости… А что получилось? Позарился на богатое урочище, где поселился на зиму его первый друг, собой когда-то прикрывший его от вражеских стрел. Достаточное ли возмещение за нанесенную обиду гнедой конь, уведенный Кенжетаем к батыру? Достаточное ли это возмещение? Впрочем, завтра будет ясно. Завтра он сам поедет к Артыкбаю. Неприятно оправдываться и сваливать все на Мусрепа-охотника, что поверил его словам, будто урочище никому не принадлежит…

Он ехал к новому становищу возле озера. К озеру с запада и юга подступал лес – березы и осины. На севере и востоке щетинились заросли тала и ракитника, через лощину спускаясь в степь. Озеро по краям густо заросло камышом, а чистую поверхность лед еще не успел затянуть, ветер слегка рябил ее – будто мурашки пробегали в предчувствии скорой зимы.

А зимовать здесь было бы хорошо! В лесах полно зверья. Вода в этом озере сладкая, не солоноватая. Топливо под рукой, сколько угодно сушняку. И скот есть где укрыть. Просить сам он ничего не станет. Хорошо бы, Артыкбай-батыр догадался, предложил поставить здесь хотя бы один кос из четырех.

Неподалеку от берега, деревьями укрытые от ветра, стояли две белые юрты и три темные. Сани с деревянными, без железного покрытия, полозьями задрали оглобли, в отдельном помещении

были сложены упряжь и седла. Возле белой юрты – той, что побольше, где жил сам Есеней, стояли две конуры для двух псов арабской породы, тех самых, что натаскивал Мусреп-охотник.

Собаки не залаяли, когда он подъехал, не стали ласкаться к хозяину. Они только вылезли наружу, потянулись и смотрели на него, как бы ожидая, что будет дальше.

Есеней не стал заниматься с ними, сразу прошел к себе. Облокотившись на подушку, прислушивался – не возвращается ли Кенжетай? Почему задерживается? Отдал коня – и все дела.

Кенжетай вернулся затемно.

– Ну как? – спросил Есеней, не обнаруживая нетерпения.

– Привязал Музбела у юрты батыра. Батыр очень доволен.

– А что сказал?

– Говорит – я пока не знаю, кто и в чем виноват… Улпанжан… Она росла – никто ей не перечил, что хотела, то и делала. Кто ее знает, что она вам сказала. Если Есеней коня прислал, может, и не в знак своей вины, а от щедрости, по старой дружбе. Еще сказал – пусть аллах его благословит…

– А как он сам? Наверное, в постели, не встает?

– Не встает – да… Рассказывают, он велит иногда открыть дверь и так, не вставая, стреляет из лука в старый тополь. За сто шагов. Я ничего не говорил, а он сам позвал вас в гости, на завтра. Сказал, вы, наверное, забыли вкус баурсаков, какие стряпает ваша женеше Несибели.

Есеней помолчал. За всеми своими делами, борьбой, развлечениями – тринадцать уже лет его конь ни разу не оставил следа у порога Артыкбай-батыра…

– Что еще сказал Артеке?..

Кенжетаю не очень хотелось передавать один разговор, который снова напомнил бы Есенею о его оплошности, но и скрывать он не мог, зная, что Есеней сам поедет туда… Артыкбай расспрашивал у дочери, что у нее произошло с Есенеем, почему она сама в знак своей вины – какой вины? – оставила ему иноходца. Почему же Есеней не только вернул, но и еще коня прислал в придачу?

Улпан объяснила: «Я им сказала, нашего урочища Каршыгалы хватит, чтобы тут перезимовал скот десяти сибанских аулов, а для косов Есенея – этого маловато. Тогда они обвинили меня, что я говорю слишком дерзко. Я спорить не стала, бросила повод и уехала. А если Есеней вернул коня и своего прислал в придачу, значит, он вину принял на себя!»

Есеней спросил, не бедно ли живет семья Артыкбая и, кажется, остался доволен, что нет – не бедно. Особого богатства не замечается, но все необходимое в доме есть. А к решетке внутри юрты прикреплены копья – и длинные, и короткие, висят луки и колчаны со стрелами, сабля в ножнах, оружие, которое когда-то составляло славу Артыкбай-батыра…

Есеней не все узнал, что хотел узнать, но, во всяком случае, посчитал, что на первый раз – достаточно.

– Ладно, – сказал он. – Давай, пора читать намаз…

Кенжетай у Есенея был не только коноводом, а еще и имамом, точнее говоря – подсказчиком. Он нараспев произносил молитвы, а Есеней повторял их про себя, только шевеля губами. Никак он не мог – за долгую жизнь – выучить их до конца наизусть. Может быть, и особого труда себе не давал – запомнить четыре разных произношения буквы «а», три – «с», два вида «х», в двух случаях по-разному звучащие буквы «г»… Потому-то и находился рядом

Кенжетай, выговаривая каждое слово, но, и повторяя следом за ним, Есеней превращал эти слова бог знает во что…

Может быть, Есеней так старательно – пять раз в день, как и положено набожному мусульманину, – совершал намаз, что немало на его совести было грехов.

Особенно тяготил его один, ведь после того его жизнь начала катиться под гору, несмотря на всю его силу, влияние, богатство… Однажды он отобрал земли и прогнал в далекую пустынную степь мирный небогатый аул Нуралы, притулившийся по соседству с русскими поселками. Аксакалы этого аула прокляли его страшным проклятием, и на другой год оба сына Есенея умерли в один день от черной оспы.

Похоронив их, Есеней уже дома заметил, что и его тело зудит и начинает покрываться струпьями. Это было в конце лета, но дни стояли знойные. Есеней, не медля ни часа, вскочил на коня и поскакал к озеру Аулие-коль – святое озеро; соленое, оно славилось целебными свойствами. Бросил на берегу одежду и по горло погрузился в воду. Своим приказал, чтобы сюда доставили юрту, привезли кумыс, а сам подолгу просиживал в озере. Он проявил невообразимое терпение – не трогал струпья, не чесался, а ведь зуд при черной оспе может довести человека до безумия! Не подпускал к себе знахарей, не просил мулл молиться о его здоровье.

Трудно было сказать, – обладала вода святого озера целебными свойствами или не обладала, но Есеней выздоровел. На память об этом тяжелом испытании на теле остались крупные, с пятаки величиной, пятна.

Проклятие враждебного аула не переставало приносить беды. В тот год жена перестала рожать. Есеней смирился с судьбой, смирился с тем, что останется без наследников, и гордую свою голову склонил

над ковриком для намаза, надеясь: может быть, бог услышит его молитвы. И сейчас, вечером, снова вспомнились ему льстивые слова неумного Мусрепа-охотника: «Один раз стоит перезимовать, и Каршыгалы останется в наследство детям и внукам твоим».

Не мог сосредоточиться на молитве Есеней, не шли на ум напевные арабские слова. И, не кончив намаза, поднялся – помыслами он чист, и бог простит его.

Хоть вчера он лег поздно, а сегодня встал до света, заснуть Есеней не мог.

Как змея, заползла в юрту смутная, неясная ему самому тревога. Сперва он настраивал себя, что это – непрошедшее раскаяние от той невольной обиды, которую он нанес Артыкбаю. Но второй Есеней, который иногда пристально следил за первым и говорил ему то, что никто посторонний не осмелился бы сказать, даже Туркмен-Мусреп, оборвал его: «Не обманывай сам себя, Есеней… С Артыкбаем все обойдется завтра…»

Что же?.. Предчувствие каких-то перемен, не поймешь – радостных или печальных. Хватит! Отогнать бы это предчувствие за несколько долгих конных переходов! Ему даже показалось, будто это удалось, и он с облегчением повернулся на другой бок, закрыл глаза, призвал на помощь бога… Но – нет. То он представлял себе глаза, какие они бывают у годовалого верблюжонка, укрытые от солнца длинными ресницами… То на зеленом лугу появлялась из-за леса порывистая белоснежная кобылица и, весело кося черным глазом, не давала к себе приблизиться…

Есенею стало жарко, и он, чтобы отвлечься от навязчивых видений, принялся было деловито обдумывать, куда, по каким урочищам разослать табуны, пересчитал охотничьих собак, выездных скаковых

лошадей, необходимых для зимней охоты… Но ничто не могло его успокоить.

Он вспомнил, как приезжал – единственный раз – к Артыкбай-батыру. Да, тринадцать лет назад. Есеней, приветствуя хозяина громкими возгласами, вошел к нему в юрту, и навстречу в испуге метнулась девочка лет пяти, не старше… Бедняжка не знала, наверное, что на свете бывают такие огромные люди, а его голос, должно быть, показался ей раскатами грома.

Три дня она не могла рискнуть появиться возле постели отца, только подглядывала в щелку и мгновенно исчезала, стоило ее позвать. В тот раз Есеней возвращался с Ирбитской ярмарки и к другу заехал не с пустыми руками. Он подарил ему хорошего коня, двух кобыл с жеребятами, верблюда-нара, навьюченного тюками с чаем и сахаром, урюком, изюмом, женскими платьями и предметами домашнего обихода.

Изюм и урюк, яркие бусы сделали свое дело. Улпан стала привыкать с Есенею. Он по-прежнему казался ей большим, но уже не таким страшным. В кармане у него – всегда конфеты… И он их не жалеет, сколько ни попроси… Лицо – черное-черное, к тому же все истыканное злой оспой, но, когда он смотрит на нее, это лицо – доброе. Улпан с ним подружилась.

Она не оставляла его в покое даже в минуты намаза. Забиралась сзади – с пяток на плечи – и начинала приказывать: «Я поехала на верблюде, далеко-далеко… А ты остаешься дома!» Ей очень нравилось – и в самом деле колыхаешься, как на верблюде. Ведь при совершении намаза молящийся сидит на корточках, то клонится к земле, сгибаясь, то откидывает голову назад. «А теперь выпрямись, а теперь сядь, а теперь опять нагнись». Ей доставляло удовольствие, что «верблюд» охотно исполняет ее приказы, и она громко и весело смеялась.

Так давно не приходилось слышать детского смеха Есенею. Он, оказывается, успел забыть, что дети в таком возрасте – неистощимые выдумщики, они говорят на своем потешном языке, могут рассердиться по самому незначительному поводу и тут же, без всякого перехода, безудержно обрадоваться пустяку.

Улпан просыпалась поздно – набегавшись за день, спала как убитая. А проснувшись и поев, принималась за Есенея, и в его ушах снова звучал ее голос: «Ата… Читай намаз…» И он, хоть уже давно прочитал утренние молитвы, послушно расстилал коврик. «Сперва садись…» И он чувствует сзади, как тоненькие руки охватывают его за шею. «А теперь – встань».

Однажды, сидя у него на коленях, ласкаясь, Улпан спросила:

«Ата, а кто поцарапал твое лицо?»

«Меня терзал когтями черный волк, когда я был маленький… Я не слушался, убегал из аула, он меня и поймал. А ты далеко от дома не играй, хорошо?»

«Хорошо, хорошо… А ты – черный и большой, как наш бык в стаде». Она выросла в ауле и не знала, что бывают на свете еще львы и слоны, а то бы с ними сравнила его.

«Нет, я не бык. Рогов же у меня нет. И я детей не бодаю, если ко мне пристают».

«А-а!.. Я знаю, кто ты! Ты – черный бура, вот кто. Но я тебя не боюсь. Ты добрый бура, да?»

«Я добрый…»

А как-то во время намаза Улпан захныкала:

«Ойбай-ай, ата! Меня кто-то кусает! На спине! Наверное, муравей забрался!»

Она спрыгнула, и Есеней, поймав ее одной рукой, другой – задрал платьице, приспустил бархатные штанишки и ногтем сбросил муравья, впившегося в ее тельце, как раз возле бархатно-черной родинки чуть пониже поясницы.

Девушка, которая на холме встретилась Есенею, была та же Улпан… Тринадцать лет прошло! Девчонка-озорница, со своими детскими шалостями, с нежной родинкой, выросла. Этот охотник собирался ее выпороть! А если бы… а если бы… Черная родинка не могла исчезнуть…

«О создатель, что со мной такое! Ля хаули элда-белда, галы бин казым… – вспомнил он и без подсказки Кенжетая успокоительные слова молитвы. – Надо спать, попробую заснуть…»

Она его называла черным бурой и говорила, что не боится. Кажется, и сегодня под вечер – не боялась… Смотрела прямо, не отводя глаз. Бросила в лицо свою правду и уехала непобежденной. Девчонкой она была плотненькая, откормленная матерью, а как вытянулась, какая стройная стала…

И снова Есеней попытался остановить поток беспокойных мыслей, и снова это ему не удалось. Чертов бура, старый черный бура!.. Завтра надо отдать поклон Артеке, утешить батыра, сказать, что табуны откочуют на другие зимовки, попросить прощения… Наверное, чай будет разливать Улпан, кому же еще. Когда она была маленькая, с каким удовольствием она это делала, когда мать ей разрешала занять место у самовара. Губы у нее были алые и сочные, как лесная земляника, глаза лучились. К счастью, оспа не тронула ее лицо. Боже, сохрани ее…

Не может быть, чтобы такая девушка до сих пор осталась незамеченной. Вероятно, кто-то давно посватался, калым, прохвост, уплатил заранее. Ах, пес! Такой пес – и под такой счастливой звездой

родился! Глупый обычай казахов – свататься, когда ребенок еще в колыбели. Потерявший силу, обедневший батыр давно проел калым, полученный за дочь!

Ее мать, Несибели, такой была смолоду, что краше и не надо. Улпан в нее внешностью, нрав, кажется, материнский – щедрая, жизнерадостная, прямая. А как бы пришлось ей саукеле, какое в первый раз надевает на голову молодая женщина, вышедшая замуж! С каким достоинством, с каким изяществом сидела бы она, помешивая кумыс в резной чаше! Сразу стало бы светлее в большой белой юрте.

Он вспомнил жену, которая – вот уже семь лет – поселилась от него отдельно. Ничего не скажешь – и его Каникей была красивой женщиной, только, пожалуй, холодной и злоязычной. После избрания Есенея бием она, не спрашивая у него совета, самовольно стала влезать не в свои дела, распоряжаться, вызывая у людей недовольство, внося разлад между аулами. Считала, что так и должно быть – она же не простая аульная баба, она – из семьи видного бая… И старалась все делать наперекор Есенею, ссорилась с ним, насмехалась. После того, как умерли сыновья, она поверила в силу проклятия, поверила, что Есеней прогневал бога, и тот никогда не простит его. И сама тоже принялась клясть мужа. В конце концов он устал, жить вместе стало невозможно, и Есеней выделил ей ее долю, поселил ее в урочище Киркойлек и уже семь лет за много верст объезжал этот аул.

С тех пор он ни одну из женщин не приближал к себе. Занимался своим хозяйством, своим скотом, охотой, вершил судебные дела. А семьи у него так и не было. Казалось бы, успокоился черный бура! А вот – дьявол-соблазнитель всю ночь терзает, и если не придет на помощь, не образумит всемилостивейший аллах, то всякое может случиться…

5

Назавтра Есеней весь день провел за отправкой табунов, а перед вечером повернул коня к юрте Артыкбай-батыра. С ним поехали Туркмен-Мусреп, Садыр и Кенжетай. А Мусрепа-охотника он не взял.

– Помнишь, что ты обещал дочери Артыкбая? А вот аип за твои угрозы заплатил я. Как только снега выпадет побольше, ты со своим беркутом поймай двух-трех лис, привези их Артеке в подарок и проси прощения. А сегодня нечего тебе делать за его дастарханом. Оставайся…

Артыкбай-батыр весь засветился от радости при виде своих дорогих друзей, дорогих гостей.

– Значит, нашел все-таки дорогу к дому своего брата! – восклицал он. – Ты мой лев… Друг мой… Подойди ко мне! Сам-то я не могу встать тебе навстречу! Вспомнил все-таки… – Приветствия и упреки – все перемешалось. Он долго держал Есенея за руку и отпустил после того, как прижал его руку к щеке.

Глаза у него блестели от непролившихся слез, когда он обратился к Мусрепу:

– И ты здесь, мой Туркмен… Не знающий страха! – Он и руку Мусрепа долго держал в своей, словно боялся – отпустит, и тот уйдет. – Люди говорят, что я закрыл от смерти Есенея. А мою жизнь спас ты, ты мой ангел-хранитель…

Они и в самом деле собрались почти все – как в день решающего сражения с сарбазами Кенесары. И Есеней, и Артыкбай, и Мусреп, и Садыр… Только Бекентая не было. А вспомнил старый батыр – он долгие полгода лежал в госпитале в Стапе. Аул Мусрепа находился неподалеку, и каждую неделю Мусреп посылал ему домашнюю еду, кумыс. Наконец военный врач, вздохнув, сказал, что дальше

медицина бессильна. Мусреп приехал на санях и в лютую стужу отвез Артыкбая к нему домой.

Долго здоровался Артыкбай и с Садыром. Они и плакали, и смеялись, хлопали друг друга по спине. И его в радости упрекал Артыкбай:

– А ты, мой батыр, знаменитый копьеносец! Неужели пришел день, и я тебя снова вижу? Ах ты, старый кобель! Почему за пятнадцать лет ты ни разу не привязал коня возле моей бедной юрты? Я уж думал – не умер ли ты?

Садыр опустился на колени возле постели Артыкбая и так стоял, пока тот здоровался с другими гостями, а потом – сказал старому другу:

– Когда тут повидаешься? Будь оно все проклято! Прошли времена, когда ценились батыры и их копья. Твой Садыр давно сменил свою пику на курук и стал табунщиком.

Артыкбай вздохнул. Он-то лучше многих знал, что боевая удаль и богатство не всегда соседствуют в мирной жизни. И Садыр, как многие другие, попал в долголетнюю зависимость от Есенея.

Потом гости поочередно за руку поздоровались с женой Артыкбая, а на Улпан взглянули лишь мельком – она стояла рядом с матерью. Один короткий взгляд, а дольше разглядывать девушку неприлично. И она – краешком глаза ответила каждому на приветствие и захлопотала по хозяйству, подхватив начищенный медный самовар, вышла наружу.

Настало время Есенею загладить неловкость, вызванную внезапным появлением в Каршыгалы его табунов.

– Артеке… – сказал он. – Мы перед вами виноваты, но, поверьте, мы не знали, что вы поселились в этих краях. Ведь ваше бывшее становище находилось немного выше.

– Да, почти на сто верст. Аксуат… Потом вот – перебрались сюда. Со временем расскажу. Знаешь пословицу? Когда кулан падает в колодец, в его уши забираются жабы. Что-то вроде этого случилось со мной.

– Но как только я узнал, что вы – тут, что земли – заняты вами, я отослал большую часть табунов в сторону Кусмуруна, а часть – на другие пастбища.

– Напрасно отослал. Если мир и согласие между людьми, то воды в озере хватит на всех…

– Нет, Артеке, нет! Я не хотел бы прослыть неблагодарным! Чтобы люди говорили – Есеней отобрал земли у своего спасителя.

– А лучше будет, если станут говорить, что Есеней хотел перезимовать одну зиму, а старый калека не пустил его к своему очагу…

– Я никому не позволю наговаривать на вас, Артеке!

– Вот что… Ты в эту зиму будешь рядом, так усадил бы своего старшего брата в сани, повез бы в степь и показал бы, как ты охотишься на волков. Вот уж пятнадцать лет, я превратился в кобеля на привязи, так хоть ты теперь… Вели поставить свои юрты возле моей.

На этом и пришли к соглашению. Есеней убедился, что один кос может зимовать в Каршыгалы. Артыкбай-батыр понял, что, если Есеней будет рядом, то и сам он перезимует без особых забот.

Есеней перевел разговор на охоту:

– Конечно, поедем в степь! Готовьте лук и копье. Мне рассказывали, что вы стреляете в открытую дверь – в неподвижный тополь за сто шагов. Даст бог, ваша стрела найдет и волка в степи.

– Посмотрим… А что я в тополь иногда стреляю… Так разве у меня остались какие-нибудь другие развлечения? Коротаю время – оттачиваю наконечники для пик, делаю стрелы. Если никого нет рядом, стреляю в мишень. Бывает – точно попадаю, а бывает – стрела уходит в белый свет…

Когда они подъехали к юрте Артыкбая, то привязали лошадей наскоро, и Кенжетай вышел наружу, чтобы поставить их в затишье. Скоро они отсюда не уедут. Из соседней юрты с самоваром в руках вышла Улпан.

Кенжетай окликнул ее:

– Голубушка… Поставь самовар, я отнесу… Самовар она опустила.

– Послушай, джигит… Не называй меня голубушкой. У меня имя есть – Улпан. А сейчас, после чая, оседлаешь для меня гнедого, которого сам вчера привел. Он пасется рядом – вон у деревьев. На аркане. А седло здесь. Вот… А теперь неси самовар… – Слова ее прозвучали так, что не послушаться было нельзя, и Кенжетай взялся за ручки.

Он и вошел первым в юрту, Улпан – за ним.

Есеней отметил про себя их совместное появление. Кенжетай, как и его брат, любит приодеться, парень он видный, и – молод… Как бы Улпан… Есеней подозрительно рассматривал и его, и ее. Нет, вроде бы ничего… К дастархану Кенжетай не подсел, сразу пошел к двери, объяснив:

– Надо лошадей увести в затишек…

Артыкбай шуткой постарался скрасить небогатое угощение:

– Есеней-мырза, наши кобылицы перестали доиться, теперь мы держим в доме рыжую кобылу по кличке «самовар». Слава аллаху, эта кобыла в любое время подпускает себя подоить. Ка-а-ты-ын! –

громко, по-хозяйски, позвал он жену. – Хорошенько подои рыжую кобылу!

У Есенея чуть не сорвалось: «Потерпи, потерпи, Артеке, всю зиму буду поить тебя кумысом». Но сказал он другое:

– К чаю мы все привыкли, будь он неладен! Как не выпьешь с утра, весь день голова болит. Мы бы сами чаю попросили, если б вы не поставили самовар. А баурсаки?.. Давно я не пробовал баурсаков из рук нашей дорогой женеше…

За чаем Есеней – сколько мог – не смотрел в сторону девушки, но глаза сами упирались в нее. Малиновая бархатная шапочка с черным каракулем, легкая шуба из хорьковых лапок, крытая тем же малиновым бархатом, малиновые бархатные шаровары. На ногах хромовые сапожки на высоких каблуках, а поверх кожаные галоши, – их в этих краях называют «косой кавуш». Вся ее одежда была чуть помятая, понятно – вещи достаются из сундука в особо торжественных случаях.

Она разливала чай, не поднимая на гостей глаз. Только руки видны, лицо… Кажется, она из тех скромных девушек, которые не выставляют напоказ свою красоту… Или же – понимает, что красота скрытая еще пронзительнее поражает джигитов? Из-под тугой косы, толщиной с ладонь, белела шея. А руки у нее – уверенные, ловкие, привыкшие к труду.

Ёсеней вздохнул, Есеней отвернулся, но снова взглянул на нее. Взрослая… Теперь-то уж не попросит, чтобы он снял муравья, муравей впился… Всю ночь он сдерживал себя: «Не бесись ты, черный бура, не бесись…» Эти слова, как заклинание, он и сейчас мысленно твердил, но что-то они слабо действовали. Улпан была перед ним – наяву, еще лучше, чем в беспокойных ночных видениях,

и Есеней два раза оставил без ответа вопросы, заданные ему Артыкбаем.

Его состояние первой заметила мать девушки – Несибели, и у нее защемило сердце. Не укрылось это и от Мусрепа. Что-то будет… И только на лице Улпан не было ни тени тревоги.

Когда кончили пить чай, Улпан отставила самовар к стене и вышла из юрты.

И юрта сразу опустела – так, словно никого не осталось. Есеней затосковал. Прямо беда, не подвертываются легкие и непринужденные слова, чтобы разрядить неловкую тишину! Можно было бы шутливо рассказать, как она приехала на холм, переодетая джигитом, с какой гордостью бросила Кенжетаю повод иноходца. И как они рта не успели раскрыть, а она уже была на другом коне и ускакала… Это бы всех рассмешило. Возможно, и Улпан улыбнулась бы, что-нибудь добавила бы, как она вчера думала: удалось ли ей обмануть своим видом Есенея и его спутников. А может, ничего бы не сказала, только глаза у нее сверкнули бы… Как же не догадался вовремя завести этот разговор Есеней-бий? А причина недогадливости – возраст… Все-таки – почти шестьдесят!

Улпан долго не было. Есеней ломал голову – придумать что-то, что заставило бы ее вернуться к гостям. Слава аллаху, хоть Кенжетай здесь, со всеми, а не шляется снаружи для того будто бы, чтобы коней поставить в затишек…

Есеней посмотрел на него:

– Кенжетай, ты спел бы батыру…

– Е-е, барекельде – одобрил просьбу и сам хозяин. В роду Туркмен-Мусрепа владели мастерством исполнения песен, умели извлечь прекрасные звуки из сыбызгы, заставить радоваться, размышлять и

плакать домбру… Но домбры в юрте у Артыкбая не оказалось, и Кенжетай вдвое сложил плеть – чтобы руки, выводящие неслышную мелодию, помогали песне.

Он пел «Слушаш»:

В собольей шапке девушка юная,

и в тумане не собьется джигит,

не собьется —

найдет дорогу к любимой.

Не увидят дозорные —

их расставил Кантай,

что не знает счета своим коням

в привольных урочищах Золотого Тургая!

Но всего драгоценней —

Слушаш —

его дочь, перед чьей красотой

и солнце померкнет,

и поблекнет луна…

Голос у Кенжетая звучал проникновенно, но дело было не только в голосе – он придавал волнующий смысл каждому слову, на мгновение в юрте Артыкбая появлялся и отважный влюбленный джигит, которого не страшат опасности, и надменный в своем богатстве Кантай-бай, и девушка в тумане, скрывшем аул ее отца… Никогда не знала Слушаш – что такое голод, что значит, когда старое платье порвалось, а нового нет… Но и не знала она, что такое – счастье… В раннем детстве была помолвлена, отец и калым за нее

получил – много скота. А жених оказался невзрачным, хилым, и ничего, кроме отвращения, Слушаш к нему не испытывала. Ее не оставили равнодушными горячие взгляды, которые бросал на нее джигит по имени Алтай. Не байский сынок, не богач – но только с ним могла бы найти счастье Слушаш… Только с ним…

Может быть, еще и потому так действовала на слушателей песня, что горе влюбленных становилось горем Кенжетая, вместе с ними он надеялся и страдал оттого, что надеждам не суждено сбыться.

Улетают к осени гуси —

Слушаш улетела бы с ними…

У Слушаш – жених нелюбимый,

жених ненавистный…

А любимый —

никогда женихом не станет!

Ее горе столь тяжко,

не поднять его и черному нару…

А отец лишь радуется —

продав дочь, он умножил

свои табуны и отары.

Артыкбай тяжко вздохнул и сказал, как бы делясь своими собственными напастями:

– Эх, калым, калым… Чего только он не делает с людьми…

И замолчал. Молчали и остальные, печалясь о судьбе девушки. Кенжетай так исполнил песню, что никто не мог остаться безучастным.

Снаружи раздался конский топот – лошади скакали во весь опор. Топот приближался. Всадников, на слух, было немало. Поднялся лай. Послышались грубые мужские окрики.

Кенжетай сорвал со стены пику и выскочил. Трудно было ожидать от Садыр-батыра – пожилого, грузного, той стремительности, с какой и он ухватил пику и – к выходу, но задержался: какие-то люди направлялись сюда, в юрту.

Первой ворвалась Улпан, только мелькнула пола ее малиновой шубки. Тяжело дыша, она стала у изголовья отца и прислонилась к стене. Вбежали трое. Впереди – человек в лисьем малахае, усы у него топорщились по-кошачьи. Ветер взметнул пламя в очаге чуть ли не до шанрака.

Кошачий ус приказал:

– Волоките ее на улицу! Думала – уйдет от нас… Но тут гаркнул во весь голос Садыр:

– Ты, тупорылый! Ты кого хочешь выволакивать? А ну!.. – И острие пики почти уперлось в подбородок.

Джигит словно водой захлебнулся, в горле у него булькнуло.

– А ну, садись!

И пока он покорно усаживался у очага, Садыр концом пики поддел лисий малахай и бросил в костер. Двое других джигитов, уже тянувших руки к Улпан, тоже замерли на месте, так и не притронувшись к девушке. Легко орудуя пикой, Садыр и их усадил рядом с первым.

Туркмен-Мусреп не вмешивался. Вмешаться – значило обидеть батырское достоинство Садыра, который считал себя в силах справиться и без чьей-то помощи. К ним он присоединил еще двоих.

Те, видимо, услышав шум, решили прийти на помощь своим товарищам.

Довольный собой – ведь давно не приходилось ему в деле применять свою силу и сноровку – Садыр с пикой наперевес, не сводя глаз с пленников, попросил Несибели, которая стояла рядом с Улпан, ухватив дочь за руку, как маленькую:

– Достань-ка коген, дай мне…

У людей не очень состоятельных все их богатство обычно под руками – Несибели подала веревку Садыру.

Он пикой посбрасывал шапки и поочередно надел им на шеи волосяные петли. С особым удовольствием он проделал это с тем, кто вошел первым и вел себя как их вожак. Тот не сопротивлялся, только вздрагивали его кошачьи усы.

– Это ты дома воображай себя героем, наглый коршун, – приговаривал Садыр. – Вот влеплю сорок плетей – полгода на коня не сядешь… А ты что вертишься? Пикой тебя пощекотать? А твою башку я с божьей помощью спалю на костре…

Садыр нарочно обзывал их. В схватке всегда надо обзывать противника самыми последними словами, его и весь его род, довести до белого каления, тогда тот выйдет из себя, потеряет самообладание – и победа за тобой!

Садыр надел петли всем пятерым, и концы аркана закрепил на двух противоположных сторонах юрты, отошел немного и, опираясь на пику, полюбовался делом своих рук.

– Вот так, ягнята мои… Посидите спокойно. И выслушайте решение мудрого бия Есенея!

Они и без того сидели понурившись. Оказаться в такой петле, если попал в плен на войне или был схвачен на месте за воровство, считалось самым тяжким унижением. Не меньшим, чем без коня вернуться в аул… Такой джигит навсегда лишался уважения своих сородичей. Правда, этот способ наказания применялся в то время уже редко, но слишком зол был Садыр. Теперь же, узнав, что перед ними Есеней, пленники совсем сникли.

Есеней повернулся к ложу Артыкбая:

– А кто они такие, Артеке? Вы их знаете? Артыкбай рукой махнул:

– Как же мне их не знать? Мои сваты. Это они засватали нашу Слушаш… – Он взглянул на дочь. – Эх, бедность… Я думал породниться с одним торгашом по имени Тулен, его аул возле Баглана, знаешь, где покровские ярмарки собираются… Я надеялся, – пусть хоть Улпан поживет в довольстве! А его сын оказался хилым и невзрачным, как пел Кенжетай… Кости у него больные, еле ноги таскает. Чахотка, наверное… Улпанжан наотрез отказалась идти за него. Тогда они – сам видел – ко мне ворвались, чтобы умыкнуть ее. Рады, что я не могу ее защитить.

– Достаточно, Артеке, хватит и того, что вы сказали, – остановил его Есеней. – Дальше, верно, мы сами все видели. Садыр, отведи сватов к себе в становище, там переночуют…

А Садыр все еще наслаждался победой. За пятнадцать лет после смуты Кенесары впервые засверкала его пика. Впервые за пятнадцать лет он захватил столько пленных. Молодец, Мусреп, не вмешался и дал ему показать свою силу! И Есеней – мудро решил. Ночь длинная. Сто раз можно вывести по одному этих наглецов из юрты, куда он загонит их пинками, и каждому всыпать плетей. Рука не устанет. Пусть утром бий выносит решение, какое ему заблагорассудится!

Садыр снял с них петли, велел садиться на лошадей – по два человека на каждую. В юрте было пятеро, а двое оставались присматривать за конями и тоже не посмели сопротивляться. Шестеро на трех конях, а поводья он дал седьмому в руки и погнал их впереди.

Сын Тулена – Мурзаш, для кого засватали Улпан, приезжал в позапрошлом году, благоуханной степной весной. К тому времени Улпан смирилась, что ей так суждено, что такова божья воля, она перестала сама с собой бесконечно рассуждать о любви и ненависти в жизни девушки. И ей даже хотелось увидеть нареченного.

Она вошла за голубой занавес. Подняла глаза – и чуть не отпрянула. От нареченного дурно пахло, глаза у него бегали. А когда женщины по древнему обычаю попытались соединить их руки, ладони Улпан коснулось что-то мокрое, скользкое, как гнилая плесень. Казалось, и мылом, что мать привозит из лавки, не смоешь… И с тех пор, стоило ей вспомнить о его прикосновении, она вздрагивала в отвращении и ей хотелось поскорее схватить кумган и ополоснуть руки.

С того дня отношения между сватами дали трещину – так ветер ломает лед на озере и все дальше и дальше отгоняет льдины одну от другой. Наглый торгаш запугивал старика, не имеющего сыновей. Потребовал вернуть полученных когда-то в счет калыма пять кобыл с жеребятами. Артыкбай считал, что это справедливо, – и вернул. Тогда Гулен потребовал и приплод за все десять лет, что состоялся сговор. А это было уже столько лошадей, сколько Артыкбаю и присниться не могло! Оскорбления, упреки, угрозы продолжались. В конце концов Артыкбай, от греха подальше, покинул свой Аксуат и перекочевал сюда. Но не уберегся, разыскали его джигиты, посланные Туленом увезти невесту силой.

А Есеней в душе был рад, что так случилось и что он оказался у Артыкбая. Все обошлось, а Улпан – свободна! Завтра с утра он

вынесет приговор – суровый, но справедливый, никто не посмеет обжаловать. Сватов он обложит тяжелым побором и прогонит из аула, чтобы они близко не показывались! Больше того, один из своих косов он отправит зимовать на земли этого Тулена, который замахнулся на возможное его счастье.

Уже Садыр увел пленников, а Улпан, как стояла в изголовье у отца, так и продолжала стоять. Шагу не могла ступить. Не могла снять чекмень из верблюжьей шерсти, надетой поверх ее шубки. И Несибели боялась отойти от нее.

Сейчас Улпан было стыдно, как сильно она испугалась, она считала себя сильной, мужественной, она гордилась тем, что может заменить сына отцу и матери…

Вечером, когда Улпан велела Кенжетаю оседлать гнедого, она должна была, как обычно, пригнать с пастбища – в загон на поляне по соседству с их юртой небольшой косяк своих лошадей.

Она собирала их, и неожиданно из леса выскочили всадники, двое.

– Чьи лошади? – спросил один из них.

– Чьи?.. Наши…

Она подумала – конокрады, и заторопилась, с громким криком направила лошадей к аулу.

– Это она! Она сама! – крикнул кто-то из-за дерева.

– Хватай! Держи!..

Крики раздавались у нее за спиной, приближались. Улпан, бросив косяк, пустила гнедого во весь мах, домчалась до дома, опередив преследователей на расстояние полета стрелы. Но и дома не была бы в безопасности, если бы не гости… И так горько ей стало от своей обездоленности, от беззащитности своей, что Улпан, не в силах

больше сдерживаться, опустилась на кошму возле постели отца и разрыдалась.

Гости спасли ее, но гости были и свидетелями ее унижения. Она привыкла, что никто ей не перечит, все слушаются ее, а на самом деле – она всего-навсего одна из многих девушек, которых можно обменивать на скот, можно похищать… Вот сейчас – ее везли бы, связанную, перекинутую через седло. И бросили бы в объятия гнилого Мурзаша.

Она снова вздрогнула, хотела перестать плакать – и не смогла. Ей было стыдно еще и потому, что столь почетные гости по ее вине оказались в неудобном положении.

Есеней рад был бы успокоить ее, утешить, сказать, что больше нечего бояться… Но он не знал, найдет ли такие слова, чтобы не выдать своих вчерашних ночных мыслей, и взглянул на Мусрепа.

А Мусреп тоже понимал – пора вмешаться, но думал, что это сделает сам Есеней, и теперь, после его кивка, заговорил:

– Улпанжан… Незачем плакать, беда миновала. Видишь, сам аллах направил наших коней к вашему дому. Мы желаем этому очагу только добра – подоспели в самое время! Больше никто не осмелится гнаться за тобой, врываться в юрту к твоему отцу. Мы будем тебя оберегать. Кто для нас дороже дочери Артеке и нашей женеше? Что пожелаешь, то и сделаем… А впереди у тебя – только счастье, перестань плакать.

Рыдания стихли, но плечи у нее продолжали вздрагивать, и Артыкбай горестно сказал:

– Здесь нас около сорока семей курлеутов… Но аулом мы собираемся лишь летом, а к зиме разбредаемся кто куда. К зиме ставим юрты по опушкам густых лесов, чтобы укрыться от буранов.

Для нас был бы черный день… Если бы не вы… Есеней, нам всем в Каршыгалы хватит места. Ты сам, со своим косом, располагайся по соседству.

– Артеке, я виноват, что не появлялся тринадцать лет… Не могу вам отказать, о чем бы ни попросили. Я еще решил – чтобы проучить вашего свата, я один свой кос поставлю на зиму вблизи от его аула.

– Ойбай-ау! Ты разоришь его…

– Пусть… А свой косяк можете присоединить к табунам Садыра, чтобы Улпан не надо было, как табунщику, по ночам, в зимнюю стужу…

После ужина гости стали собираться. Улпан улыбнулась на прощанье – первая улыбка за вечер.

6

Утром Садыр, по пути к становищу Есенея, лишний раз постарался убедить пленников – кто позволяет себе проявлять силу с беззащитными, не должен рассчитывать на снисхождение тех, кто сильнее их… Он связал им за спиной руки, шапки содрал и засунул каждому за пазуху. Сам ехал сзади, держа пику наперевес. А сбоку – Кенжетай, которого Есеней прислал за ним.

– Керей-уак кекеку, Суир-батыр текеку! – весело выкрикивал он присловье, предупреждающее, что никому не следует враждовать с керей-уаками, иначе им отомстит славный Суир-батыр, чьи подвиги не померкли за давностью лет и чье имя в роду сибанов до сих пор звучит как боевой клич.

Спотыкаясь и чуть не падая, пленники мели подолами длинных кафтанов снег, нападавший за ночь. Они были голодны. Суир-батыра они не очень опасались – тот давно умер, зато были наслышаны о жестокой непримиримости Есенея к ворам и разбойникам.

А Садыр вслух описывал будущее, которое их ждет:

– Ах, шайтан… Придется мне, не жалея времени, гнать вас так до самого Стапа. В Стапе полечат лохмотья ваших отмороженных ушей. Месяца два пройдет. А потом каждому на лбу выжгут каленым железом – «вор-умыкатель». Молю аллаха, чтобы мне в руки дали клеймо! А потом – прощайте… Русский урендык погонит вас в те края, где ездят на собачьих упряжках.

Садыр говорил больше для острастки, чтобы джигиты перед Есенеем не жаловались на ночные плети.

– Керей-уак кекеку, Суир-батыр текеку! – продолжал он. – До собачьих упряжек вас будут гнать две зимы и два лета. Живей! Что вы ноги волочете, как хомяки! Есеней-бий ждет!

Становище Есенея находилось неподалеку от становища Садыра, и он не успел предсказать дальнейшую их судьбу, а они уже дошли до места. Джигиты, переступив порог, пали ничком перед грозным бием, коснувшись лбами земли в знак покорности. И робко присели у порога, согнув одно колено.

– Можешь идти, – сказал Есеней Садыру. – Переводи в Каршыгалы свой кос, мы договорились с Артыкбаем.

Садыр вышел. Он снова был табунщиком – табунщиком, а не батыром, как вчера вечером, как сегодня утром. Есеней рассматривал пленников.

– Ну… – обратился он к ним. Ответил тот, с кошачьими усами:

– Мы ваши сородичи, ага-султан… Мы кереи… Мы живем возле Баглана. Мы…

– Вчера ты первым ворвался в дом к Артыкбай-батыру… Ты распоряжался… Кто ты?

– Я старший сын Тулена, меня зовут Мырзакельды. Мой младший брат с малых лет болеет. К зиме ему стало хуже. Мы думали, если невесту привезти, может, брату полегчает.

Это он успел придумать за ночь, как-то смягчить Есенея – младший брат болен, а он жалеет младшего брата, и потому…

– Кто же больного женит? – спросил Есеней.

– Мы надеялись, он воспрянет духом с молодой женой. А калым был уплачен, мы считали – келин принадлежит нам…

– Но ведь Артыкбай-батыр вернул вам все.

– Нет, не все. Приплод за десять лет так и не вернул.

– Е-е!.. – разгадал Есеней. – Если Улпан овдовела бы, она тебе досталась бы?

– Да, таксыр… – не осмелился возражать Мырзакельды.

Коварство у казахов обычно куцее, как заячий хвост! Брат – при смерти. Стоит привезти домой келин, она вскоре останется вдовой, и тогда старший брат – преемник младшего по всем законам аменгерства.

– Это твой отец придумал или ты сам?

– Мы не говорили отцу – ни я, ни брат… Продолжать разговор не было надобности, и Есеней сказал:

– Уезжайте. Я не велю гнать вас в Стап к урендыку. Твой отец требует у Артыкбая остатки калыма? Пусть сам приедет ко мне. Или нет… – решил он высказать свою угрозу. – Во второй половине зимы я один кос поставлю у вас. Тогда и увижусь с ним, так передай отцу. Кенжетай, развяжи им руки и отпусти. Но если встретишь их здесь…

– Никогда, таксыр! – воскликнул Мырзакельды. Джигиты низко поклонились Есенею и вышли.

Со вчерашнего вечера никто из них ничего не ел, а еще им предстояло пешком плестись к становищу Садыра, где были привязаны их кони, тоже со вчерашнего вечера.

Садыр, который собирался переезжать к Артыкбаю, проводил их долгим взглядом. Жаль… Подобрел Есеней к старости, даже выпороть не приказал. Хорошо еще, что он сам… Хоть и табунщик, а никакой не бий!

Голодные джигиты на голодных конях, которые застоялись и дрожали от холода, ехали к лесу.

Все обошлось, Есеней не стал их наказывать строго, но Мырзакельды встревожился не на шутку. Если бий один свой кос поставит у них, такое бедствие можно приравнять к джуту! Их казан, не успев наполниться, выплеснется до дна! На что понадобилась какая-то нищая девка, цена ей каких-то пять кобылиц! Но другой такой не найдешь, и она бы принадлежала, принадлежала ему, Мырзакельды, если б удалось вчера схватить ее и увезти домой.

Они направлялись к дальнему родственнику, в этом же Каршыгалы. Он тайно им помогал в похищении Улпан, и они долго петляли, чтобы запутать следы, прежде чем подъехали к одинокой юрте на окраине леса.

Родство с ним действительно было не самым близким, но все-таки – родством. Рымбек – так его звали – был мужем внучки Игамберды, а сам он племянником приходился Каиргельды – сыну Карабая, а Карабай родился от Акбайпак, младшей сестры матери Тлепбая. А Тлепбай был дедом того самого Тулена, который сосватал Улпан за своего младшего сына Мурзаша.

Рымбек был дома.

Это он постоянно сообщал семье Тулена, где стоит юрта Артыкбая, когда курлеуты, по своему обыкновению, разбрелись к зиме. «Украсть Улпан легче, чем поймать гусенка», – утверждал он за дастарханом.

А вчера вечером Рымбек показал дорогу Мырзакельды и его джигитам, помог им спрятаться неподалеку от того места, где пасется косяк Артыкбая. С ними дождался появления Улпан. Они погнались за девушкой, а он, считая дело сделанным, заторопился домой и всю ночь носа не высовывал.

От юрты к юрте – весть о ночном происшествии задолго до рассвета обошла все сорок разбросанных в Каршыгалы семей курлеутов. И все

они считали долгом навестить Артыкбая, выразить радость по поводу избавления Улпан от опасности…

Поехал и Рымбек, не мог не поехать. Слышал разговоры, от которых ему и возле огня в очаге становилось зябко.

– Если бы не гостил у вас благородный Есеней, мы бы потеряли нашу Улпанжан!

– Правильно, что женеше решила принести в жертву серого барана! А голову надо подать самому Есенею…

Артыкбая предостерегали:

– Аксакал, напрасно вы на зиму поставили юрту вдали от нас. Перебирайтесь поближе к соседям…

– Кто мог знать? – допытывались некоторые. – Кто?.. Значит, есть какой-то подлец-доносчик. Пока не найдем, не накажем – нельзя быть спокойными.

И еще Рымбек слышал – на шеи похитителям понакидывали позорные петли. Есеней велел дать по сорок плетей, а еще – каждому на лбу выжгут позорное клеймо и погонят в края, где ездят на собачьих упряжках. Так – сорочьим цокотом, карканьем ворон – распространялись подробности; кто-то что-то слышал и, как всегда, что-нибудь добавлял от себя.

В конце концов Рымбек не вытерпел и уехал, оставив у Артыкбая жену. Не хватало неприятностей, так еще и Мырзакельды пожаловал со своими джигитами.

Рымбек выскочил из юрты навстречу.

– Есть давай!

– Ойбай-ай! Есть? – запричитал Рымбек. – Вот вам барашек, вот котел – берите… Только уезжайте скорей, во имя бога милосердного.

Иначе я пропал! Они и так хотят найти человека, от которого вы все узнали…

– Не дрожи ты, как собачий хвост! – оборвал его Мырзакельды.

Но и он, и его люди не собирались задерживаться, помня напутствие Есенея – если их здесь увидят… На прощанье он злобно обругал Рымбека:

– Чтоб лопнули твои свинячьи глаза! Чтоб… Как ты мог не знать, что у них, у Артыкбая, гости, Есеней?!

Рымбек взмолился:

– Буду я рабом твоим… Уезжайте!

Он не стал им говорить о плетях, о том, что они навек опозорены – их связывали в коген, и это всем известно. Но одно посчитал необходимым сказать: Есеней решил на всю зиму, чтобы тот оберегал покой семьи Артыкбая, в доме старика оставить Садыра.

Мырзакельды при имени Садыра плюнул и тронул коня. А Рымбек вернулся в юрту. Он ждал жену и боялся ее возвращения. Что еще она слышала, пока оставалась там? Не всплыло ли, не приведи аллах, имя доносчика?..

Садыр поселился на зимовке Артыкбая. Становище его состояло из четырех темных юрт, где жили объездчики скакунов, женщины, которые доили кобыл, джигиты, которые ухаживали за беркутами. Человек десять.

А Есеней не тронулся с места. Где было его становище, там он и остался.

Он не хотел часто видеть Улпан. Он мучился жалостью к ней. «Мне будет около семидесяти, – думал он, – а Улпан – и своих тридцати не достигнет. Что тогда?..» Улпан не из тех девушек, которые

примиряются с божьей волей и родительской, и всю жизнь молча переносят тяготы судьбы. Нет, не из тех…»

Так он думал – и думал вполне искренне, но вся его вымученная, вынужденная правда отодвинулась в невообразимую даль, стоило Есенею однажды утром приняться за намаз. Он почувствовал вдруг, как Улпан, маленькая, взбирается к нему на спину… Его бросило в жар, в холод, и мысли стали очень далеки от бога, к которому должна быть обращена молитва правоверного.

С недобрым чувством он подумал, что оба брата-туркмена заглядываются на нее. Один из них – красивый мужественный джигит, но молодой, нет в нем той уверенной силы, какой обладает Мусреп… Никогда Мусреп не женился, старый холостяк, но шайтан, не иначе, дал ему какую-то особую власть, и девушки, молодые женщины это чувствуют. А вдруг Мусреп – не намерен же он всю жизнь прожить один – попросит: «Есеней, сосватай мне эту девушку».

Молитва не удалась. Кое-как договорив последние слова, Есеней поднялся и свернул коврик. В юрте, наедине со своими мыслями, он не мог оставаться…

Мусреп-охотник все еще не оправился от обиды, что его не позвали к Артыкбай-батыру, но когда Есеней предложил поохотиться за лисами, он обрадовался:

– Оказывается, есть бог и для Мусрепа-охотника! – сказал он Садыру. – Оказывается, Мусреп-охотник жив еще, не умер…

Два беркута и четыре волкодава принадлежали Есенею, хозяином двух желто-пегих был Туркмен-Мусреп.

Есенею собак дарили разные люди, и его собаки не ладили между собой. А двое желто-пегих были из одного выводка, и Туркмен-Мусреп горя с ними не знал. Одного звали Барс, а другого – Садак, он

и в самом деле сгибался и разгибался как лук с тугой тетивой, когда мчался по следу. Оба пса имели знатную родословную, и не их надо было учить, а они учили хозяина, как охотиться. Тот пес, который первым замечал волка или лису, бросался в погоню, а второй поодаль шел в обход.

Только выехали – собаки Есенея на свободе стали сводить какие-то свои счеты. Четыре кобеля, с годовалых телков ростом – клыки у них блестели как кинжалы – свирепо перегрызлись, а потом – по неизменной собачьей привычке – накинулись на того пса, который в общей свалке упал первым. Встать на ноги он уже не был в силах, лежал, даже не слизывая кровь.

Собаки обоих Мусрепов тоже плохо уживались, и Туркмен-Мусреп отделился вместе с Садыром.

Барсу и Садаку нечего было делать рядом с аулом, в местах, затоптанных скотом. И только на удалении они стали втягивать воздух, осматриваясь, и опускали головы, тщательно изучая попадавшиеся следы. Охотники в таких случаях не должны торопить собак – они начинают волноваться, проявлять нетерпение, и тогда ничего путного не жди.

Туркмен-Мусреп и Садыр шагом ехали позади. Они уже потеряли всякую надежду, но после полудня встретился волк.

Первым его заметил Барс – Барс и бросился за ним напрямик. Волк злобно оглянулся, почуял собак, лошадей, людей с лошадьми – и понял, что нужно уходить. Он опережал их примерно на версту.

– Смотри!.. – возбужденно крикнул Садыр. – Большой… Это арлан – самец!

Он поскакал следом за Барсом, а Мусреп немного выждал. Он следил за Садаком – тот взял направление вбок, наперерез, и не очень торопился. Мусреп повернул коня.

Через некоторое время волк, Барс и Садыр исчезли из виду. А Садак и не думал отклоняться от выбранного пути. Иногда он высоко подпрыгивал, головой в ту сторону, где волк скрылся.

Мусреп знал, что сейчас происходит… Верхним чутьем берет волка Садак, запах то отдаляется, то приближается – это заметно, пес то начинает беспокоиться, то успокаивается… Он может различить, что волк начинает уставать – примешивается запах пота. Тяжел… Наелся недавно, или вообще ожирел за лето от сытной жизни? Знает Садак – встреча предстоит с арланом, а не с волчицей. Волчицу в это время в одиночку не встретишь – она приучает к охоте подросших волчат. А волк? Он задрал недавно овцу – кровью овечьей тоже пахнет.

Садак растерянно замер… Запах… Куда исчез волчий запах? Садак снова подался вперед, но замер снова – и понял. Волк свернул в сторону. Но ветер все равно оттуда. Сейчас, сейчас… Он оглянулся на хозяина, словно прося прощения, и стремительно свернул, с прежней уверенностью помчался наискосок.

Мусрепу передалась его возбужденность, и он огрел коня плетью, но конь, как всегда у него, из лучших, быстрых, не поспевал – Садак все больше отдалялся. А потом и Мусреп из седла увидел волка. Тугой стрелой сбоку ударил его Садак, и волк упал, перевернулся два или три раза, и сзади Барс настиг его, и собаки и волк сплелись в один клубок.

– Молодец, мой Садак! Молодец, Барс! – кричал на всем скаку Мусреп, размахивая плетью, где в самый кончик был вплетен тяжелый свинец.

Но когда он оказался рядом с побоищем, делать ему было нечего – волк обливался кровью, внутренности его были вывалены на снег. Это Барс постарался.

Снова его собаки доказали, что равных им нет. Нет даже у того, кого зовут Мусреп-охотник. На этот раз Садак и Барс применили одну из своих уловок – так, должно быть, обстановка требовала. Последние шагов пятьдесят Садак прополз на брюхе, не попасться бы на глаза волку, и в нужное мгновение кинулся, сшиб с ног, вцепился в горло… А тут подоспел Барс, разъяренный погоней, вонзил клыки в волчье брюхо, два раза мотнул головой…

Мусреп забросил волка к Садыру, на круп его коня. Собаки с видом победителей бежали рядом и время от времени рычали – волчья голова бессильно свешивалась, и конь Садыра тоже настороженно всхрапывал, хоть и понимал – волк мертвый, опасности никакой нет.

На полпути им встретился аул Артыкбая. Нельзя было не заехать к старику, и уж тем более нельзя – не подарить ему добытого волка. Ухватив заднюю лапу, Мусреп поволок его за собой в юрту.

– Артеке, – сказал он, – этот волк – ваш…

Да, не был избалован – не то, что дружбой, а простым человеческим вниманием старый батыр. Он сел в постели, обе руки протянул Мусрепу:

– Ойбай, родной! Жена, ставь казан, будем той делать. Первый раз за пятнадцать лет в моей юрте появилась волчья шкура!

Может быть, он преувеличивал – наверное, сородичи оставляли ему долю охотничьей добычи. Но уж искреннюю его радость никакому сомнению подвергнуть было невозможно.

К вечеру и Есеней навестил Артыкбая.

С волка уже сняли шкуру и распялили на кереге – решетчатой стене. Морда дотягивалась почти до ууков – верхних жердей, соединяющих решетку с шанраком, а хвост стелился по полу.

– Туркмен, это ты подарил волка Артеке? – ревниво спросил Есеней.

– Да, я… – небрежно ответил Мусреп. – Только этот вот и подвернулся…

– Хорош… Матерый! – не мог не отметить Есеней. – Пусть ваш достаток, Артеке, умножится три раза по девять раз! Но мы тоже не с пустыми руками…

Откинулся полог, и в юрте появился Мусреп-охотник, выставив перед собой двух красных лис.

– Где моя Улпан?.. – заговорил он. – Где моя белоснежная? Иди сюда… Прими мой аип… Ассалаумаликем, Артеке! Ваша семья, ваш скот – все живы-здоровы? Улпанжан, твой агай провинился перед тобой. Возьми и прости меня. Здравствуй, Несибели. Ты, наверное, не устаешь смеяться надо мной? Ладно, смейся. Люди любят посмеяться над глупой старостью…

Улпан подошла к нему и приняла лисиц.

– Вы отдаете, а я беру… – сказала она, улыбаясь. – А теперь возвращаю их вам обратно. Не надо мне аипа… – И она снова положила лисиц на подставленные руки охотника.

Усаживаясь на почетном месте, Есеней вмешался в разговор:

– Аипы бывают возвратные и бывают невозвратные, говорю я как бий… – Он явно намекал, что гнедой с серым хребтом – Музбел-торы так и остается за Улпан. На охоте, с самого утра, Есеней придумывал – как бы втянуть девушку в беседу…

И Улпан уже чувствовала, что нельзя, неудобно отмалчиваться, и ответила шуткой:

– А можно считать возвращенным коня, который вернулся в косяк, в свой?

Есеней понял – она имеет в виду, что Музбел-торы, вместе с лошадьми Артыкбая, присоединяется к табунам Садыра. Он принял ее шутку и сам в шутку намекнул:

– Вернуться к своим?.. Это значит, хочет увести весь косяк.

Улпан насторожилась, но не показала вида. Что хочет старик сказать? Намекает на калым, который он готов заплатить? Надо постараться отогнать у него эту мысль!

– Лошади, приобретенные целым косяком, – сказала она, – не приносили добра нашей семье.

Туркмен-Мусреп прислушивался. Что-то будет… А Мусреп-охотник ничего не понял из этих иносказаний, лис он держал в руках, и завел речь о своем:

– Улпанжан! Пусть я буду твоей жертвой, да пропади он пропадом, этот аип! Считай – я делаю подарок твоему отцу. Возьми лисиц. Не возьмешь – брошу…

Что оставалось делать? Улпан взяла, унесла лисиц в соседнюю юрту и тут же вернулась – разливать чай.

За дастарханом снова шла речь об охоте. Мусреп-охотник говорил, как ушел от Есенея красавец-марал:

– Есеке, как жалко! Белоснежный марал, а рога как будто из золота! А все – ваши собаки… Не грызлись бы между собой, не ушел бы марал! Хорошие собаки – кто в обход идет, кто следом, кто – наперерез… А ваши? Пошли скопом в погоню, устали, передрались,

еле мы их разогнали. Собаки, собранные из разных мест – это не охотничья стая, вот марал и ушел.

Артыкбай с тревогой прислушался к его словам.

– Марал, говоришь? Белоснежный? Ойбай! Ведь его наша Улпан однажды спасла. Джигиты целый день гоняли его, загнали, наконец, а он кинулся в озеро. Не он ли?..

– Наверное, он, – сказала Улпан.

Артыкбай правду сказал, что марала спасла Улпан. Когда он прыгнул в озеро, охотники, не зная, как теперь взять его, послали к Артыкбаю за луком и стрелами. Улпан не разрешила им взять лук, и на своем иноходце помчалась к озеру.

Марала этого она знала и раньше. Встречала изредка в лесу, и он привык к девушке. Девушка не гонялась за ним, не натравливала злобных собак. Правда, марал не подпускал ее близко, но и не убегал. Продолжая щипать траву, листки ракитника, он, хоть и настороженно, но – казалось Улпан – вполне дружелюбно посматривал на нее.

На берегу Улпан застала джигитов – человек пятнадцать. Метались с яростным лаем собаки, чуя близкую и недоступную добычу. Но вода в эту пору была уже холодная, и в озеро никто лезть не решался – ни охотничьи псы, ни их хозяева.

Улпан долго с ними не разговаривала:

– Все – прочь отсюда! – крикнула она властно. – Что за позор? Сорок дворов курлеутов хотят разодрать бедного марала на сорок кусков. Не смейте его трогать! Это мой марал!

Джигиты, хоть и не очень обрадовались ее вмешательству после целого дня трудной погони, но спорить не стали – разошлись и увели

собак. Марал выждал некоторое время, пока они не скрылись с глаз, пока не растворился в воздухе их запах – запах опасности. Потом вылез на берег, отряхнулся. Весь день преследовали его, но от Улпан он не кинулся стремглав, а устало побрел к лесу.

Разговор о марале принял неожиданно несколько иной смысл, и Туркмен-Мусреп внимательно следил за всеми его поворотами.

А началось с того, что Мусреп-охотник воскликнул:

– Если б вы только видели глаза этого марала! Черные-черные… И смотрят на тебя, прямо в душу заглядывают…

Он-то имел в виду марала и только марала, но Есеней, неожиданно для самого себя, высказался:

– Ты сказал, что глаза у него черные. А лоб? Белоснежный чистый лоб! – Смутившись от того, что уж слишком это впрямую относилось к Улпан, Есеней повернулся к Туркмен-Мусрепу и словно бы невзначай добавил: – Если бы ты не отделился от нас со своими желто-пегими, ничто не спасло бы белого марала.

Но Мусрепу в этом разговоре не хотелось принимать сторону Есенея, и он повернул по-своему:

– Е-гей… Почему ты думаешь, что не спасло бы? Я сегодня тоже видел его. Красавец! Выскочил из ракитника, всего шагах в пятидесяти. Но я не стал за ним гоняться, и собак отозвал… – Он перехватил благодарный взгляд Улпан и продолжал: – На таких мирных животных я своих борзых не натравливаю. Волки и лисицы – эти мои. А марала не надо трогать.

Улпан без слов, одними глазами спрашивала Туркмен-Мусрепа: «Это правда? Этому можно верить?» Обрадовался и Артыкбай:

– О, Улпанжан!.. Хорошо, что есть Мусреп – и он думает так же, как ты. Весь наш аул зовет марала – марал Улпанжан. Его не только не трогают, его все берегут.

Мусреп-охотник торжественно пообещал:

– Я тоже не трону, я тоже… Если в другой раз взгляну на твоего марала, как на дичь, не увидеть мне больше моего сына, который лежит дома в люльке!

Улпан предупредила его:

– Агай, еще есть самка с двумя маралятами, живет возле Тузды-коля… Их тоже нельзя… Смотри…

Есеней поначалу был доволен тем, какой оборот принял разговор за дастарханом. Полный особого значения… А потом? И всему виной Туркмен-Мусреп! Хвалил бы красоту марала, сравнивая ее с красотой девушки, а красоту девушки – с красотой и благородством марала. А он?.. «Жаль натравливать собак… не терзать в кровь… добивать…» Все понимает, а нарочно – в сторону, будто речь просто об охоте… Ведь и сама Улпан, кажется, была не прочь – поддержать разговор… А оба Мусрепа – один из хитрости, другой от глупости – завели разговор в непроходимые дебри. Сам-то он тоже… Не вмешался! А какие удобные были повороты… Когда Улпан сказала, что косяк лошадей, приобретенный целиком, не приносил добра их семье, надо было ответить: одна и та же беда не повторяется дважды, если есть сильная рука, которая в состоянии любую беду отвести. Ну ладно… Не последний раз они в юрте Артыкбай-батыра, не последний раз разливает Улпан чай. А когда он прикажет привезти им кумыса, она сядет у резной чаши с ложкой в руке. Он будет десять дней думать, а придумает такое, чтобы в разговор никто, кроме Улпан, не мог вмешаться. Он заставит ее то засмеяться, то задуматься, а то как стрелой поразит, то в жар ее бросит то в трепет…

7

Десять дней прошло, а так ничего Есеней и не придумал, что бросило бы Улпан то в жар, то в трепет. В доме у Артыкбая он бывал, два раза возил старика на охоту, усадив его в сани. Артыкбай не выпускал лука из рук, но ни один волк им не попался. Ни с чем возвращались домой.

Есеней заезжал к ним, молча сидел за дастарханом. Улпан, казалось, привыкла к новым соседям. Она откровенно посмеивалась над болтовней Мусрепа-охотника – причем не над его словами и шутками, довольно неуклюжими, а над ним самим. По-иному слушает она Туркмена-Мусрепа, но тот собрался уезжать, а с его отъездом становище Есенея как бы онемеет.

Но почему, размышлял Есеней, почему он должен казаться каким-то другим, а не тем, что он есть? Нет, Есеней может оставаться только Есенеем! Как бы он выглядел, если бы стал бы многоречивым, сверх меры внимательным, нежным… Ничего, кроме насмешек, это не вызвало бы.

Есеней позвал к себе Туркмена-Мусрепа, который с утра занимался сборами в дорогу.

– Я думал – мы эту зиму проведем с тобой вместе… А ты почему-то не соглашаешься, старый холостяк! Что-то тебя свое на уме, но я допытываться не стану. Прошу, исполни напоследок одно поручение. Для этого надо остаться на один день.

– Ладно, Есеке, останусь.

– Не спрашиваешь – зачем?

– Ты сам скажешь…

– Скажу… Раз уж ты согласился, поезжай к Артыкбаю. Как мой сват. Ну, чего ты испугался? Скажешь, как оно есть… Скажешь, Улпан приглянулась Есенею. А что? И постарше меня старики берут себе в токал молодых девушек. А я, как и ты, старый холостяк. Только ты никогда не женился, а я, имея жену, почти десять лет один. Мне шестидесяти нет, ты сам знаешь. Ты сочинил кюй – «Алгашкым» – про первую любовь. Бывает – первая, а Улпан станет моей лебединой песней. Если потребуется, и с ней самой поговори. Ты в разговорах с девушками, с женщинами неотразим. Докажи это еще раз – для меня.

Для Мусрепа в его просьбе ничего неожиданного не было, правда, он думал, что Есеней сам займется своими делами, но, видно, побоялся отказа.

– Ладно, съезжу, раз просишь, – сказал Мусреп.

– Ты не просто съезди. Съезди так, чтобы привезти согласие. Думай не только обо мне: разве ты хочешь, чтобы навсегда опустела белая юрта, главная юрта рода сибанов?

Из всего сказанного им эти слова произвели на Мусрепа самое сильное действие. Что сибаны без Есенея?.. Десять не очень значительных аулов, рассыпанных по опушкам лесов. Есеней сделал их род влиятельным, с ним нельзя не считаться при решении степных дел. А сам он остался без наследников. Кто из родни сможет заменить его? Никто… Нет такого человека ни в одном из их аулов. И Есеней это понимает. Жалко его… И надо помочь… Но жалко Мусрепу и Улпан. Лучше выбрал бы Есеней себе другую девушку. Хотя… А той каково пришлось бы? И ее было бы жалко… Ну, шайтан! Ну почему во всех сибанских аулах нет ни одной вдовы, достойной Есенея, ни в одном ауле из десяти!

Обо всем этом Мусреп думал, уже сидя в седле, по дороге к Артыкбаю, и – жалея Есенея, жалея Улпан, жалея себя, – он слез с коня и вошел в юрту.

Улпан дома не было, и от души у Мусрепа отлегло. Значит, можно говорить о деле, не глядя в ее прекрасные, как у марала, глаза. Чтобы не тянуть время, он сразу передал слова Есенея, ничего не приукрасив и не изменив. Артыкбай, насупившись, слушал его молча, а мать, Несибели, не могла сдержаться, зарыдала и выскочила из юрты.

– Вот зачем я приехал сегодня к вам, Артеке, – закончил Мусреп. – Вам я сказал все, а ваш ответ я должен сегодня же отвезти Есенею.

Артыкбай лежал не шевелясь, как в самые тяжелые дни своей болезни – в госпитале в Стапе.

– Какой может быть ответ, Мусреп, – заговорил он, наконец. – Разве Есеней от своего отступится? Ты его знаешь не хуже, а лучше меня. Если я скажу – нет, оставит он нас в покое? Хорошо еще – он послал тебя, предупредить.

– Я могу передать, что вы согласны?

– Разве беркут спрашивает у лисы согласия, когда падает на нее с неба?

– Что же ответить Есенею? Артыкбай снова помолчал.

– Сделаем так… – решил он и, видно, нелегко далось ему решение. – Пусть Улпан – сама… Передай Есенею, пусть он сам поговорит с Улпан. Если она попросит у нас благословения, за этим дело не станет. Не трудно благословить…

Можно было бы ехать, но Мусреп ждал – не скажет ли старик еще что-нибудь. Мать плачет. Отец тоже против. Если сказать об этом

Есенею, откажется ли он от своего? Нет, не откажется. А если и сама девушка ответит: нет, ни за что. Он все равно своего добьется, и только печальнее будет ее судьба…

Он ждал – и не напрасно, Артыкбай добавил:

– Мусреп, мы с тобой первый раз встретились больше двадцати лет назад. В бою я знал, если рядом Мусреп, с этой стороны я защищен… Я прошу, ты сам тоже поговори с дочкой. Помоги ей… Твой совет будет искренним, я знаю. Сегодня же поговори. Твой тезка, этот болтун, приехал к нам спозаранку и увез Улпан на охоту, за лисицами. Они собирались на озеро Тузды-коль. Как выйдешь из юрты – прямо езжай.

Он не торопился. Он ехал шагом. Мало хорошего – быть сватом, когда одни слезы вокруг, и это вовсе не слезы радости. А как говорить с Есенеем? Он непроницаем для двух вещей: от пули – заговорен, а слова, идущие против его намерений, не достигают его слуха. Сегодня утром он сказал: «Твой кюй „Алгашкым“ про первую любовь, а Улпан станет моей последней песней».

А у нее с утра было приподнятое настроение. Небольшой косяк их лошадей присоединили к табунам Садыра, и теперь не было повода часто ездить в степь. Да и после неудавшейся попытки похищения отец и мать неохотно отпускали ее. Хорошо, что заехал Мусреп-охотник и позвал ее на лис.

День наступил ясный, солнечный. Голубое небо огромным шатром накрывало землю, а тучи, устлавшие землю снежным покровом, разошлись. Обсыпанные снегом, стояли березы, словно молодые замужние женщины в белых платьях. Из-под ракитника, тоже белого, неожиданно вспорхнула белая куропатка, подняв белую, сверкающую на солнце пыль – и оголились, зачернели тонкие ветки.

Улпан была дочерью этой степи, и она тонко чувствовала не только смену четырех времен года, но и каждый оттенок, ранней, скажем, осени и поздней, когда на смену слякоти приходит пушистая белизна снежного покрова. Она радовалась поездке, хоть ее спутником и был Мусреп-охотник, который ничего, кроме насмешек, у нее не вызывал.

Поначалу и ее охватил охотничий азарт – беркут легко переламывал хребет лисам, попадающимся на пути, а попадалось их много. Но вскоре охота наскучила Улпан. Охота с беркутом на лисицу – не такое уж веселое занятие. Нет бешеной скачки, нет погони… Только следи и жди.

Улпан приходилось сдерживать нетерпение и своего нового коня – гнедого, Музбел-торы. Она хорошо понимала его состояние. Его достоинство вроде бы унижало, что в седле какая-то девчонка, не составляет четверти веса настоящего хозяина – Есенея. Он бы ей показал, как нужно скакать, если бы не железные удила… И рука, правда, у нее крепкая… Не то помчался бы, и мчался бы до тех пор, пока она не разодрала бы одежду в клочья!

С удивлением посматривала Улпан и на Мусрепа-охотника. Знала, что он – чудак, но не в такой же мере!

Вот он забрал беркута и наклонился над мертвой лисой.

– Ты что это, рыжая собака, шлюха, лапы – в черных чулках. Думала улизнуть от меня? Смотри-ка, начала путаться, еще не достигнув положенного возраста! Бесстыжая… А твоя мать была еще более бесстыжая, чем ты.

У казахов собаки считаются взрослыми, когда им исполнится девять месяцев. Охотник стыдил лису – молодую – за то, что она два раза увернулась от когтей беркута, падавшего сверху.

В другой раз он принялся ругать беркута:

– Ты что, лисицу в первый раз видишь? Сколько тебя учить: если хвост трубой, значит, это самка. Хватай ее ближе к голове. Схватишь у хвоста – всю голову тебе обгадит. Будешь сидеть целый месяц дома, опустив клюв, будто родного отца потерял… Улпан, дочка, возьми эту от меня в подарок…

А одну лисицу – старую, у нее местами поблескивали седые волоски, Мусреп-охотник ругал, словно жену:

– Ах ты, старая плутовка в грязных желтых штанах! Чего ломалась? Попалась на глаза старому Мусрепу, сразу ложись, а не виляй, не прыгай…

Улпан надоело его слушать, надоело плестись в стороне, еле сдерживая нетерпеливого гнедого, и она обратилась к охотнику:

– Я хотела по пути проведать своего марала…

– Езжай, езжай, дочка, – согласился он.

Немного в стороне Улпан обнаружила следы марала и поехала за ним, но тут издалека увидела Туркмен-Мусрепа, он приподнимался на стременах, кого-то высматривая.

Ехал неторопливой рысью, и рядом бежали обе его борзые. Да, это он, его черная смушковая шапка, его доха из жеребковой шкуры, и лошадь его – рыжая, немного пританцовывает, когда идет рысью.

Улпан обрадовалась встрече. Вот с кем она всегда чувствует себя свободно, хоть этот Мусреп, кажется, и не скрывает особенно, что неравнодушен к ней… Но опасности в нем Улпан для себя не чувствует. Откуда-то она знает – Туркмен-Мусреп никогда не признается ей, не откроется. Тут не возраст его помеха, да и других препятствий тоже, пожалуй, нет. Наверное, так бы относился к ней старший брат, если б он у нее был. И она так бы относилась к старшему брату.

Она дала волю гнедому, и конь быстро донес ее до неглубокого лога, в который съехал Туркмен-Мусреп.

– Агай, – спросила она, осадив возле него Музбел-торы, – вы на волков? Тогда почему так поздно выехали? Проспали, наверное?

Любуясь девушкой, он ответил:

– Я не с волком, я с тобой хотел встретиться, Улпанжан… Чтобы попрощаться. Завтра я собираюсь домой.

– А разве ваш дом не здесь? Вы покидаете нас?

– Кто сказал – покидаете? Разве в силах кто-нибудь тебя покинуть? Скоро я вернусь.

– Если вам надо, езжайте, – согласилась она. – Но сегодня вы будете нашим гостем. Я нарезала целую охапку курая, чтобы вы могли сделать певучую сыбызгы…

У Мусрепа не хватало духу – сразу начать разговор, ради которого он ее и разыскивал. Поэтому он охотно согласился:

– Сыбызгы? Конечно, сделаю и заставлю ее петь.

– Но это будет вечером… А сейчас… Может, поищем волка?

Мусреп не собирался сегодня охотиться – борзые просто увязались за ним, когда увидели, что он садится на коня. Но он был готов исполнить любую просьбу Улпан.

– Давай поищем, – согласился он. – А ты не боишься волков?

– Вы же рядом будете…

– Не совсем рядом… Но смотри – чтобы ты слушалась каждого моего слова!

– Без вашего приказа я шагу не ступлю. Я ваша рабыня, агай, меченная вашим клеймом!

Мусреп спрыгнул и потуже затянул подпругу на гнедом, а удлиняя стремя, нечаянно коснулся девичьей ноги. Нога была теплая, и Мусреп вздрогнул, словно обжегся, и отдернул руку.

Рядом с ними на снегу протянулась цепочка маральих следов, и Улпан – в благодарность за то, что Мусреп согласился взять ее с собой на охоту, великодушно предложила:

– Агай… Хотите вблизи посмотреть моего марала?

– Если покажешь…

До этого они ехали рядом, стремя в стремя, а теперь Улпан опередила своего спутника и принялась громко звать, как зовут в ауле коз:

– Шоге!.. Шоге!

Марал услышал знакомый голос, выскочил из зарослей ракитника, сделал несколько больших прыжков, замер на поляне. Точеные желтоватые рога блестели на солнце, как золотые кинжалы – потому-то, наверное, Мусреп-охотник, и назвал его белым маралом с золотыми рогами. Но к зиме он оброс темноватой шерстью, приобрел серебристо-серую масть, только лоб стал белее, не зря говорил о белом лбе Есеней тогда, в юрте Артыкбая.

Марал безбоязненно появился на зов Улпан, но теперь встревожился. Неужели она тоже стала ездить с собаками?.. И мужчина рядом с ней, а от мужчины всегда опасность… Мужчины – враги! И собаки – враги.

– Шоге! Шоге! Шоге!

Но, раз она появилась не одна, марал не расположен был ласкаться к Улпан, показывать перед ней свою удаль, в три прыжка пересекая поляну… Если хочет встречаться с ним, пускай никого не берет с собой. Он подпрыгнул, повернулся, не касаясь ногами земли, и снова исчез в зарослях.

Барс и Садак не обратили на него внимания. Они были с малых лет натасканы на волков. А это? Какой-то козел, каких и в ауле вполне достаточно…

Мусрепу красавец-марал понравился, понравилось и то, с каким доверием он относится к Улпан, и, предвидя, о чем ему предстоит с ней говорить, Мусреп несколько преувеличенно принялся высказывать свой восторг:

– Ни одного изъяна! – воскликнул он. – А мы вместо того, чтобы любоваться его красотой, натравливаем на него собак, хотим наполнить его мясом свой казан, как будто мало для этого овец или откормленных на забой лошадей!

Они поехали дальше, и некоторое время желто-пегие безразлично трусили впереди, носом – к земле, поднимали головы, принюхиваясь к дальним запахам… Но внезапно оба пса одновременно замерли, оглянулись на хозяина и дружно кинулись навстречу ветру.

Мусреп давал последние наставления девушке:

– Улпанжан, собаки сейчас откуда-нибудь выгонят волка. Ты не упускай ту, которая за ним погонится. Ближе, чем на полверсты, не подъезжай. Если волк свернет к лесу или к озеру, путь не пересекай. Собаки все сделают сами. Скачка продлится верст десять, потом волк постарается укрыться в лесу. Но в эго время с другой стороны появлюсь я… Ты все поняла?

– Чего же тут не понять?..

Они скакали рядом, не выпуская из вида собак, постепенно отдаляясь от густого леса на противоположную сторону низины, заросшей тальником и ракитником.

– Агай! – возбужденно крикнула она. – Одна из собак остановилась!

– Ты, Улпан, лети следом, не отставай от того, что бежит вдали, один… Это – Барс.

Улпан хлестнула гнедого, и Мусреп остался позади. То, что ему хорошо было известно и множество раз повторялось в его жизни, было в новинку Улпан – ей не с кем было ездить, да и не дело девушек – охота на волка. И сейчас она мчалась, не выпускала из вида Барса, прижавшись к гриве коня, будто вот так – в седле, в неудержимой скачке, и появилась на свет.

Все шло по заведенному порядку.

Садак – на запах – пошел вбок по направлению к волку, Мусреп – за Садаком. По его поведению – Улпан не поняла бы, но Мусреп догадался: Садак не был так напряжен, как в прошлый раз, когда им попался матерый, он бежал как-то немного расслабленно, что ли, немного небрежно. Наверное, собаки подняли волчицу. А сука есть сука… Будет бежать куда глаза глядят… Барсу немало придется попетлять, но уйти – не позволит! Садак, конечно, чует и Улпан с ее конем, и Барса… А волчица! В середине зимы ее запах он различил бы с расстояния дневного перехода. Встретился бы с ней в такую пору, он скорей всего и не подумал бы ее разорвать, у него другое было бы на уме…

А Улпан уже давно шла за Барсом, и расстояние между ними и волчицей сократилось, но все же еще далековато до того, чтобы ее настичь. А равнина словно была создана для такой скачки, когда первый снег не закрывал коню и бабки, не мешал бежать ни волку, ни собаке. Если бы Улпан отпустила повод, Музбел-торы догнал бы

волчицу. Но что тогда делать?.. Мусреп говорил – все сделает пес, сам, а она не должна пытаться повернуть волка. И в самом деле, если догонит, вдруг волк с оскаленной пастью кинется на нее? Что тогда? Тем более, существует поверье, будто волки всегда готовы кинуться на молодую девушку…

Захваченная погоней, не спуская глаз с приметной желто-пегой собаки, Улпан не замечала, где оказалась. Не поняла она и того, что волчица убедилась – бегством ей не спастись – и свернула к лесу. Пришлось сдержать коня, Улпан опомнилась и всмотрелась, что происходит. Расстояние между собакой и волчицей сильно сократилось, и все же волчица, видимо, первой достигнет леса. И ускользнет. А осталось с версту, не больше. Крикнуть, что ли? Вот если бы появился Мусреп-агай, он бы знал, что делать! Но его не видно. А лес уже на расстоянии полета стрелы. Не удалась охота! Но что там – вихрится снег… В логово юркнула волчица? А желто-пегих – две… Что там? Не подрались ли они между собой, упустив волчицу?

Улпан чуть не наехала на них, а увидев распростертую на снегу волчицу – от напряжения погони, от чувства удачи, от жалости, – заплакала, и слезы лились у нее: когда подъехал Мусреп, она все всхлипывала и не могла остановиться.

– Боже мой! Что случилось? Почему ты плачешь?

– Не знаю… Я не плачу, Мусреп-агай, но не могу остановить слезы, – продолжая всхлипывать, сказала она.

– Ничего, Улпанжан, бывает… Со слезами не можешь совладать, когда твой скакун побеждает на скачках, или когда твои борзые берут волка. Ты поезди тут рядом, шагом, чтобы конь постепенно остыл.

Пока она проезжалась, Мусреп отобрал у собак волчицу и волочил по снегу, пока шкура не очистилась от крови. После этого он позвал Улпан:

– Иди сюда… Прими ее, айналайн…

– Нет, агай…

– Оставь свое «нет», когда я говорю! По старинному обычаю первый зверь, взятый на охоте, приторачивается к седлу того, кто впервые на охоту выехал. А вообще-то девушкам волков не дарят, но тут – особый случай.

Когда они уже ехали шагом, Мусреп все еще оттягивал начало…

– Ну как, довольна? – спросил он.

– Ой, Мусреп-агай! Я не знала даже, что так может быть… Скачешь сломя голову, сама боишься, но все равно продолжаешь скакать. Даже голоса можно лишиться, оказывается…

– Когда вернусь, еще поедем…

– Я от досады чуть не умерла – мне показалось, волчица уйдет, она – близко к лесу. Хотела крикнуть, но голоса не оказалось!

– И хорошо, что не крикнула, – объяснил ей Мусреп. – Собака на голос хозяина отвлекается и теряет скорость. А волк уходит. А когда собака и волк сталкиваются морда к морде, охотнику надо выбрать место позади волка, чтобы его отвлечь.

Улпан слушала, кивала, а потом осмотрелась:

– Агай, а куда мы едем? Мы выберемся к нашему аулу? А то у меня после погони голова идет кругом. Мы куда-то далеко заехали. Вот что это за лес? Я тут не бывала никогда.

– Как же не бывала! Каждый день бываешь. Волчица кружила и свернула к тому же лесу, но с противоположной стороны.

– А мне казалось, она все время бежит прямо.

Вот и разговор об охоте иссяк, а Мусреп все не мог приступить к своему поручению. Он помрачнел и надолго замолк, коротко, отрывисто отвечая Улпан, иногда даже не слыша, о чем она спрашивает. Улпан, ничего не понимая, тоже замолкла, лишь посматривала на него с недоумением.

Наконец она не выдержала:

– Мусреп-агай, вы о чем задумались?

– Я?.. – спросил он, словно вернувшись откуда-то издалека. – Я?.. – И снова замолчал. Он взглянул на Улпан, и девушка встревожилась, предчувствуя что-то недоброе.

– О чем?..

И уже не оставалось никакой лазейки для отступления.

– Улпан… – начал он. – Улпан, послушай, что я скажу, и не перебивай, что бы я ни сказал, выслушай до конца, захочется ли тебе слушать или не захочется…

После такого вступления он сухо и деловито приступил к поручению, возложенному на него Есенеем, передал разговор с ее родителями. Теперь сказать «нет» или сказать «да», это право принадлежит ей. Голос его звучал так, будто он говорит о поездке на ярмарку или о том, какая выдалась в нынешнем году хорошая осень, благоприятная для табунов и отар…

Может быть, сильнее всего подействовало на Улпан безразличие, с каким говорил Мусреп. Да, она не могла не заметить, каким пристальным бывает взгляд Есенея, когда он смотрит на нее… Но, казалось, просто любуется, как может пожилой человек, почти сверстник ее отца, любоваться молодостью! И все же она смущалась, и чутье не обмануло ее! Есеней-бия она помнила с самого раннего детства. Потом долго не видела, но его имя стояло для нее на первом

месте среди всех известных в степи имен. Он же старше ее на сорок лет. И нет никого, кто бы мог ее защитить от Есенея, его воля – неотвратима. Что – она?.. Наверняка и Мусреп-агай не очень охотно принял его поручение… Но имеешь голову – приклони ее к земле, имеешь ноги – согни в коленях!..

Улпан засмеялась.

Сперва – негромко, но все безудержнее и отчаяннее, и смех ее все больше походил на рыдание, она обессилела, она начала заваливаться в седле, и Мусреп едва успел схватить ее за руку, которой она держала повод, и резко дернул ее к себе.

– Прекрати!.. – грубо крикнул он.

Улпан выпрямилась в седле и смолкла.

– Теперь узнаешь лес? – осторожно спросил он.

– Да. Вон там, кажется, дымы нашего аула…

– Наверное, твоя мать ждет нас, жарит баурсаки… Так ноздри и щекочет этот запах…

Он говорил с ней спокойно и нежно, как с маленькой. И ее голос звучал ровно, когда она заговорила с Мусрепом:

– Агай… Не обижайтесь, я смеялась не над вами… Вы ждете моего ответа? Передайте своему старшему брату Есенею… Если сам Есеней закинул петлю курука на шею, то в юртах малочисленных курлеутов не найдется такой силы, чтобы высвободиться из петли. Он сватается ко мне? Не нам противиться его воле. Но пусть он знает – Улпан не такая девушка, которую можно взять задешево!

Мусреп соглашался:

– Конечно, конечно… Айналайн, все будет, как ты хочешь! А все остальное скажешь ему самому.

Улпан слушала его и не слушала, но все-таки слушала. Что он говорит – конечно, конечно… Может быть, подумал, что она обрадовалась? Она злилась на Мусрепа – почему он приехал к ней с таким поручением, как он мог согласиться! Улпан злилась и все-таки испытывала к Мусрепу доверие и посчитала нужным объяснить:

– Мусреп-агай… В первый вечер… Вы и ваши друзья спасли меня от беды! А я все равно чувствовала опасность. Нет, не от Тулена и его сына. Я увидела глаза Есенея!.. Он потом еще раз приезжал, смотрел… Было, он даже не заметил, как чай растекся у него по бороде. Я уж подумала – не лишился ли Есеней рассудка?

Мусреп подумал: проще было бы встретиться с десятком сарбазов Кенесары, чем вести разговор с одной Улпан, когда она едет рядом, и твой конь идет шагом, и ее конь идет шагом.

– Есеней?.. Как можно сказать, что он лишился рассудка? Лишиться рассудка и закинуть курук на такую девушку, как ты!

– Он прожил много лет, – возразила Улпан. – И давно один. Неужели никого, красивее меня, не встречал?

– Не знаю, – сказал Мусреп. – Может быть, и встречал. Но я тоже на свете живу не третий день, и тоже видел. Бывает – красивая. А рот раскроет – лучше не слушать. Бывает – умная. А когда слушаешь ее, то лучше закрыть глаза. Улпан… Бог дал тебе – на тебя можно и смотреть, и слушать тебя. Есеней долго оставался в одиночестве, он долго, я думаю, выбирал…

Если бы она еще о чем-нибудь спросила его, Мусрепу трудно было бы ответить, потому что ее боль стала его болью, ничего другого сказать ей, ответить ей он не мог.

Но, к счастью, Улпан больше ни о чем не спрашивала. Мусреп искоса поглядывал на нее, и, кажется, понимал, о чем думает девушка… Она

яростно ненавидит Есенея, она готова выхватить лук в изголовье отца и с близкого расстояния пустить остро отточенную стрелу в того, кого в раннем детстве называла – черный бура…

И все же – девушка… Она не может оставаться равнодушной к тому, что думают, что говорят о ней другие! На нее можно смотреть, не закрывая глаз? Слушать ее, не зажимая ушей? Какое девичье сердце не дрогнет от похвал? Пусть даже не самый любимый их произносит, не тот, кого она представляла себе в неспокойных снах.

Она молчала. И Мусреп молчал.

Так они доехали до юрты Артыкбая, еще издали заметив Несибели. Несибели хлопотала возле юрты, делая вид, что у нее какие-то свои заботы, неотложные, а на самом деле не сводила взгляда с тропы, где должна была появиться Улпан.

Мусреп подивился, с каким спокойствием после всего Улпан обратилась к матери:

– Апа… Мусреп-агай взял меня на охоту. Мусреп-агай подарил мне шкуру волка. А завтра он хочет ехать домой. Пусть заколют стригуна. Мусреп-агай сегодня будет гостить у нас, я его не отпущу.

Хоть Мусреп и старался не смотреть в глаза Несибели, но понимал – мать не это, не про гостя, надеется услышать от своей Улпан. И, не стараясь ничего выпытать, Несибели покорно, как многие матери, ответила:

– Хорошо, дочка… Для кого же и колоть жеребенка, если не для Туркмен-Мусрепа? Ни раньше, ни в будущем – не было у тебя брата, и не будет ближе и роднее, чем он.

Она тоже на что-то намекала, стараясь вызвать Улпан на откровенность, она надеялась – Улпан сама решит свою судьбу, не перелагая ответственность на старого немощного Артыкбая и на нее,

которая желала бы всяческого счастья дочери, но не знала, как оно достигается. Несибели ждала, а Улпан ничем сейчас не захотела с нею делиться, и Мусреп заговорил первым:

– Нет… – запротестовал он. – Не надо… Ради меня не надо колоть стригуна. Достаточно будет чаю с вашими баурсаками.

Улпан отмела его возражения:

– Апа, не слушай его… Будем есть досыта. Вели накормить и собак Мусреп-агая. Им завтра предстоит длинный путь – сто верст, наверное. А по дороге, говорят, нет ни одного аула.

В юрте их встретили те же, что и у Несибели, ожидающие глаза Артыкбая, но Улпан, не давая Мусрепу вставить слова, заговорила первой:

– Отец, я раньше не знала, что собаки бывают умнее людей. Садак, Барс… Они меня учили, как охотиться на волков! Почуяли волчицу, погнали ее…

Она продолжала рассказывать про охоту со всеми подробностями, и опять Мусреп отметил про себя, что Улпан как бы боится замолчать хоть на минуту – вдруг спросят родители: а что ты ответила Мусрепу… когда он передал тебе весть о неожиданном и печальном сватовстве Есенея…

Так продолжалось и за чаем, а после чая Улпан принесла и положила перед Мусрепом охапку курая – тут были и сухие стебли, и свежие… Все как на подбор – ровные, без узловатых поперечников, длиною каждая в пять суйема – от вытянутого большого до указательного пальцев.

Мусреп – ему тоже не хотелось вступать в сложный разговор с родителями Улпан – перебрал тростинки, одну за другой, выбрал две из них, наиболее подходящие, и принялся вырезать сыбызгы. Каждое

отверстие – в точно определенном месте, чуть ошибешься – сыбызгы будет звучать не в лад. И, чтобы проверить, он после каждого прореза прикладывал сыбызгы толстым концом ко рту и прислушивался… Кажется, звучит верно…

Пока он вырезал все семь отверстий, он думал, что исполнить. «Суир-батыр»? Но это боевой клич – не всех кереев, а сибанов. С таким кюем хорошо собираться в поход, а не утешать девушку и ее родителей. «Бозинген»?.. Плач белой верблюдицы, которая потеряла своего верблюжонка. Тоже нельзя, не к месту. Как будут слушать этот кюй Несибели, Артыкбай?

Улпан устала ждать, подошла к нему.

– Уже наладили сыбызгы?

– Кажется, наладил… А что сыграть? – предоставил он ей выбор.

Улпан не задумывалась:

– Кюй «Алгашкым» – ваш?

– Как будто мой.

– Сыграйте…

Переглядывались Артыкбай и Несибели, когда Мусреп приложил сыбызгы ко рту, и в юрте прозвучали первые звуки песни – песни без слов о первой любви. А слов и не надо было. Слушая тонкие свирельные звуки, каждый – и молодой, и старый – мысленно повторял про себя: «О, первая любовь…» И каждый при этом думал о своем – о прошедшем или о будущем, кто как… С тем, у кого все в прошлом, кюй вздыхал: «Пока я жив – не забуду, как провожала ты меня у белой юрты и сказала на прощанье: „Ты всегда будешь мой любимый“. А та, у кого и в будущем ничего нет, слышит: „Пока я

жива, не забуду, как могла бы тебя провожать у белой юрты и сказать на прощанье…“

Тем и хорош был кюй Мусрепа, что каждый находил в нем свое. И он сам, не отнимая сыбызгы от губ, радовался и грустил, и играл свой собственный кюй сегодня не так, как обычно, дольше, чем обычно, и все – и разговор с Есенеем, поиски Улпан в степи, и ее слова: не такая я девушка, чтобы меня взять задешево, – все выводила покорная Мусрепу сыбызгы, сделанная из простого курая, а без рук человека, без его губ курай может только шуметь на ветру…

Улпан этот кюй – «Алгашкым» – слышала и раньше, но сегодня не узнавала его. Вдруг Мусреп – почти сорок, не мальчик… – заиграл так, словно впервые нашел эти звуки… Для нее? О ней? Ей было грустно, но и не было безысходности. Она поняла, что Мусреп, посланный Есенеем, сейчас прощается с ней. Прощается… И она должна попрощаться с ним.

Когда умер последний звук, Улпан тихо сказала:

– Алгашкым… Первая любовь. Бывает первая, бывает – последняя…

Мусреп при ней ничего не мог сказать – ни Артыкбаю, ни Несибели. Улпан поила его чаем, и все, что он мог, – это обменяться обнадеживающим взглядом со старым батыром. Но этот взгляд перехватила и Несибели, которая не спускала с него глаз. И когда вместе с Улпан провожала его, она сказала:

– Я вижу, ты станешь старшим братом Улпан. Ближе тебя у нее никого не будет в роду сибанов…

А Улпан сделала вид, что не слышала слов матери. После всего она посчитала себя вправе, как сестра, сказать «ты» Мусрепу:

– Мусреп-агай… Если ты долго будешь ездить, я обижусь… Не заставляй меня скучать по тебе.

И гладила жесткую блестящую гриву мусреповского рыжего коня.

Мусрепу хотелось скорей уехать, и он – не с тем чувством, какое она у него раньше временами вызывала, – погладил Улпан по голове… Ласково потрепал по плечу…

– Один бог знает, кто первым затоскует: ты или я. До свидания, айналайн… До свидания, женеше. Стряпайте баурсаки, скоро я снова буду у вас.

Его коню не понравилось поздно вечером пускаться в дорогу. Конь ступал медленно, нехотя, и надо было несколько раз огреть его камчой, чтобы он убедился: хозяин не намерен оставаться, хозяин торопится.

Когда Мусреп вошел в юрту к Есенею. тот сидел мрачный, как ночь, сквозь которую Мусреп ехал к нему.

– Где ты был? Какая беда с тобой стряслась, что тебя так долго не было? – накинулся он.

Мусреп сперва сел, потом ответил:

– Долго не было?.. Что – лучше бы я сразу вернулся к тебе с отказом? Кто отпустит без угощения удачливого свата?

Есеней лицом просветлел при словах «удачливый сват». Мусреп продолжал:

– Да, да, да, да… Со всеми говорил. А самое главное – с Улпан! Но хочу тебя предупредить – Улпан не такая девушка… Не такая, чтобы взять задешево. Поговоришь с ней самой. А родители – родители не откажут.

Есеней возмутился:

– Задешево? Что у меня – нет скота? Или я жадный?.. Или я не сумею поговорить с Улпан, если она согласна?

– Тут, пожалуй, счет не на лошадей… – коротко сказал Мусреп.

И не стал объяснять Есенею, опьяненному вестью, что дело не в числе лошадей, которых он велит пригнать в аул курлеутов, а совсем в другом… Улпан сама втолкует ему, что к чему.

И сейчас Мусрепу – как только что из дома Артыкбая – точно так же хотелось поскорей уехать и от Есенея, от его радости, от его надежд. И небо на восходе оставалось еще темным, когда Мусреп забрал собак и отправился домой, в свой аул.

8

Миновало больше двух недель, как Есеней обосновался в Каршыгалы.

Уехал Туркмен-Мусреп, уехал Мусреп-охотник. Есеней злился на них – покинули его… Туркмен-Мусреп казался непохожим на самого себя, хоть поручение и выполнил. Согласие привез, а в остальном предоставил Есенея самому себе. Мусреп-охотник сказал: «Этот беркут отощал, никудышный, дохлую лису и то не возьмет. Привезу другого». И пропал.

Возле Есенея – родня, но этих джигитов, кроме мяса и кумыса, никогда и ничто не трогало. Не то, чтобы поговорить с ними по душам… На охоте от них мало толку – суетятся, скачут взад-вперед, шумом и криком распугивают зверей.

А вели себя так, будто приняли людей из юрт Артыкбая за толенгитов без роду, без племени, которые должны покорно и безмолвно обслуживать Есенея и всю его родню. Они покрикивали на Несибели. Молодые джигиты, не зная о намерениях Есенея, приставали к Улпан. А вчера этот ахмак Иманалы, младший брат, вздумал одернуть Улпан, когда она остановилась возле Музбел-торы:

– Е-ей! Чтоб ты больше не подходила к нему! Такой конь намного дороже десяти таких девок, как ты!.. Отпусти его!

Улпан скинула уздечку и не седлала больше Музбела, несмотря на уговоры и просьбы Есенея. Не смягчило ее и то, что Есеней прогнал Иманалы: «Уезжай, чтоб мои глаза тебя не видели!» Иманалы снялся с места, но на гнедого, у которого по хребту серая полоса, Улпан все равно не садилась.

В другое время Есеней, может быть, спокойнее отнесся бы к Иманалы. Но сейчас… Ведь Улпан, и дав согласие, уклонялась от

главного ответа – когда… Будь она из семьи, равной Есенею по положению, выходка брата привела бы к разрыву, и самого Есенея из аула невесты прогнали бы! Но, что бы там ни было, Улпан своему слову оставалась верна, а Есеней не мог этого разгадать и мучался.

Он был недоволен собой: прославленный бий, ему подвластны запутанные дела – и не может размотать клубок девичьих настроений! И опять он злился на Туркмен-Мусрепа. Уехал, не помог… Что же скрывается за словами Улпан – не из тех она девушек, которых можно взять задешево… Не о том же речь, где купить дорогие вещи, на тобольской ярмарке или на ирбитской. Коварство! Девичье коварство, которым, как говорится, можно нагрузить сорок ишаков!

Если бы она оказывала сопротивление, он бы это сопротивление сломал. Но ведь и сопротивления нет. Загадочно улыбается, повторяет – да, я согласна. Есеней хмуро молчал, тогда Улпан вроде бы шутя говорила: «Куда спешить?.. У нас вся зима впереди. Успеем наговориться, а то наскучим друг другу». И уходила.

Есеней решил: хватит, надо повод укоротить, а то конца не видно. И в тот вечер ждал ее у себя в юрте с особым нетерпением. В очаге горел костер, и гости расселись вокруг.

Улпан пришла не одна – с двумя молодыми женщинами. Она переоделась – сняла одежду джигита, какую обычно носила днем. На ней было платье.

Есеней приветливо сказал ей:

– Садись повыше, Улпанжан. На самое почетное место.

Смешливым молодым женщинам показалось забавным, что пожилой, и не пожилой, а старый, Есеней, как ребенок, обрадовался приходу Улпан.

Улпан в семье росла одна. И привыкла вести себя как независимый мальчишка. Она долго не чувствовала себя девушкой. Никому не давала спуску в аульных детских стычках, которые неожиданно вспыхивают и так же мгновенно гаснут. В верховой езде была первой. А повзрослев, сохранила и эти мальчишеские повадки, но приобрела и сознание своей девичьей силы.

Есеней позвал ее, и Улпан без тени робости заняла почетное место, сев повыше хозяина.

– Ближе, – сказал он. – Садись ближе к огню…

Было одно мгновение, но его вполне хватило, чтобы Улпан, не нуждаясь ни в каких объяснениях, почувствовала – вечер сегодня такой, что не отделаешься взглядами. Не отделаешься призрачными обещаниями на будущее.

Она сказала:

– Я слышала, кто любит сидеть поближе к огню, будет всю жизнь мерзнуть.

– Но дело к зиме, холодает.

– Я привыкла… – ответила Улпан.

Есеней или не понял, или не захотел понять, или не нашелся, что ответить…

– А как здоровье Артеке?

– Вы его вчера видели и сегодня утром. Он такой же, как всегда…

Если Есеней думал, что умеет владеть собой, то уж Улпан действительно умела. Она скромно сидела на почетном месте и скромно ждала, что он еще захочет узнать.

– Он ругает меня?

– За что? А если хотел бы – кто посмеет ругать вас? – невинно спросила Улпан.

Есеней никогда, за всю долгую жизнь, столько не вздыхал и не чувствовал себя таким беспомощным.

Их разговор, со всеми недомолвками, уперся в непроходимую чащобу, и Есеней – под рукой никого не было, на кого бы разозлиться, разозлился на самого себя! Мужчина он или не мужчина? Сколько можно теряться перед сопливой девчонкой, она ему во внучки годится! Ему надоело ломать голову над истинным смыслом ее слов, и напрямик, устремив на нее мрачный, пристальный взгляд, он ласково спросил:

– Улпанжан… Туркмен-Мусреп мне сказал… Передал твои слова… Ты не из тех девушек, которых задешево можно купить. Я не знаю… Чего ты хочешь? Скота? Сколько его есть в нашей степи, весь будет твой, только скажи…

Он понимал, что, наверное, не то говорит, и не мог остановиться, и по лицу Улпан видел, что говорит не то, но ждал, ждал ее ответа…

Она вскинулась, как в детстве, как девчонка, которую побаивались все аульные мальчишки.

– Меня нельзя продать, меня нельзя купить! Кому достанется скот, который пойдет в уплату за меня?.. Пока не было рядом Садыра, мой отец пригонял бы и маленький наш табун с пастбища? Или моя мать? Я управлялась с ним в нашей семье!

– Я слушаю тебя, я не пойму… Чего ты хочешь? «Чего ты хочешь?..» Улпан задумалась. Задумалась, но потому, очевидно, она и была Улпан, избранница Есенея, что могла задумываться, в отличие от многих сверстниц. Улпан никогда не сможет стать обычной токал, не захочет смириться с положением рабыни, которую муж любит, а она

вынуждена довольствоваться объедками с дастархана его старшей жены.

Она решилась сказать то, о чем много дней думала, но сказала не напрямик:

– А в какой из своих домов вы думаете меня привезти?

Есеней смешался. Он никогда не отвечал сразу, а с этой девушкой, чувствовал, нельзя долго раздумывать. И так уж слишком долго…

– Как захочешь, – сказал он. – Отау будет ждать тебя. А захочешь – останешься в моей большой юрте. Все зависит от тебя.

– Нет, – гордо сказала Улпан. – Хочешь взять меня – вези в большую юрту, я буду сидеть, как сейчас, на почетном месте. Но скажи – привыкнут ли к этому глаза твоего младшего брата, смирится ли с этим Иманалы?

– Привыкнут… – пообещал Есеней. – Привыкнут в один день. Ты будешь байбише.

Для Улпан важно было – в этот вечер, вечер окончательных решений, выяснить для себя все.

– Но ведь байбише у Есенея есть…

– Байбише?.. Нет. Я живу в Ореле, а она – в Сореле… Если ты веришь, что я никогда не обману бога, поверь и тому – между нами дорога в семь лет.

Улпан напряженно слушала.

Ореле – так говорится, если коня спутать за одну переднюю и за одну заднюю ногу. Тогда он далеко не убежит – вроде бы и не совсем свободен и не совсем связан. Это слово можно каждый день услышать в ауле, но сейчас оно прозвучало с другим совсем значением, когда Есеней имел в виду себя.

А Сореле – это случайная, наспех выкопанная землянка, где в смутное и переменчивое военное время кладут тела погибших, пока не настанет пора отвезти и предать их земле в родном краю, среди отцовских могил. Много было войн, много есть названий – Сореле. Улпан это слово узнала от своего отца, Артыкбай ей рассказывал – если бы не подоспел на помощь Коцух с казаками, остался бы он в Сореле…

Так… Сам Есеней – Ореле… А в Сореле он отослал первую жену, и там она пребудет до конца дней своих. Так надо понимать. А когда он говорил про дорогу длиною в семь лет… Семь лет они живут врозь. Это утешало Улпан, она не будет прислужницей. Не будет – да и не смогла бы!

– Есеней… – сказала она.

До этого Улпан говорила – «вы», «аксакал»… И вот, услышав свое имя, произнесенное ею впервые, Есеней замер, словно прислушиваясь, – его ли позвала девушка. Есеней замер и осмотрелся – но уже давно они с Улпан остались вдвоем, все остальные, сообразив, что будут мешать ему, – вышли.

– Есеней, – продолжала она. – Там у тебя – дорога в семь лет. А между тобой и мной – дорога в сорок лет. Ты подумал об этом?

Он и сам много раз задавал себе тот же самый вопрос, он был готов к нему.

– Я подумал, – ответил он. – Я не первый, кто берет девушку с такой разницей в годах. Ты не первая, на кого посмотрел мужчина моего возраста. Сорок лет? Я – Есеней…

Улпан слушала, и Есеней продолжал:

– Я не знаю, почему я не уехал от вас… Из Каршыгалы… Красота, молодость. А самое главное – я увидел, кто может стать Есенеем

после меня, в свои сорок лет. И еще при мне – вторым Есенеем. А начнется это… начнется – с этой ночи!

Улпан – она так долго сопротивлялась своей судьбе, что сама не поверила: слова Есенея ее взволновали. Она не знала, что сказать ему, но ее выручили джигиты. Вошли в юрту – кто с кумганом, кто с тазиком для умывания рук, а третий нес блюдо, на котором горкой возвышались куски вареного мяса. Все, что Улпан успела – неожиданным для себя благодарным и ласковым взглядом окинуть темное, покрытое оспинками лицо Есенея.

Но время их одиночества кончилось. В юрту протиснулся Садыр с Артыкбаем на плечах. Следом пришла Несибели и робко остановилась возле порога.

Есеней поднялся навстречу.

– Садитесь, – сказал он. – Отныне в этой юрте для вас нет другого места… Только – торь.

И все, кто был в юрте, поняли: это не просто знак гостеприимства. Это – учтивость к людям, которые вскоре станут его родственниками.

Артыкбай и Несибели заняли торь. Сегодня вечером, кажется, дело решится, отныне они постоянно, пока живы, будут сидеть здесь, и никто не сможет покуситься на урочище Каршыгалы, которое принадлежит родне Есенея… В имени Артыкбай слово «бай» станет определять и его положение, и курлеуты-переселенцы из чужого кереям племени кипчаков станут на этих землях полноправными, уважаемыми людьми.

Но пока все это было впереди, и лишь первые подозрения, что так произойдет, рождались у завистников, которые считались сородичами Есенея.

Есенею не до них было сейчас. Он еще не полностью отдал дань уважения отцу будущей жены.

– Артеке… Сегодня, по установленным законам, мы начали зимний забой скота. Мой долг – поднести вам голову, чтобы вы благословили наш дастархан.

Артыкбай осторожно – давно уже заметные в степи люди не просили его благословить трапезу – принял из рук Есенея голову барана, взял нож, чтобы оделить каждого. Он как бы еще сомневался, ему ли оказывается эта честь, и Садыр, его старый боевой друг, счел необходимым подбодрить:

– Артеке… Я думаю, без вашего благословения в этом доме не обойдутся.

Артыкбай ладонями провел по лицу, губы его шевелились, беззвучно произнося слова застольной молитвы. На скатерти появилось еще блюдо – жая, конское конченое мясо с золотым налетом жира. Подали кумыс, в это время года его могли пить лишь владельцы больших табунов.

После чая Есеней объявил еще одно свое решение, ему хотелось быть щедрым, и он чувствовал себя как никогда сильным, способным дать радость людям, которые его окружают.

– Артеке, – сказал он. – Улпанжан говорила, вам трудно ухаживать за скотом. Да я и сам это вижу. А что, если так… Пусть отныне весь Садыров кос принадлежит Улпан. Я себе из этого коса ни одного стригуна не возьму. Если она оставит свои табуны в Каршыгалы, то и ваши лошади могли бы пастись с ними.

За дастарханом насторожились. Что это – щедрость?.. Или человек, зная свой возраст, заранее выделяет долю Улпан, чтобы избежать в будущем возможных семейных распрей? Бывал Есеней и коварным,

и безжалостным, и справедливым, но добрым – мало кто его знал. Может быть, к старости душа начала оттаивать? Тогда одни сказали бы – живи тысячу лет, Улпан. А другие проклинали бы тот час, когда Есенею пришло в голову зимовать в Каршыгалы. и юрта Артыкбая попалась на его пути.

– Есеней, друг… – Голос у Артыкбая дрогнул. – Твой поступок достоин тебя. Ты успокоил мое сердце и сердце матери Улпан. Долгие годы я боялся, что они со мною – совсем беззащитные. Теперь я успокоился.

Есеней поднялся, достал кафтан ярко-изумрудного цвета, расшитый золотом, с золотой медалью на левом отвороте, в память о победах над Кенесары – подарок сибирского генерал-губернатора, и накинул на плечи Артыкбая.

Садыр подставил Артыкбаю свои плечи, Есеней помог старику. Ушла Несибели, ушли все остальные.

– Улпанжан… Я не хочу, чтобы ты думала, будто я выделил тебе твою долю. Это мой подарок. Всем остальным, что у меня есть, будем распоряжаться вдвоем. Два Есенея, два хозяина. А садыров кос – твой. Делай с ним что хочешь. По мне, лишь бы твои старики не нуждались. Ты знаешь, детей у меня нет, оставлять некому. Ты будешь для меня и сыном, и дочерью, и женой, и возлюбленной. Если ты солнцем взойдешь над моим домом, у меня больше не будет к богу никаких просьб. Садись ближе. Положи голову – вот сюда…

Он слушал себя и удивлялся. Он думал, он давно забыл, что такое нежность, забыл слова, какие говорят, оставшись с девушкой вдвоем. Оказывается, не забыл!

Улпан слушала его с бьющимся сердцем. Кто другой на ее пути мог бы стать Есенеем? Мужчина должен быть твердым в решениях. Он должен обладать и силой, и большим сердцем, и таким она угадывала человека, которого недавно встретила на вершине холма.

Боже мой, а каким он был, представить себе, сорок лет назад! И если бы не он, кто бы ей встретился? Кто-то вроде Мурзаша, сына Тулена… А и другой молодой джигит, разве бы сравнялся, мог бы сравняться с Есенеем? Кто знает?.. Но она такого не встречала.

Улпан недавно – после разговора с Туркмен-Мусрепом о сватовстве – готова была свалить Есенея пулей, пустить в него стрелу из отцовского лука. Неужели теперь, когда свершилось все то, чего она не хотела, она ищет для себя оправданий?

Улпан прилегла, положила, как он просил, голову к нему на колени.

– Не будем тратить много слов, – сказала она. – Завтра собери своих сибанов и моих курлеутов, сделай той и при народе повтори то, что говоришь мне, что обещаешь…

Есеней не отвечал. Его большое, темное, испещренное безжалостной оспой лицо приближалось к белому лицу девушки.

Впоследствии – много времени прошло с той ночи – она слушала песню русского акына, переложенную на казахский акыном Абаем из рода тобыкты. О властном старике – Тенгизе, как он неотвратимой грозой двинулся навстречу молодой казачке, и его темно-синие глаза подернулись влагой страсти.

Глаза перед ней тогда были темно-коричневые.

На рассвете Есеней отошел к чану с водой и долго, с наслаждением плескался.

– Хочешь? – предложил он Улпан. – Ты тоже искупайся.

Она встала, и вдруг ей пришла в голову простая и отчетливая мысль, что отныне этот человек, ее муж, будет рядом и ночью, и днем, и в радости, и в беде.

Старое тело – разгоряченное, будто в молодости, ощущением своей силы и вечности, вновь охладилось от воды. Есеней расстелил коврик для намаза.

А юное тело – после купания сперва охладилось, но вновь разгорячилось…

Улпан скользнула обратно под одеяло.

9

Уже весной – Есеней, Улпан, Несибели и с ними четыре джигита уехали из аула Артыкбая. До границы с русскими поселениями добирались верхом, как обычно, а там, в заранее условленном месте, их ждал Тлемис. Он пригнал повозку – с крытым верхом, который сдвигался и раздвигался, как гармошка, с маленькими ступеньками по бокам. Запряжена была повозка тройкой лошадей. Тлемис называл эту повозку – коляска…

Сколько она себя помнила, Улпан не садилась и в простую телегу. Но сейчас ступила на маленькую подножку, легко опустилась на сафьяновое сиденье, будто всю жизнь только и делала, что ездила на колесах.

А чего ей робеть? Не заробела же она, став владелицей состояния, о каком и помышлять не могла. Есеней только посмеивался, глядя, как значительно, по-хозяйски распоряжается она… Кос, подаренный мужем, насчитывал пятьсот лошадей. Аул Артыкбая никогда не знал такого довольства, аул был завален мясом и затоплен кумысом. К тому времени, когда они собирались ехать, двести кобыл ожеребились.

Люди состоятельные могли бы сказать, Улпан почти что голой вошла в дом к Есенею. Была кое-какая одежда, праздничная, по понятиям Несибели, перелицованная, перешитая из давних нарядов ее родителей. Кроила и шила мать. Зная пристрастие дочери, Несибели постаралась приспособить все для верховой езды.

Ближе к весне Есеней собирался увезти Улпан в свой аул, но она сказала ему;

– Если твоя родня увидит меня в моем старье, не станет ли она зубоскалить: слава аллаху, что она к нам не приехала без штанов…

Есеней смутился. Он как-то не привык задумываться о том, что нужно женщине, без чего неудобно ей обойтись. Он решил:

– В середине мая будет ярмарка в Тобольске. Скажи, чтобы туда погнали сорок отборных лошадей.

Улпан так и поступила. Ведь для чего богатство, если нельзя вкусно есть и пить, хорошо одеваться, если не можешь делать то, чего тебе хочется! В это лето ты богат, а через зиму можешь превратиться в самого последнего из последних бедняка! И на ярмарку ей хотелось поехать – пусть глаза привыкают к тому, чего она не видела, не знает…

Тлемис – тот самый, кого Есеней отправил в Ирбит, когда сам, раненый, лежал в Стапе, в госпитале, – вот уже пятнадцать лет ведал его торговыми делами. Есеней послал передать, чтобы он встретил их. И Улпан не выказала удивления. Не только для нее самой, но и для него было бы, для Есенея, неудобно, если бы она стала на все таращить глаза…

А на самом деле ее удивляло многое. Обыкновенная дорога, по которой они ехали… Обыкновенная – и не обыкновенная. Дорога имела одну колею посередине, для коренника, который горделиво нес голову, обрамленную дугой. И две колеи по бокам, для двух пристяжных – они неслись на отлете, изогнув головы в противоположные стороны, И колеса широкой коляски катились ровно следом за ними. Улпан – дочь кочевников, чья жизнь проходит вдали от проезжих мест – впервые видела такую дорогу, должно быть, русские проложили ее.

Не сбавляя хода, не сбиваясь на рысь, на шаг, тройка неслась полным ходом, и коляска плыла, казалось, не касаясь земли. Привыкшая к седлу, Улпан оценила и такую езду. Удобно, быстро… Далеко позади остались джигиты, сопровождавшие их.

Когда ты в седле, и конь тебе нравится, можно любоваться посадкой его головы, роскошной гривой или красивым изгибом шеи… Но взглянуть на него со стороны ты не можешь. А тут – вся тройка перед тобой! И, не затихая, сопровождает ее стремительный, бег неумолчный перезвон колокольцев.

Так… Улпан считала про себя. Первым делом – дорога… Коляска с неутомимой тройкой. Ну, держись, голубчик Есеней! Дай добраться до ярмарки…

Приметила Улпан и русскую избу, в которой не приходилось ей бывать прежде. Тлемис договорился в одном доме, что там приготовят им чай и еду. Чистые две комнаты. Покрашенный деревянный пол, застекленные окна, внутри светло, как на дворе. А обед, приготовленный для них, варили, видно, в той большой печи, что в передней комнате занимает добрую треть.

Немолодая светловолосая женщина с голубыми глазами потчевала их, проворно доставая ухватом котелки и горшки, придвигая кочергой сковородки и противни. Улпан успела проголодаться и с удовольствием ела пышный белый калач, выпеченный из кислого теста. Понравились ей круглые ватрушки с творогом. Сколько всего, оказывается, можно сварить, изжарить, спечь из мяса, молока, муки…

– А у семьи этой сколько голов скота? – тихо спросила она у Тлемиса.

– Какой там скот!.. Ничего у них нет. Пара лошадей, одна корова, ну еще куры – с дюжину. Немного хлеба сеют для себя.

Улпан не переставала любоваться избой. И этой, и другими, когда после обеда вышли, чтобы ехать дальше. Уютная, ухоженная стояла небольшая казачья станица. И станица еще не успела скрыться из глаз, а Улпан сделала для себя еще одну зарубку: русская изба. Вот так, Есеней!

Многое в тот день и во все последующие дни врезалось ей в память. Вроде и степь была та же, какую она привыкла видеть, которую она любила… Зеленые гривы рощ. Ковыль на ветру. Знойное марево, завесившее этот простор, когда солнце поднялось за полдень. А ее жизнь? Зимой и летом в юрте. Четыре вида скота, разрешенные для разведения правоверным пророком Мухаммедом. Согым – зимний забой, когда каждая семья заготавливает мясо, сколько у кого есть. Жизнь однообразная – без всяких перемен, как длинная ночь. Как-то свыклась Улпан и с участью женщины-казашки, с ее грязным подолом, с ее вечной приниженностью, и никчемностью разговоров… Может быть, она и преувеличивала, столкнувшись с жизнью, разительно непохожей на ту, которую знала. Но какие-то новые, ей самой неведомые пока мысли и намерения заставляли ее беспокойно думать: «Поживем – увидим…»

Тлемис позаботился и о том, где их устроить. На берегу реки, там, где Тобол делает извилистую петлю, стояли юрты: три белые и две темные.

Сойдя с коляски, Улпан распорядилась, будто всегда привыкла распоряжаться:

– Мы с мамой устроимся в моей отау, ты – в большой юрте, а в третьей – будем принимать гостей. Там и обедать будем, а чай станем пить в отау. Слезай, мой тигренок…

Улпан старалась не удивляться, и это ей удавалось, а Есеней не мог не удивляться и не скрывал удивления, наблюдая, с какой непринужденностью, как рассудительно ведет себя и делает все его Улпан, и – в неисчислимый раз благодарил аллаха за то, что прошлой осенью принял необычное решение зимовать с табунами в Каршыгалы.

Он задержался – поздороваться с людьми, встречавшими его, а Улпан с матерью и с ними Тлемис прошли дальше, к белоснежной отау.

Какая-то казашка собиралась откинуть тундик, закрывавший дымовое отверстие вверху.

Улпан сказала:

– Пусть не трогает, мама сама откроет.

– Эй, баба! Не трогай, прочь! – крикнул Тлемис. Наверное, это его жена. Так грубо и без всякого к тому повода и с наемной прислугой не разговаривают.

Женщина скрылась, как не было ее.

Открыть тундик – тоже не простое дело. Несибели сначала взглянула на солнце, определила, откуда дует ветер, и лишь потом откинула войлок.

В юрту она вошла следом за дочерью и остановилась в изумлении. Верхний покров из белой кошмы украшал орнамент из черного бархата, искусно вытканные ковровые полосы скрывали решетчатые стены, а пол был устлан ворсистыми коврами. Напротив входа возвышались постельные принадлежности – атлас, бархат… Сундуки были покрыты войлочными чехлами, тоже из белой кошмы. Начищенный медный кумган с длинным изогнутым носом, медный тазик для умывания. Занавеси из тяжелого голубого шелка.

Все здесь сияло, переливалось, но Улпан, верная слову, данному самой себе, не выказала удивления. Она поблагодарила Тлемиса – он вошел за хозяйкой и ее матерью:

– Только ваш взгляд может заметить, если что не так… А я не вижу недостатков, ни одного, Тлемис-ага. Не обижайся, что я называю тебя по имени. По имени я называю всех, начиная с Есенея.

За долгие годы он привык, что русские женщины зовут его – Туламеш или Тиламеш, и потому, даже не обратил внимания, когда Улпан окликнула его по имени, что в аулах не принято при обращении к мужчине. Но и сам сейчас раздумывал, как обратиться к этой токал, избалованной, кажется, вниманием старого мужа.

Так и не решив, он обошелся без прямого обращения:

– Недостатки есть… Как не быть! Но постепенно наладим. В Тобольске на ярмарке можно все найти, чего только душа пожелает. А еще – у меня целый косяк знакомых купцов. Так что вы не беспокойтесь.

Он вышел.

– Апа… Садись. На самое почетное место, где всегда сидишь и дома. Это – моя отау. В аул Есенея ты повезешь меня с этой юртой.

– Солнышко мое, когда же ты успела? Когда ты заказала такую юрту?

– Апа, ведь я – Есеней? А какие могут быть трудности для Есенея! Завтра поедем на ярмарку. Что нужно для тебя, для отца, для дома – бери все… Все купим… Не я приехала с Есенеем на ярмарку, а Есеней приехал со мной.

Но как же могла не удивляться Несибели? За одну только зиму Улпан приручила такого человека, как Есеней. А ведь еще не было главной свадьбы в родном его ауле.

Вошла женщина, которая к их приходу безуспешно старалась открыть тундик.

– Будете умываться? – спросила она.

– Будем, будем… А вы жена Тлемис-ага?

– Да, жена…

Когда Улпан и Несибели умылись, переоделись, джигиты принесли дастархан, кипящий самовар. Улпан сказала им:

– Пусть кто-нибудь из вас позовет Есенея. А самовар ставьте сюда, я сама буду разливать чай.

Есеней пришел не один. Кроме Тлемиса, были еще два татарских купца и один русский. Тех двоих звали Галиаскар, Галиулла, а русского – Глеб.

Улпан, впервые в роли хозяйки не в ауле, не дома, с каким-то обостренным вниманием перехватывала взгляды гостей, читала мысли… Кажется, они поначалу приняли ее за дочь Есенея. А Несибели – за его жену. Но потом начали сомневаться – и так в сомнении оставались, пока Есеней не заговорил с ней:

– Улпанжан… К нам пришли торговые люди, а торговые люди всегда торопятся, всегда у них времени мало, а дел по горло. Этот русский хочет купить твоих лошадей, оптом. Если, конечно, вы сговоритесь.

Тлемис счел нужным напомнить о ярмарочных ценах:

– Четыре лошади проданы, каждая – по сорок рублей. Но из всех лошадей эти четыре были самые лучшие.

– А этот человек – Галиб – по сколько дает?

– По тридцать пять…

Улпан долго думать не стала и торговаться не стала:

– Как там у вас полагается? – сказала она Тлемису. – По рукам, что ли, хлопнуть. Я согласна.

Перед уходом Глеб еще сказал:

– Мадам, за мной – самая лучшая чернобурка, какую я смогу найти, и парижские духи…

Тлемис перевел и объяснил – «мадам», так обращаются к знатной женщине.

Он вышел проводить Глеба, а Галиаскар и Галиулла поздравили ханум с удачной сделкой, пожелали ей успеха на ярмарке. Галиаскар пригласил ее на завтра к себе домой. Жена и дочь будут рады… Если ханум с ними пойдет в торговые ряды, никому из продавцов и торговцев в голову не придет ее обмануть… А кроме ярмарки, у него, у Галиаскара, есть своя лавка. Все товары на ее полках – для ханум, пусть она скажет, что нужно.

Галиулла, видно, был не очень доволен, что Галиаскар опередил его с приглашением. С этой мадам, как назвал ее Глеб, можно иметь дело. Они уже и прикинуть успели, сколько денег, с божьей помощью, осядет в кармане русского купца от продажи сорока лошадей, сколько – у них самих…

Потом они оба ушли, а Тлемис вернулся и принес Улпан внушительную пачку ассигнаций и мешок с серебром.

– С тебя магарыч… – ласково, как он всегда разговаривал с нею, сказал Есеней.

– Когда он пришлет чернобурку, я сошью тебе хороший тымак, – не будет зимой мерзнуть голова. Идет, мой паренек?

– Идет, ханум, идет…

– Но вот – возьми и денег, чтобы в кармане не было пусто.

– Ойбай-ау! Ты даешь мне так много?

– Ничего… Мне не жалко…

– Нет! Я лучше возьму этот серебряный рубль с бабой-царицей! Я никому не собираюсь ее отдавать! Она же такая красавица. Я оставлю ее себе.

К ним прислушивалась, не уставая радоваться, не уставая молить аллаха, чтобы он продлил их счастье, Несибели. Теперь ей самой казалось странным, что она в горе выбежала из юрты, когда Туркмен-Мусреп передал им намерение Есенея. А наблюдая своего старого зятя со своей дочерью, еще совсем юной, Несибели старалась разгадать: или Есеней стал проще, добрее, или же Улпан с первых дней нашла верный разговор с ним, она бывала и ласковой, и властной и шаловливой, и неподатливой… «Мой паренек», «мой тигренок»… – и ему нравится, когда она так его называет.

А сам Есеней?.. Такой человек никогда не встречался Несибели. Упоение своим богатством, неистощимое властолюбие, высокомерные батырские повадки, охотничья страсть – все это и осталось, может быть, в нем, но все это заслонила Улпан, она бывала и подопечной, которая прислушивалась к его житейским советам, и наставницей, советы которой выслушивал он сам.

Огромный, с виду мрачный Есеней каждый раз, как взглянет на Улпан, получает в ответ ее понимающий взгляд. «Мой Есеней», – называет она его. А иной раз – как дети. Улпан соберется пойти куда-нибудь. Есеней строго подзовет ее к себе, и она подбегает, становится навытяжку. Он непременно что-нибудь поправит: или одернет камзол, или заново перевяжет тесемки малахая. «Боюсь, ты вырастешь неряхой и растяпой… – и шлепнет, как маленькую. – Ну, теперь иди». Есеней, он – Есеней. Он может, не считаясь с тем, принято это или не принято, позволить себе делать, что хочет. Вот и то, что он говорил о красоте бабы-царицы, – он говорил про Улпан.

Сам он в эти дни на ярмарке отодвинулся в тень. Если бы так поступил кто-то другой, это могло бы вызвать недоуменные взгляды,

затаенные насмешки. Но Есеней… Иные люди, боявшиеся прежде его суровости, замкнутости, старались быть поближе к нему и заново узнавали его.

Для Улпан поездка на ярмарку значила многое. О ней заговорили – о ее уме, о влиянии на дела. И – что не менее важно – она сама узнала, что может быть другой, а не просто аульной девчонкой, которая любит ездить верхом и с помощью Туркмена-Мусрепа научилась охотиться с борзыми на волков.

Человек, проживший в невзгодах, тревожится, что наступившее счастье будет недолговечным. Так и случается чаще всего – и Несибели снова и снова просила бога, чтобы он не обошел своими милостями дом дочери.

Они сидели – Есеней и Улпан – со своими шутками, Несибели – со своими радостями и опасениями, когда откинулся полог и в юрте появился Туркмен-Мусреп.

– Ассалаумаликем…

С руки у него свисала плеть, он был в дорожной одежде – видно, только что слез с седла.

– Мусреп-агай! – вскочила Улпан. Несибели тоже поднялась навстречу.

Есеней свирепо уставился на неожиданного гостя:

– Это ты, Туркмен? Ты?.. Я успел забыть твое лицо! Где ты всю зиму шлялся? Почему заставляешь скучать по тебе? Садись, больше никуда не пойдешь.

Не принято это было, не в обычае, а то Улпан кинулась бы на шею Мусрепу, обняла бы его, поцеловала. Он все понял по ее взгляду,

понял и то, что с ее замужеством стал для нее действительно старшим братом, и тоже – хотел бы обнять ее, приласкать, как сестру.

Есеней усадил его рядом с собой.

– Ты, Туркмен, никаких вестей о себе не подавал… Но я слышал, ты столько лет крепился, а теперь тоже спутан. Почему не позвал нас на свадебный той?

Мусреп сразу нашелся, что ответить:

– Той отложили до вашего приезда, – сказал он. – Некогда было… У нас ребенок появился, вот Шынар и не может никуда отлучиться, день и ночь – возле него.

– Ребенок?..

Будь они вдвоем, Есеней непременно поддел бы друга, спросил бы, что так скоро, разве твоя баба пришла из своего дома уже с прибылью?

Но он постеснялся Улпан и сказал коротко:

– Ну, поздравляем…

А Улпан, конечно, спросила:

– Сын?.. Дочь?

– Да не знаю пока. Еще не поднимается на ноги, а Шынар не показывает мне – сглазишь, говорит.

– Не поднимается? – удивилась Улпан. – А когда же он…

– Давно. Вчера исполнилось двенадцать дней.

– За двенадцать дней – и чтобы ребенок встал на ноги?

– Что ты мелешь? – потребовал объяснений Есеней. Несибели улыбнулась и повернулась к дочери:

– Е-е, Улпан… Как ты не поняла? Это же у них верблюдица родила, верблюдица…

– Да?..

По глазам Мусрепа Улпан поняла, что мать угадала, и облегченно расхохоталась. Ведь и она, как Есеней, поначалу решила, что Мусреп с какого-то горя – с какого?.. – взял в жены женщину, ожидавшую ребенка.

Мусреп стал объяснять – верблюжонок пока беспомощный, ногами не владеет, а ноги – длинные, неуклюжие, и голову он даже поднять не в силах, лежит и лежит… Это еще из дому Шынар привела белую верблюдицу.

– А верблюжонок тоже белый? – перебила его Улпан.

– Да, белоснежный, говорит Шынар. Мы думаем сделать его главным призом палуану, который всех победит на нашем тое.

Вмешался Есеней:

– Я вижу по глазам Улпан… Ты возбуждаешь в ней жадность, ты хочешь, чтобы я на твоем тое стал бороться!

– А что с тобой случится, если и выступишь? Или старым совсем стал? Сколько раз сходился ты с палуанами, с известными, – и побеждал!

– Он станет бороться, станет! – весело воскликнула Улпан и хлопнула ладонью по колену Есенея. – Он победит всех – и белый верблюжонок будет моим!

– Хорошо! – согласился Есеней, но и свое условие поставил: – Только ты, Туркмен, тоже выйдешь на ковер вместе со всеми.

– Выйду…

Судьба приза была, кажется, решена задолго до того, как палуаны на тое сошлись в схватке…

Улпан давно не видела Мусрепа, а такие перемены с тех пор произошли в его жизни, и она продолжала расспросы:

– Мусреп-агай, вы говорите, мою будущую подругу, мою сестру зовут Шынар?

– Женился бы я на ней, если бы звали иначе?

– Хвастун! – сказал Есеней. – Холостой был хвастун, женатый – таким же остался!

– Хвастун или нет – сам увидишь.

– Ты хочешь сказать, она красивее, чем Улпан? Трудно было отвечать на такой вопрос, но не Мусрепу:

– У каждой женщины красота должна быть своя, неповторимая. Разве мы спорим, какая лошадь лучше – гнедая или вороная? Нет. Мы говорим – прекрасная, славная, изящная, красавица…

Самому себе, должно быть, в утешение Есеней повторил старую проверенную истину:

– Говорят же – красота мужчины в его уме, а ум женщины в ее красоте…

– Что ж, считай мне повезло, как и тебе, – ум моей Шынар не только в ее красоте, как я убедился.

– Улпанжан… Кажется, к нему возвращается сознание?

– А ты тоже стал похож на человека! Есеней – уже без шутки – ответил:

– Ты сказал правду, Туркмен… Случается, трудно узнать себя самого… – Но не привык он к полной откровенности, даже с

Мусрепом, и вернулся к прежнему ходу разговора: – Куда она меня погонит, туда и иду. В кого бы я ни превратился, это будет ее рук дело! А твоя – тоже такая?

– Сейчас-то мне легче, – протяжно вздохнув, отозвался Мусреп. – Сейчас у моей бедной мгновения нет свободного – все из-за этого верблюжонка. Я только по глазам угадываю. Вижу – нет топлива и бегу за кизяком. Воды нет… Хватаю ведра, бегу к озеру и несу обратно, стараясь не расплескать.

– Так и бежишь!

– Бывает, комар заставляет бегать тигра…

Улпан слушала их снисходительно – двух мужчин, совсем не молодого и не очень молодого, рассуждающих о молодых женщинах, своих женах.

Она попросила:

– Мусреп-агай, ты найдешь завтра время – поехать со мной на базар? Много своих дел?

– Один раз побываю, и со всеми делами управлюсь… Есеней недовольно спросил:

– А я буду сидеть один?

– Днем Мусреп-агай будет со мной, а вечером с тобой. Днем у тебя будет, чем заняться. Твои кереи и твои уаки не дождутся Есенея, когда он примется разбирать их тяжбы, накопившиеся за зиму. А хочешь – поедем вместе…

– Нет, – отрезал он. – Не хватало только, чтобы я шатался по базару. Никогда в жизни этого не делал!

– Я постараюсь недолго, – пообещала Улпан.

На другое утро, пока с берега Тобола коляска мягко катилась по направлению к городу, Улпан снова завела разговор про Шынар:

– А какого она роста?

Она успела отвыкнуть от Туркмен-Мусрепа и сейчас путалась, то ли на «вы» его называть, то ли на «ты».

– Если рядом встанете, сможете посмотреть друг другу в глаза. Но, кажется, она чуть потоньше тебя. Эта девушка никогда не гонялась за волком в степи, она пасла верблюдов.

– А нрав у нее?..

– Нрав? – переспросил Мусреп, не зная, что ответить. – Спокойная. Не пугливая, Наверное, приветливая… Старухи в нашем ауле балуют ее, боюсь – испортят. Одно слышишь: «Айналайн-ай… Айналайн-ай…» А дети иначе не называют, как аяй-апа…

– А как зовешь ее ты? – спросила Улпан.

– Я?.. Акмарал…

Улпан на время прекратила расспросы – вспомнила, должно быть, своего белого марала в урочище Каршыгалы, белую маралиху с двумя маралятами у соленого озера… И почему так зовет жену Мусреп? Разве нет других ласковых прозвищ? Акбота, например, – белый верблюжонок…

Но лучше было не вспоминать, а перевести разговор:

– Мусреп-агай, что бы вы сделали, если бы разбогатели?

– Лучше не надо, – ответил он. – Богатому – одни муки… Ночью не спит, думает, как бы не лишиться скота. Или джут… Или угонит кто…

Она продолжала настаивать:

– Нет, а все-таки?..

– Честно говорю, айналайн, – не знаю. Что надо, есть у меня. Два коня для езды, две кобылицы, две собаки. А теперь прибавилась верблюдица. Верблюжонка имеем…

– Нет! Верблюжонок – мой!

– А-а, верно – твой, твой…

Они въехали в город… Глаза степняков не привыкли к такому скоплению людей – столько не встретишь на самом большом тое! Дома – каменные, а деревянные изукрашены искусной резьбой на воротах, на окнах… Да что они – лошади в упряжке испуганно храпели, косили по сторонам и в любую минуту готовы были шарахнуться. Тлемис, сидевший на месте возницы, еле сдерживал их.

Тлемис и растолковывал… Двухэтажный белый дом – в нем раньше жил губернатор. А это? Тяжелое здание, прочно стоящее на земле, с башнями и крестами, устремленными в небо, – церковь. Русские молятся здесь своему богу, здесь их крестят при рождении, здесь отпевают, когда они покинут этот свет. Длинный каменный сарай с большими окнами, возле которого толпы людей, – лавки, магазины. Что надо, что хочешь, тут всегда можно купить, были бы деньги.

Улпан поняла – с одного раза ничего не удастся запомнить, и сказала:

– Поедем в дом вчерашнего татарина, купца. Галиаскара?.. Да, Галиаскар его зовут.

Тлемис свернул – в боковую улицу – и направил упряжку к двухэтажному кирпичному дому.

– Ты спрашивала, что бы я сделал, обладай я богатством? – спросил Мусреп у Улпан. – Прежде всего я бы построил такой дом… Смотри – как чисто во дворе, трава – зеленым ковром. Колодец. Если снаружи так, представляешь, как там внутри?

Да, внутренняя отделка и убранство этого дома показалась Улпан верхом роскоши. И она незаметно, но внимательно присмотрелась к жене Галиаскара и его дочери. Одеваются татарки легко и удобно, держат себя свободно. Язык у них похож на казахский и не похож, но понять можно. Ну, а уж сам Галиаскар говорил по-казахски так, будто это его родной язык.

Большой круглый стол был заставлен, оставалось только место, куда пристроить чайники и чашки. Казалось бы, тут и добавить нечего.

Но жена Галиаскара – Разия все равно хлопотала:

– Угощайтесь… Что есть на столе – все для вас… Этот Галиаскар всегда меня подводит. Поздно вечером приехал и говорит – утром у нас гости. А я ему – ты меня убить хочешь? Ведь ничего не успею и умру со стыда. А он по-русски: ничауа, Разия-ханум, ничауа… По-русски, чтоб я не спорила. Зато, говорит, увидишь красавицу казашку. И не обманул. Угощайтесь…

Улпан не стала много есть, чтобы не подумали – голодная. Выпила чаю, а после Разия-ханум повела их в магазин Галиаскара. Купец не только свободно говорил по-казахски – он знал и то, что может понадобиться любой степной женщине, держал товары на любой вкус, на любой достаток. Не зря говорил: «Нигде не найдешь то, что есть в моей лавке…»

Сафьяновые сапожки разных цветов… Расшитые бисером кавуши-ичиги. Бархатные камзолы, плюшевые камзолы… Взглянуть на них – покажется, что радуга раскинулась над прилавком! И такая же радуга в другом углу, где развешены шелковые платья. Где их шили? В Казани… Это далеко от северной казахской степи, но кто-то сумел там найти такой покрой, чтобы и сохранить привычный для аульных женщин вид, и сделать платье более легким, более удобным.

Улпан для начала попросила три пары сапожек. Услужливый приказчик, тоже татарин, по-казахски пригласил ее:

– Садитесь, надо примерить…

Улпан села, но – портянки она утром не сменила. И примерять отказалась, только сравнила новые с теми сапожками, что были на ней. Кажется, впору…

– Беру…

Потом она заставила мать примерить кавуши и долго отбирала все необходимое – ведь когда еще попадет на ярмарку… Не оказалось в лавке лишь платьев с двойными оборками и камзолов с рукавами.

– А найдутся люди, которые смогут сшить?

– Конечно… – откликнулся приказчик.

Он привел портного – Шакира, и Шакир оказался в затруднении. Обычно казахи не дают дотронуться до себя, чтобы снять мерку, это считается гибельной приметой. Тонкое полотно на саван достать трудно, а стоит оно дорого, с предельной точностью не живых меряют, а усопших.

Гордо выпрямившись, Улпан встала перед портным и стояла, не шелохнувшись, пока он осторожно, почти не прикасаясь к молодой женщине, снимал мерку, записывая цифры на бумаге. А Несибели в углу шептала заклинания, умоляя бога сберечь ее Улпан от дурного предзнаменования.

Когда все это кончилось, Улпан вспомнила, что Мусреп говорил – Шынар одного роста с ней самой, и она сказала Шакиру:

– Таких платьев и таких камзолов – каждого по три.

– По три?..

– Да. А сколько времени надо, когда будет готово?

– Дней через пять…

Настало время расплачиваться, и дробно застучали костяшки на счетах под ловкими пальцами самого Галиаскара – такую крупную покупку он приказчику не доверил.

Он считал и приговаривал:

– Синий бархат – сорок пять аршин… Малиновый бархат – пятьдесят пять… – Красный – тридцать три…

Он еще бормотал, и в конце концов несколько крупных купюр осталось в ящике его стола. Но Улпан не жалела – если иметь деньги, зачем их держать? Деньги нужно тратить.

Разия-ханум на прощанье посоветовала Улпан все обновки надеть после того, как она сходит в баню – дорога из аула была долгая, – она же нашла и старуху, здешнюю, та повела их.

Про баню Улпан отец рассказывал, он же бывал в русских поселках, а в Стапе полгода лежал в больнице. Но одно дело слышать, а другое – войти в горячую парилку, где так жарко, как в степи не бывает в самый жаркий день… Приятная истома обволокла все тело, а мягкие ладони старухи легко терли его, и тело покрылось щекотной мыльной пеной… А волосы, вымытые водой, которая терпко пахла уксусом, рассыпались по плечам… «Завтра приду опять, – блаженно думала Улпан. – Послезавтра – тоже. Каждый день буду приходить, пока не уедем в аул!» А в памяти Улпан завязала на будущее еще один узелок – русская баня…

По дороге домой Улпан заметила Галиаскара и Мусрепа – они ехали в тарантасе, запряженном рыжей лошадью, большой – до холки рукой не достанешь… Бесшумно катился тарантас. Края у него были

окованы сверкающим металлом, коробок для седоков сплетен из лозы и покрашен яркой коричневой краской.

Сперва она подумала, что это тарантас Галиаскара и сказала:

– Мусреп-агай… Начнешь ездить в телеге купца – разучишься садиться в седло.

– Это не телега. Это тарантас. Мой.

– Купил?

– И коня, и всю сбрую… Акмарал за этим и послала меня на ярмарку. Думаешь, понравится ей? – озабоченно спросил он.

– Еще бы!

Домой – к юртам на берегу Тобола – Улпан возвращалась в тарантасе Мусрепа. Ей хотелось неторопливо проехаться по улицам, рассмотреть город. И она смотрела, и при этом не могла не обратить внимания – темно-рыжая лошадь, привычная и к шуму, и к многолюдью, шла свободно, легко, чтобы все любовались ее красотой. При поворотах сверкали на солнце все четыре подковы.

– Завтра купишь мне такой же тарантас. Купишь, Мусреп-ага? Но лошадей – пару. Я видела такие на улицах.

– Раз просишь – куплю. А какой масти кони?

– Что понравится вам, то понравится и мне… Есеней встретил их возле большой юрты.

– Ну, Туркмен… Ты всю выручку от волчьих шкур бросил в эту телегу. А на что будешь кормить меня?

– Хорошая жена сама мужа накормит.

Улпан не терпелось высказать Есенею свое желание:

– Мой Есеней, не ругай Мусрепа за его покупку. Завтра я тоже куплю тарантас и лошадей. Наши кони слишком пугливы ходить в упряжке.

– Хочешь разорить меня!

– Разорю, разорю!.. Ты уже разорен, своих денег у меня почти не осталось. Через пять дней – домой. А пока – каждое утро буду ездить в баню, мыться. Попробуй, и сам узнаешь, какое это наслаждение!

Перед отъездом меньшую белую юрту – отау разобрали и навьючили на верблюдов, верблюды понесли и тюки с покупками, а Улпан с матерью отправилась в новом тарантасе, который легко несли спокойные и проворные на бегу кони – темно-серые.

На прощанье Улпан напомнила:

– Мусреп-агай, скажи Шынар, пусть она бережет моего верблюжонка, никому не показывает…

10

К аулу они подъезжали в первой половине дня, и Есеней ласково и немного насмешливо сказал ей:

– Ну, молодая келин, дальше тебе пешком… А я погляжу, как ты станешь по заведенному обычаю кланяться во все стороны.

– Не знаю, получится ли у меня… Но ты не смотри на меня. Ладно?

– Ладно, – пообещал он.

Толпа девушек и молодых женщин, которые вышли встречать их, приближалась, и Есеней ссадил Улпан с матерью. Сошли и сопровождавшие Улпан женщины из ее родного аула – они ехали позади. А джигиты – всадников двадцать – последовали за Есенеем.

Искоса взглянув на женщин, встречающих Улпан, Есеней ухмыльнулся: «Мои сородичи по уму могли бы поспорить с лопоухим ишаком… Воображают, что байбише Есенея войдет в собственный дом под покровом их ширмы…»

Они и в самом деле несли на двух баканах – тонких шестах – темно-зеленый шелковый занавес – ширму, которая должна будет скрыть от посторонних взглядов их новую родственницу.

Впереди шла Айтолкын – жена Иманалы. Поверх двух бархатных камзолов натянула шубку, на голове тюрбаном возвышался жаулык из легкого белого коленкора.

Две молодые женщины – по обе стороны Айтолкын – были одеты полегче, соответственно погоде: на голове саукеле с золотым позументом, безрукавые камзолы, белые платья с пышными двойными оборками. Все трое остановились и отдали поклоны, когда крытый тарантас с Есенеем проезжал мимо них.

Темно-зеленый занавес двигался навстречу Улпан. Айтолкын думает, если надела жаулык, подпирающий небо, то стала выше ростом! И два камзола в такую жару, шубка – это, чтобы скрыть толстые жирные бока. Пот, стекавший с лица, смочил нижнюю часть жаулыка, под подбородком, а пыль загрязнила белый коленкор, и казалось, что у Айтолкын растет борода…

А та, что справа от нее?.. Смуглая, краснощекая. На ногах расшитые сапожки… Улыбка, сразу располагающая к ней… Краешки глаз чуть кверху… На левой щеке родинка. Так это же – Шынар, как описывал ее Мусреп в ответ на расспросы Улпан. Конечно, Шынар! Слава богу, Мусреп наконец-то нашел себе пару.

В ауле Есенея – после отъезда его первой жены – самой старшей по положению, самой значительной Айтолкын считала себя. С Улпан и Несибели она поздоровалась высокомерно:

– Здравствуй, голубушка! Как твое здоровье? Сватья, все ли благополучно в твоем доме? – Слова застревали у нее в зубах, будто непрожеванные, а слово «вы» она, кажется, вообще не употребляла.

И даже когда пригоршнями рассыпала шашу – сладости, Айтолкын приговаривала не просто, а по-своему, с намеком, предупреждала на будущее:

– Благополучие в доме – от первых шагов келин… Как приумножение отары – от чабанского посоха. И добро и зло зависит от бровей пришедшей в дом келин, приподняты ее брови или опущены…

Дети кинулись за шашу. Выхватывали друг у друга сладости, дрались. Улпан не могла оторвать от них взгляда. У многих были вздуты животы – признак постоянного недоедания. Ноги тонкие. И глаза красные, воспаленные. Улпан показалось странным – столько тощих нездоровых детей в ауле Есенея! Неужели зимой у них был джут и они голодали?

Айтолкын по-прежнему распирало от важности, она задирала свой плоский нос… Шынар подошла к Улпан.

– Это ты, айналайн? – спросила Улпан.

– Это я, – ответила Шынар.

И Несибели сразу поняла – жена Мусрепа. Она поцеловала Шынар:

– Будь счастлива долгие годы!

Но если Улпан рассматривала Айтолкын, то и Айтолкын рассматривала Улпан, как только женщины умеют рассматривать одна другую. Странно… На голове белый шелковый платок, будто шаль, а саукеле – поверх платка. Шея открыта!.. Похвастаться хочет – пусть видят мужчины, какая шея красивая! О позор! Платье ярко-желтое, шелковое, а воротник красный. Ясно – материи не хватило. И камзол надет всего один, темно-синий, бархатный. Да что у нее может быть лучшего, у этой нищенки? Ничего себе красавица, за которую отдали целый кос лошадей. Было бы за что… А лицо… Лицо ничуть не белее, чем у нее, у Айтолкын! Посмотрим, как эта девчонка будет выглядеть, когда родит трех сыновей и двух дочерей… А глаза – вредные. А еще Мусреп расхваливал ее. Сапожки… Соображала бы что-нибудь, натянула бы не красные со светлым шитьем, а синие в горошек. И эта бездомная Шынар, жена голодранца, надела такие же. Правду говорят: «Хуже нет, если кедей вздумал наряжаться…»

Айтолкын подняла руку, и две молодые женщины двинулись к Улпан, чтобы прикрыть ее занавесью от посторонних глаз, когда она будет идти к дому своего мужа.

Улпан тоже подняла руку, останавливая их, и сказала:

– Послушай, келин… – При этом она смотрела куда-то, не встречаясь глазами с Айтолкын. – Скажи им, чтобы убрали… Я не стану прятаться, когда иду в свой аул.

«Келин?..» Для Айтолкын, первой женщины в ауле Есенея, такое обращение было похлеще удара плети, которой нередко ее угощал муж – Иманалы.

– Что?.. – только и нашлась она сказать.

– Занавесь вели убрать, говорю. По дороге в свой аул я хочу видеть землю и воду, женщин, ребятишек. Убери…

– Как хочешь…

Айтолкын оскорбленно насупилась и подумала: «Люди не меня осудят, осудят тебя». Она не захотела признать себя побежденной – не уступила места впереди торжественного шествия. Улпан и Шынар шли рядом и негромко переговаривались.

– Я думала, Мусреп-агай приедет ко мне на свадьбу…

– Он пока старшего брата прислал. А сам сеять кончает.

– Сеять?..

– Да. Я не знала, а они – не первый год уже – сеют один надел овса и пшеницы полнадела. Я им тоже помогала.

– То-то я почувствовала – у тебя ладони шершавые…

– Твои ладони – тоже не из шелка.

– Я хоть не сеяла никогда, но работы и у меня хватало… А как мой белый верблюжонок? Живой?

– Такой живой, уследить за ним невозможно!

– А далеко отсюда до вашего аула?

– Мы пока еще на зимовке, не переехали. А твой верблюжонок – беда с ним. Приходится держать взаперти, ты же просила до твоего приезда никому его не показывать…

Улпан благодарно пожала ее локоть.

Айтолкын по-прежнему шествовала во главе, и молодые женщины, которые сразу почувствовали доверие одна к другой, не могли не поговорить про нее.

– Айтолкын – впереди… – сказала Шынар, и главное было не в этих двух словах, а в том, как она их произнесла.

Улпан поддержала ее:

– Боже мой, до чего чванливая…

– А что? Она права, – лукаво улыбнулась Шынар. – Непокорную келин надо с самого начала обуздать, потом поздно будет.

– Кто тебе сказал, что я непокорная?

– Никто не говорил, но я тебя знаю, как будто в одном ауле родилась, в одном ауле выросла вместе с тобой.

– Я вижу… Мусреп-агай достаточно наплел про меня…

– Твой Мусреп-агай не даст и пылинке пятнать твою честь, не хуже – чем мою…

– Е-гей!.. А что ты все время своего повелителя называешь запросто по имени?

– Он сам так велел, я и привыкла.

Бывает, что скажешь мало, а узнаешь много. Улпан незаметно ущипнула Шынар за бедро; они хотели продолжить разговор, но неожиданно взглянули вперед, где ковыляла Айтолкын. Высокие каблуки на ее сапожках отогнулись назад и с каждым шагом отгибались все больше и больше.

Шынар припомнила:

– Кажется, есть песня… «Сапоги на каблуках, но следи за каждым шагом… Как оступишься – подпрыгнешь и на спину упадешь…»

– Я слышала… Но иногда поют не – «подпрыгнешь», а «подскочишь задом вверх».

Они чуть не расхохотались в голос. При первом знакомстве им понравилось еще и то, что они обе одинаково воспринимают Айтолкын, одинаково к ней относятся. Чтобы покончить с этим, Улпан еще спросила:

– Она – из какой-нибудь родовитой семьи?

– Что ты! Говорят, ханского рода…

Улпан высокомерно приподняла бровь.

Аул Есенея стоял в лощине между двумя озерами, которые по берегам заросли камышами. Впереди, там, где белели шесть или семь юрт, Улпан еще издали узнала свою – отау.

– Я чуть ноги не протянула… – пожаловалась Шынар. – Пока помогала ставить твою юрту, пока складывали постель…

– Погоди… – остановила ее Улпан.

В стороне, вдали от озер, были беспорядочно наставлены темные в зелени степи юрты, приметные своей неказистостью.

– А кто там живет?

Шынар нарочно принялась перечислять:

– Там живут твои скотники, чабаны, твои доярки, водовозы, истопники, табунщики…

– Говоришь – мои?

– Твои.

Улпан смолчала.

Ее родной аул не знал простого достатка, не то что – изобилия. Но каждая семья курлеутов имела свой скот и свою юрту, пусть не из белой, а из темной кошмы, но свою… Никто ни от кого не зависел, и Артыкбая, ее отца, уважали за былую удаль, былые заслуги. Не за богатство, а за спокойный и рассудительный ум. А эти юрты, сплошь в заплатах, – последнее прибежище нищих. Аул Есенея – знаменитого бия, батыра… Богача. Не лучше бы для сибанов, чтобы у них не было Есенея?.. Астагфирулла! Какие недобрые мысли лезут в голову – и в то время, когда она на пороге его дома… Но хоть и возбуждена была Улпан своим новым, непривычным положением, хоть – она это знала – и ждали ее впереди не одни радости, но и испытания, разница между аулами, белым и черным, бросилась ей в глаза с первых шагов по земле Есенея.

Возле большой юрты Есенея сидели в ожидании мужчины и женщины из аулов рода сибан.

Айтолкын – по-прежнему впереди, не дальше брошенного аркана, – низко склонилась перед белой юртой.

– Делай все, как я… – шепнула Улпан Шынар.

И – повернулась к старшим, опустилась на одно колено и первый свой низкий поклон отдала им, а не белой юрте, где ждал ее муж. Шынар сделала то же самое, но от смущения прикрыла лицо концом платка.

Один из джигитов уже собрался откинуть полог большой юрты, когда Айтолкын, чтобы все делалось лишь по ее распоряжению, приказала ему:

– Открой…

– Я же сам хотел…

– Говорю – открывай, скорее!

Джигит локтем отодвинул ее:

– Я-то открою, а ты отойди… Собираешься войти в юрту впереди байбише? Отойди, я сказал…

В большой белой юрте Улпан, заметив на почетных местах молчаливых аксакалов, склонилась перед ними и только потом села – чуть пониже Есенея. Шынар на этот раз не решилась последовать ее примеру, замялась, но Улпан не терпящим возражений голосом позвала ее:

– Иди сюда…

Шынар тоже приветствовала аксакалов, но зарделась от смущения и села как-то боком… А рядом с ней устроилась Несибели и другие курлеуты, сопровождавшие Улпан.

Есеней, посмеиваясь, наблюдал за ними, и обратился к Шынар:

– Е-гей!.. Твой Мусреп – и не сибан совсем, а туркмен… Для тебя, Шынар, свободны все самые почетные места у сибанов. Ты даже не обязана почтить поклоном этих стариков!

Самый старший из всех, с белой, как снег, бородой, остановил хозяина:

– Пусть и в шутку, а так не говори, Есеней. На моих глазах было – наш аксакал Беспай не даром отдал старшую невестку пришлому туркменскому джигиту. За его храбрость отдал… А родной отец Мусрепа – молодым совсем – сложил голову, защищая сибанов от калмыков. Ведь кто только не приходил на нашу землю! Да, Еламан был батыр… Кому еще – из сибанов – насыпали такой курган, с гору высотой? Самый высокий – над прахом Еламана, да почиет он в мире!

Есеней поднял руки:

– Ойбай, Баке… Я сдаюсь!

Больше никто ничего не успел сказать – в юрту вошел тот, о ком шла речь, – Мусреп. Он с порога поклонился всем, а Улпан и Несибели поднялись при его появлении. Несибели он пожал руку обеими руками, а Улпан обнял и поцеловал в лоб.

– Как он смеет этот Туркмен! – разыгрывая ревность, закричал Есеней.

Мусреп, не обращая на него внимания, сказал:

– Да принесет твой приезд всем нам счастье, Улпанжан… – Потом повернулся к Есенею: – Не твоя забота… Сиди себе… Сиди спокойно!..

Старики одобрительно прислушивались к ним. Мир и согласие в доме. Мир и согласие между друзьями. Так лучше и легче жить на этом свете людям.

– Садись повыше, – пригласил Мусрепа Есеней.

– Нет, мое место будет рядом с Несибели, сватьей.

– Послушай! – возмутился Есеней. – Ты не сошел с ума, пока ездил вдали от нас? Улпан ты называешь сестрой, а ее мать – сватьей. Как это понять?..

– Как хочешь, так и понимай, – сказал Мусреп и уселся рядом с Несибели.

Он справился о здоровье Артеке, вздохнул, что старик не смог приехать на свадьбу единственной дочери… Несибели передала его просьбу – сам-то Мусреп здоров, пусть приедет его навестить. Мусреп пообещал – когда переберутся на джайляу к озеру Кайран-коль, их аулы станут на противоположных берегах, вот тогда…

– И Шынар возьмешь с собой. И мы поедем, – сказала Улпан.

Мусреп усмехнулся ее решительности:

– Золотой уздечкой взнуздан Есеней… – вывел он первую строку, но, видимо, решил, что всю песню не вытянет, тут же закончил, направив острие второй строки на самого себя: – А ты, Мусреп, тоже не грызи удила, остепенись!

Он обладал слухом, мог воспроизвести услышанную мелодию, сам сочинял кюи, а голосом его бог не наградил. Потому Мусреп и пропел всего две строчки, заменив имена в известной песне.

Самая белая борода была у Бакберды, но он нисколько не утратил вкуса к живой беседе, к людям…

– Я смотрю… – сказал он, – смотрю – вам обоим к лицу золотые уздечки. Я радуюсь… Один из вас взял в жены дочь Артыкбай-батыра, другой – дочь Шакшак-бия. Стало быть, аллах не оставляет своими милостями род сибанов. Будьте благоразумны, пусть не изотрется золотая узда… – Он простер над ними ладони и благословил молодоженов.

Весело и благожелательно был настроен сегодня суровый Есеней.

– О, аксакал! – сказал он. – Что мне теперь делать? Лучше бы свои слова вы обратили к одному Мусрепу. А вы с ним вместе взнуздали и меня.

– А так и надо, Есеней, тебя надо первого. Я никогда не слыхал, чтобы Мусреп хоть мальчишку щелкнул по лбу.

– Зачем же тогда ему узда?

– О боже мой! Келин, которую он привел в наш аул, мне понравилась. Про него я сказал так, чтобы она никогда не встречала меня с нахмуренными бровями.

Старик поднялся. Он был в тех летах, когда подолгу не засиживаются за самым достойным дастарханом, за самой доброй беседой.

Улпан тоже встала проводить его. Из меховых шуб и кафтанов, развешенных в ряд на стене, выбрала один – с золотым шитьем – и набросила на плечи старика.

– Да сбудутся ваши пожелания, ата…

За ним поднялись и другие старики.

После их ухода Улпан вернулась на свое место и шепнула:

– Шынар… Ты дочь Шашкак-бия?..

– Да ну… Потом расскажу.

Мусреп обратился к Несибели – они с самого начала так и сидели рядом:

– Сватья, послушай… Когда той кончится, ты ни к кому не заходи. К нам – к первым. – Мусреп коротко взглянул на Шынар. – Вот она велела пригласить – только так, с таким твердым условием. А Улпан она пригласит сама.

– Она уже пригласила, только я не успела сказать Есенею.

– Разве недостаточно, что она пригласила тебя. Я не отстану, – сказал Есеней.

Кумыс они пили уже давно и напились досыта. Пришло время для самовара – самовар, начищенный до блеска, пыхтящий, как конь после долгого бега, внес в большую юрту молодой джигит, один из тех, что прислуживали в юрте Улпан на берегу Тобола. На дастархане появился чайный сервиз с позолотой – Улпан купила его на ярмарке, – зазвякали чайные ложки, сахар не насыпали навалом – сахар был в сахарницах, в вазочках – янтарный урюк и темно-лиловый, почти черный, изюм.

– Я хоть один час посижу спокойно, ты разливай чай, – попросила Улпан и отодвинулась, давая место Шынар.

После ухода стариков Мусреп сразу принялся распоряжаться:

– Сватья, ты садись вот сюда, на почетное место. И не вставай, кто бы ни пришел! – Он не успокоился, пока Несибели не пересела, и еще поддел Есенея: – А ты и у себя в доме хочешь остаться знаменитым бием, самим Есенеем? Ты же зять, должен проявлять учтивость…

– Покарай тебя аллах, что ты не оставишь меня в покое! – возмутился Есеней. – Ведь когда они пришли, на почетных местах сидели наши аксакалы, не мог же я прогнать их. Послушай, Улпан, я начинаю плохо думать. Что такое есть между вами? Почему ты разрешаешь ему отплясывать у меня на голове?

– Между нами? Есть между нами… – Улпан нарочно говорила медленно, загадочно. – Есть… Я Мусрепу – сестра, а мне Мусреп – старший брат, единственный, какого у меня за всю мою жизнь не было.

Мусреп, пока она говорила, сел между Есенеем и Несибели:

– Понял? Если понял, не забывай никогда. Я – такой человек, которого ты должен уважать не меньше, чем самого Артеке.

– Хорош у меня кайнага… – хмыкнул Есеней.

– Какой есть, другого не будет… – незамедлительно откликнулся Мусреп. – А ты, Улпан?.. Не видела, за кого замуж выходишь? По наивности дала согласие?

Улпан улыбалась, а Есеней поднял руки:

– Видишь – руки у меня кверху… Молчу! Я больше – не Есеней и не хочу быть Есенеем!

– Нет, Есеней, – возразила Улпан. – Не поднимай руки. Тебе рано отказываться от своего имени. Подожди! До конца нашего тоя ты будешь Есенеем. А потом?.. Я?.. Но тогда берегись. Если ты что-нибудь не так решишь, как бий, я – я буду пересматривать твои решения…

Есенею никогда не приходилось слышать столько выпадов против себя. Может быть, поэтому и нравилось ему – не возражать, а отшучиваться:

– Ты слышишь, Шынар? Ты слышишь их? Из твоей юрты, из моей юрты – оба дыма соединяются в один дым… Ты пустишь меня в свой дом, если я вечером приду и скажу: айналайн, борода у меня мокрая от слез, Улпан подняла на меня плеть, избила… И еще я скажу: у меня не осталось никого, кому бы я мог пожаловаться на свою судьбу… Кроме тебя…

Шынар хотелось ответить – пущу… Есеней все это говорит не только для нее, но и для Улпан, чтобы Улпан поняла – ее подруга вошла сестрой в их дом, и сам Есеней, не обращая внимания на перешептывания, может разговаривать с ней, как со своей, как с родней.

Улпан поняла это и благодарно засмеялась.

А Шынар все еще сомневалась. Сам Есеней?.. Есеней-бий? В ауле у себя – далеко отсюда – Шынар не раз слыхала, что человек, носящий это имя, нравом крут, временами бывает жестоким, что лицо у него рябое, лицо, не знающее улыбки. Она слышала и другое… Воры, разбойники, по ночам угоняющие конские табуны, к обычной молитве добавляют: «О алла! Сохрани… Не дай попасть в руки Есенея…»

Сейчас, казалось ей, говорили про другого Есенея… И, до сих пор не смевшая поднять на него глаза, Шынар взглянула, но сказать ничего не сказала, только улыбнулась.

Есеней настаивал:

– Шынаржан… Ты молчишь… Почему? Неужели этот Туркмен усмирил и тебя, как усмирял самую непокорную лошадь в табуне? Ты не ответила – пустишь меня к себе или не пустишь?

Шынар ответила:

– Пущу или не пущу? Пущу, наверное… Я не оставлю вашу жалобу без внимания. Возможно, и сумеем удовлетворить вашу просьбу, – подражая голосу бия, выносящего решение, сказала она.

Есеней довольно закивал и обратился к Мусрепу:

– Слушай, Туркмен, они не случайно с первого взгляда узнали одна другую!

А сама Улпан на время замолкла, прислушивалась к разговору.

У казахов только за чаем можно спокойно и не торопясь говорить друг с другом. Пока мясо на дастархане – не до разговоров! Надо сперва глазами выбрать на блюде кусок получше, потом – успеть ухватить его вроде бы случайно… Глаза, руки, рот не бывают свободными. И уши закрыты для любого, самого умного, собеседования.

Шумящий самовар и чайник с заваренным чаем делают людей за дастарханом внимательными друг к другу, тогда можно вести непринужденную беседу, поверять собеседнику сокровенные мысли, выяснять отношения.

Улпан, прислушиваясь к Шынар, Есенею, Мусрепу, принимая благословение почтенного старца Бакберды, не могла не думать и о

том, что бросилось ей в глаза при входе в аул Есенея, который встретил ее по-родственному. Гостеприимно. Как байбише.

Не только дети, оборванные, больные, стояли у нее перед глазами. Нет… Уже много времени провели они за дастарханом, и Есеней был таким, каким она привыкла видеть его рядом с собой. Но почему – кроме четырех стариков, которые ушли первыми, благословив молодоженов, кроме Мусрепа, который известен своей независимостью, – джигиты, только согнувшись, входили в юрту Есенея?..

Он же их сам назначил – сорок джигитов, не одних сибанов, а из всех родов, входящих в племя керей, сорок джигитов – по одному – входили в юрту, сообщали, что сделано, чтобы той прошел, как приказывал Есеней, и торопливо удалялись, спиной отступая к выходу. Некоторым давали по пиале кумысу, другим не давали. И, как несмолкаемая песня, сопровождала застолье замысловатая брань Иманалы – он суетился снаружи. Улпан еще подумала: может быть, Иманалы, с его воплями, Айтолкын, с ее высокомерием, и отпугивают людей от Есенея, что к нему близко подойти не решаются. Не будет от этого пользы сибанам, в род которых она вошла как байбише.

Даже Тлемис, доверенный Есенея, приехавший вместе с ними, не задержался.

Один раз появился, доложил:

– У озера Кожабай собралось триста юрт, пяти волостей – кереи и уаки… Сгоняют скот для забоя. Доят кобыл. Будет и кымыран в достатке.

Только это сказал и, не присаживаясь, ушел.

Рядом была Шынар – ее новая привязанность. Мусреп – отныне и навсегда ее старший брат. Мать не сводила с Улпан радостных и неспокойных глаз.

Был Есеней…

Но Улпан не могла вполне безмятежно наслаждаться своим счастьем. Уважение к Есенею? Да… Страх перед ним? Да. Любят ли его сородичи – люди из рода сибан? Нет… Тот, чья слава шагнула за много переходов во все стороны, ближних своих держит в тисках, а сам носитель славы в конце концов остается одиноким. Спору нет – Есеней большой человек, но большой человек давит больнее, это Улпан понимала – Улпан, дочь бедного, но вольного рода курлеутов. И – при возможности думать, что хочешь, говорить, что хочешь, делать, что хочешь, при всей любви Есенея к ней – в душу Улпан вползала тревога.

Она надеялась: может, ошибаюсь… Тогда почему в ауле, в котором вдоволь мяса и кумыса, не слышно смеха, не слышно веселых голосов? И никто, с тех пор, как они устроились за обильным дастарханом, не спел ни одной песни.

От этих мыслей, совсем не нужных для первого приезда в аул мужа, ее оторвал Мусреп:

– Когда той кончится, мы три дня никуда не уедем, – настаивал он. – А сегодня нам надо домой, если ты позволишь, Улпанжан…

Кажется, он уже вторично повторил эту просьбу.

– Хорошо, Мусреп-агай… – согласилась Улпан, она вдруг почувствовала себя безмерно уставшей. – Как вам с Шынар надо, так и поступайте. А я до возвращения, до начала тоя проживу с мамой в отау.

Шынар молчала, но видно было, что она поддерживает просьбу.

Есеней и Улпан… Улпан и Есеней… Кроме этой жизни, у них вдвоем была и своя жизнь. Мусреп и Шынар под вечер уехали в свой аул.

11

– Дочь Шакшак-бия проснулась?..

Со двора донесся голос Асрепа – старшего брата ее мужа.

– Я встала, агеке, я давно встала!

Шынар выбежала из юрты ему навстречу, рукава у нее были засучены по локоть, пальцы – в муке и тесте. Асреп пригнал с пастбища кобылиц, принадлежащих двум их семьям.

– Привяжи…

Но стоило Шынар начать приманивать жеребят, Асреп снова ее окликнул:

– Е-е… А где твой лентяй?

– Он не лентяй, он поехал за дровами, он и апа.

– А что, один не справился бы?

– Апа хотела еще сухой коры собрать…

– А ты что спозаранку принялась тесто месить? Гости сегодня приедут?

– Сегодня, агеке…

– Ладно, иди. Жеребят сам привяжу.

Он хоть и ворчал для порядка, как старший в семье, но его ворчание не могло обмануть Шынар. Брата Асреп любит, теперь любит и ее, и когда грозится – угрозы у него не страшные, больше похожи на шутку. И она всегда умеет такой же шуткой ответить, и Асреп доволен, что жена Мусрепа, которую он сам ему сосватал, оказалась открытой, прямой, веселой – нахмуренных бровей он у нее не замечал. Она случайно слышала, как Асреп говорил жене: «Е-ей, она не знает, что

такое без дела сидеть. А как следит за собой – пылинки не найдешь на ее камзоле…»

Верно, Асреп был доволен, что так это случилось – осенью прошлого года… С неба сплошным потоком падал холодный сибирский дождь, падал, не переставая, уже трое суток. Тяжелые тучи как сошлись, так и не собирались расходиться.

Асреп – ближе к вечеру – загонял скотину в хлев, когда возле их дома остановилась белая верблюдица, она недовольно посматривала сверху на того, кто вел ее… На того? Или – на ту?.. Вроде бы девушка, но на ней мужские брюки, мужская шапка. Девушка… С ее волос, заплетенных в три косы, стекала вода. Водой пропитались и сапоги из сыромяти, отчего их тупые носы вздулись.

Верхом на верблюдице сидела пожилая женщина, закутанная в тряпье, она и обратилась к Асрепу:

– Отагасы-ай… Мы промокли, мы замерзли… Пустишь нас – хоть в хлеву переночевать, если в дом к тебе нельзя?

На протяжении последних двух недель, в преддверии зимы, обнищавшие степняки брели в казачьи станицы, в надежде заработать там хлеба. И «русская изба» Асрепа – такой она казалась им – хоть на одну ночь давала укрытие от непогоды.

Он сказал женщине:

– Сидела бы дома, к каким это сватам ты собралась в такую погоду!

– Е-е, какие там сваты? Идем, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Может, среди русских спасемся от голодной смерти.

– Как же ты спасешься? У них в поселках – работа для мужчин только. Не прокормишься ты с дочкой…

– Думала, шитьем что-нибудь заработаю. Чем долго давать советы, лучше скажи – пустишь переночевать или не пустишь?

– Куда же вас девать? Слезай с верблюдицы, пойдем…

Девушка, не вступая в их разговор, два раза потянула книзу повод и сказала: «Шок! Шок!», но верблюдица не собиралась ложиться на мокрую землю, в грязь, и недовольно заревела.

– Подожди… – Асреп забрал повод, завел верблюдицу под навес, но и там она не сразу опустилась на подстилку из сена: долго примеривалась, то отступала назад, то подавалась вперед, и наконец-то согнула колени и неуклюже легла на живот. Мать девушки слезла, и Асреп велел им:

– Идите в дом. Там – жена. Посушите одежду, погрейтесь…

Асреп закрыл хлев, и тут появился Мусреп – он ездил к Есенею. Две собаки, его желто-пегие, подбежали к хозяину, клали на плечи грязные лапы, скулили – требовали, чтобы он приласкал их. И не успокоились, пока он не похлопал каждую по загривку.

– Зачем он звал тебя? – спросил Асреп.

– Хочет, чтобы я съездил с ним – поставить на зиму табуны. А как выпадет снег, поохотимся. Говорят, ты совсем забыл меня, поживи рядом хоть недолго.

– Поедешь?

– Да он все один и один… Хоть и давно это случилось, не может смириться с потерей сыновей. Я согласился.

Асреп осмотрел коня, на котором брат ездил:

– Твой Кулан-туяк совсем отощал, загонял ты его. Езжай на рыжем. Этот пусть отдохнет, отстоится.

Все это было как раз перед той поездкой в Каршыгалы, когда они наткнулись на аул курлеутов, на Артыкбай-батыра.

Расседлав коня, Мусреп вошел в свою землянку. Ее никто не рискнул бы назвать обжитой и уютной. Было холодно – угол у кухонной плиты обвалился. Кирпич-сырец, из которого был сложен печной выход, постепенно разошелся и вот-вот мог обрушиться, завалив дверь. Так же холодно было и во второй комнате. Постель с утра осталась смятой, неубранной. На среднем столбе, поддерживавшем плоскую крышу, висела пятилинейная лампа, и он зажег ее. Стекло давно никто не чистил. Правда, света все же хватало, чтобы стали заметны по углам нити паутины. А мокрая одежда, которую он сменил, так и будет валяться до самого приезда. Нет, размышлял он, переобуваясь, все-таки баба в доме нужна, нельзя без бабы… Она к зиме и печь переложила бы – как же зимой без печи? Обмазала бы снаружи землянку. У Асрепа, верно, руки не доходят… Правда, пока он будет ездить с Есенеем, брат все сделает…

Сам Мусреп за домашние дела принимался два раза в году – и тогда уж работал от восхода до заката, а закаты летом в их краю поздние. Он даже домой не ездил ночевать – десять дней весной и двадцать дней в конце лета. Асрепа он к сохе не подпускал в дни сева, и косу ему в руки не давал. Один управлялся – на два их двора. Для семьи брата он обычно сеял десятину пшеницы, а для себя десятину овса. Накашивал сена. Убирал хлеб, когда приходило время, и тяжелым зерном наливались колосья. Свой овес он убирал в зеленом виде, так он и шел в скирду, сено получалось не хуже пырея, который любят лошади.

На этом его заботы кончались. Асреп занимался обмолотом, возил мешки в сарай. А Мусреп – сразу в седло, и только кони и охотничьи собаки могли бы поведать, где его носило.

В доме не нашлось ни капли воды, а и нашлась бы – не на чем вскипятить, и уже в сумерках Мусреп отправился в дом к старшему брату. Он знал – стоит похвалить его жену, сказать – какая она щедрая, и Жаниша накормит его, напоит чаем с баурсаками. Она, конечно, давным-давно разгадала его неуклюжую лесть: ни в аулах керей-уаков, ни в аулах аргын-кипчаков, ему не доводилось пить такого чая, какой заваривает она… Но Жаниша каждый раз начинает хвалиться своим умением вести хозяйство и подкладывает ему кусок за куском.

У Асрепа в кухне он увидел девушку – девушка сидела у плиты, в которой плясал огонь, грелась и сушила у топки мокрую одежду. В тепле ее клонило ко сну, она не сразу услышала, что кто-то вошел, и Мусреп успел рассмотреть ее ноги. Ничего не скажешь! Круглые розовые пятки, упругие икры… Такие ножки, насколько он мог судить – редкость у казашек, которые полжизни проводят в седле.

Но долго любоваться не пришлось – девушка встрепенулась от скрипа двери, быстро подобрала ноги и отвернулась. Мусрепу было достаточно и того, что он видел, – миловидная, носик прямой, чуть вздернутый, в тепле она раскраснелась, и румянец покрывал смуглые щеки. Жаниша поднялась:

– Садись, мырза-джигит!.

Чай они успели выпить. У дастархана, ближе к двери, сидела пожилая женщина, незнакомая: Очевидно, мать этой девушки, догадался Мусреп.

– У вас гости… – сказал он.

– Мы же не то, что ты, – кольнула его Жаниша. – Сорок, а не женится! Мы люди семейные, у нас часто гости.

– Ничего, – отмахнулся он. – У меня еще все впереди. Есть же у меня старший брат, сосватает кого-нибудь, не пропаду.

– Чьих только дочерей он не сватал! Но на тебя не угодишь!

– Потому что он не на девушку смотрит, а смотрит, кто у нее отец, – отшутился Мусреп. – А я же не отца в дом беру.

– Смотри, как важничает… – погрозил ему кулаком Асреп. – Больше я твоими делами не занимаюсь, ты сам…

Жаниша прервала их:

– Хватит тебе… – сказала она мужу. – А то наши гостьи подумают – вы еще подеретесь. Мырза-джигит, поставить для тебя чаю? И ужин почти готов. Может, ужина дождешься?

– Чай можно выпить и после ужина.

Пока Жаниша хлопотала возле плиты, братья разговаривали о своих делах. Асреп сложил в скирду не десять, как рассчитывали, а пятнадцать арб зеленого овса, и сена – тридцать арб, должно хватить на два года. Мусреп сомневался, что там за арба у Асрепа, не больше гнезда коршуна… Но, правда, в нынешнем году он потрудился на совесть, сена накосил много…

– Ах ты, щенок! – возмутился Асреп. – Ты называешь потрудился – торчал на лугу и махал косой! Попробовал бы возить сено, скирдовать… Будущим летом я тебе покажу, как взваливать все на мои плечи!

Такие разговоры у них случались каждую осень, и Жаниша, не обращая внимания, подала ужин. В глубоком блюде желтела пшенная каша, а поверх – посередине – ютилась небольшая горка мяса. Жаниша позвала и девушку, которая по-прежнему сидела на кухне у плиты. Но та не откликнулась и не пришла. Разве заставишь

девушку – ей вот-вот замуж выходить – прийти к дастархану босиком. Жаниша в чашке отнесла ей ужин.

А мать девушки ела неторопливо, набирая в ложку немного пшена, и ни разу – не притронулась к мясу. Она соблюдала достоинство, будто и не голодна нисколько, а к дастархану села, только уступая просьбам хозяев.

Асреп проявлял о ней заботу:

– Е-е, женеше… Ты поглубже черпай ложкой. Этого добра – пшена – у нас сколько угодно. Ты не стесняйся. Нечего стесняться. Это мой брат, младший А моя баба избаловала его, он у себя и печку не топит, и еды у него нет…

Он успевал и поговорить, и поесть, и то и дело пододвигал к гостье кусочки мяса.

– А как твое имя? – спросил он.

– Науша…

– А как мужа зовут?

– Мужа звали Шакшак.

Асреп вспомнил старую в степи историю – про человека, которого звали так же и к которому судьба оказалась не милостивой.

– Ойбай-ау! – воскликнул он. – Рассказывали – после смерти знаменитого Шакшак-бия его бедные жены разошлись по всей земле. Может быть, ты одна из них?

– Какой там бий, боже мой!.. Он был аргын, из основного колена. А мой муж из караулов. Сапожник… А я – шила для аульных женщин, тем и кормилась. Но вот три года сравнялось, как он ушел от нас…

– Дальше можно и не рассказывать… Кто имеет родственников, сам догадается! Ешь… Ешь смелее, ты ни разу не поддела ложкой хоть бы кусочек мяса!

Женщина искренне сказала Асрепу:

– Да отблагодарит тебя бог за твою доброту. Я и мечтать не могла, что мы с дочерью будем сегодня вечером под крышей, в тепле. Я думала – заночуем в лесу, под боком у нашей верблюдицы. А не приведи господь – вдруг какой-нибудь голодный бродяга отобрал бы ее!..

– Ничего… Бог милостив! Завтра доберетесь до Кпитана, а там до Болатная рукой достанешь. Ешь досыта… И твоя дочка пусть не стесняется. Каша еще сытнее мяса. Бай, как говорится, дорожит своим скотом, а бедняк своим здоровьем. Ешьте…

На следующее утро Мусреп встал пораньше, сводил лошадей к водопою. Когда он возвращался с озера, то увидел – девушка вела верблюдицу в поводу мимо окон Асрепа, а мать сидела наверху… Видно, выбрались в дорогу сразу, чтобы засветло достичь Кпитана. Дождь не переставал. Заметив Мусрепа, девушка остановилась – по привычке, впитанной с молоком матери, не переходить дорогу мужчине. За ночь она выспалась, отдохнула. Красивая… Мусрепу захотелось, чтобы она взглянула на него, чтобы и потом обернулась, уходя…

– Счастливого пути… – обратился он к ней. – Хоть бы перестал этот дождь, не мочил бы вас всю дорогу!

Правый сапог у нее, просохший за ночь у огня, сейчас разинул пасть. Мусреп пожалел, что накануне пообещал Есенею ехать вместе с ним, мог бы остаться, чем-то помочь этим бездомным.

Он поставил лошадей в конюшню – Кулан-туяка и рыжего, пустил их к овсяной скирде и сразу вышел.

Белая верблюдица уходила дальше и дальше. Прозрачный занавес ливня размывал ее очертания. Девушка, наверное, набрала полные сапоги и идет сейчас с мокрыми ногами. И сверху заливает. Хуже нет – бесприютности… А она, если приглядеться, рослая, крепкая. Не хитро выглядеть красивой в нарядной одежде. А эта девушка, стоило ей немного отдохнуть, может нравиться и в нелепой мужской шапке, должно быть, отцовской… И в мужских штанах – туда две таких можно запрятать… Бедная… А могла бы стройной быть, как тополь. Что ее ждет в Кпитаие? В Болатнае, куда они собрались?

Асреп случайно увидел из окна, что Мусреп почему-то стоит под дождем, стоит и смотрит вслед ушедшим, которые были у них в эту ночь случайными гостьями.

– Катын, катын… Посмотри-ка на него, – подозвал он к окну Жанишу. – Кажется, твой мырза-джигит – готов! От горя, что они уходят, у него даже подбородок обвис. Позови-ка его!..

Жаниша приоткрыла дверь:

– Мырза-джигит! Что ты там мокнешь под дождем? Куда смотришь? Иди к нам, чай будем пить.

Мусреп бросил последний взгляд – завеса дождя почти совсем скрыла белую верблюдицу. В доме, только он сел, старший брат принялся над ним подтрунивать:

– Послушай… Ты столько шляешься по разным аулам. Неужели не мог присмотреть девушку, чтобы она поила тебя чаем, а не моя Жаниша?..

– А разве я девушку езжу искать?

– Воображаешь, она сама тебя разыщет? Или надеешься, бог тебе ее пришлет?

Мусреп поймал себя на том, что у него нет сейчас желания спорить с братом, отшучиваться…

– Кто же станет противиться, если сам бог побеспокоился?

– Да? А тогда скажи – тебе нравится девушка, которая ушла отсюда утром и увела свою верблюдицу?

– А тебе?

– Ну, хромает на одну ногу… Ну, на один глаз косая. А так – ничего девчонка.

– Ты прав.

Жаниша у самовара подумала – что-то Мусреп не похож на себя, отвечает кратко, не разводит долгих пререканий, как принято между братьями.

А Асреп был решителен:

– Прекрати болтать! – сказала он, хоть Мусреп и не болтал. – Среди девушек это – первая ханум! И ты возьмешь ее в жены!

– Как это – возьму?

– Об этом я позабочусь! Я!

– Как хочешь…

– Ах ты, щенок! – возмутился Асреп. – Смотри-ка, он еще и важничает, одолжение мне делает! Я это, что ли смотрел ей вслед, а подбородком чуть ли не в грудь упирался? Я?.. Будешь так шататься, попадется тебе какая-нибудь завалящая злоязыкая баба, и пропадешь ты. Но я не допущу этого!

– Что кричишь? Я же сказал – как хочешь…

Жаниша решила, что пора ей вмешаться:

– Нельзя, нельзя! Нельзя упускать эту девушку. Она мне понравилась сразу. Ласкалась ко мне, говорила: «Апа, апа…»

– Ну вот что… – Асреп решил, что хватит разговоров. – Ты отправляйся. Обещал Есенею – отправляйся, не обижай его.

Будь что будет… Мусреп долго седлал рыжего, Кулан-туяку, и, верно, надо отдохнуть. И уехал.

Асреп подождал, когда завеса дождя скроет его брата, а потом сам набросил седло на коня.

Далеко ли уйдет верблюдица, которую ведет пешая девушка? Не то, что чаю напиться, можно барана съесть – и все равно догонишь. Он и догнал их – версты через три.

– Женеше! – окликнул он женщину, подъезжая вплотную. – Ты скажи дочери – пусть повернет верблюдицу. Дождь… Погостите у нас еще день-другой…

Науша первым делом испугалась. Вспомнилось, она сама сказала накануне вечером: «Что мы сделать могли бы, если бы кто-то позарился на нашу верблюдицу». И пришли же на язык такие поганые слова, сама беду накликала! Отчаяние было у нее в голосе:

– Если ты хочешь ее отнять, сбрось меня на землю, убей… И тогда забирай себе!

Но девушка, кажется, не разделяла опасений матери, у девушки вырвался короткий смешок.

– Науша! Ты чего испугалась? – удивился он.

– Откуда я знаю, зачем ты нас догнал – в такую погоду, когда хороший хозяин собаку не выгонит во двор…

Девушка опять засмеялась, кажется, она была не только храбрее своей матери, но и догадливее.

Асреп решил действовать напрямик:

– Да, догнал… И теперь никто, даже сам бог, не разъединит нас! Не разъединит, Науша. Вернись, говорю, не то – помрешь, бродя по дорогам. Вернись – и будь мне сватьей.

– Что говорит этот человек? Что он говорит? Шынар, ты слышишь?.. – В голосе ее звучала растерянность, и тревога еще не прошла.

Шынар молчала.

– Этот болтун по имени Мусреп – вы его вчера вечером видели, он мне брат. Младший брат.

– Это я поняла.

– Ему уже сорок, а он – один, не мог найти достойную невесту! Я догнал вас, чтобы твою дочь засватать за него.

Асреп соскочил с коня в дорожную грязь и обнял за плечи девушку – та под боком у верблюдицы укрывалась от ветра.

– Айналайн… Верблюжоночек, – мать, кажется, называла тебя Шынар? Соглашайся… Тебе у нас будет хорошо. Я стану тебе вместо отца. А Мусреп – настоящий джигит! С ним ты не будешь знать горя, не будешь в такой дождь, на дороге… Поведем назад верблюдицу? А сама – садись на моего коня.

Он взял у нее повод и, не ожидая согласия, заранее настроенный против любых возражений, повернулся к дому. А Шынар, видимо, и не собиралась возражать. Правда, на коня она не села – пешком пошла за Асрепом. У нее – как вспыхивает на ветру сухой хворост –

возникло предчувствие перемен в судьбе. Она и хотела этих перемен, и боялась их… А больше всего – стыдилась за свои огромные, неуклюжие сапоги, которые набрали воды и так некстати хлюпали.

Асреп, оборачиваясь то на дочь, то на мать, расписывал, какая жизнь ожидает Шынар. Белую юрту – отау – он обещал поставить для нее. Пригнать отары тучных овец и косяки откормленных разномастных лошадей…

Науша, оглушенная еще больше дочери, спрашивала:

– Шынар, ты веришь всему этому? Неужели веришь?

Но Шынар улыбалась и продолжала молчать.

Слушала…

Он сразу завел их в землянку Мусрепа.

– Вот теперь ваш дом… Снимайте все мокрое, переоденьтесь, наверное, у вас найдется сухая одежда… Смотри-ка! Этот батыр все свое тут разбросал… Ну ничего… И постель можно прибрать. И печь поправить, чтобы не рухнула. Можно все, были бы руки.

Убранство кухни и второй комнаты никак не соответствовало, понятно, тому, что столь красочно расписывал Асреп.

– Вы не бойтесь… – успокаивал он их. – К вечеру я сам все тут поправлю. А вы пока – к нам. Моя катын уже ставит самовар. Приходите, не опаздывайте…

Шынар с матерью остались вдвоем.

– Дочь… Что случилось? Он шутит? Он правду говорит?

– Зачем ему шутить, зачем говорить неправду? Не врет же он только потому, что стесняется тебя или боится.

– Нет, я до сих пор сплю, наверное? И во сне вижу… Свадьба? Вчера еще – мы с тобой думали о свадьбе?

– Кто может, апа, что-нибудь знать заранее? А мне кажется, они неплохие люди.

– Неужели… Я стану для них сватьей? – Бедная растерянная Науша не решалась спросить, согласна ли дочка…

Шынар поняла ее:

– Мне кажется, это уже произошло… Давай устраиваться…

Науша вышла – развьючить верблюдицу. Шынар глубоко вздохнула и затаила дыхание.

Она стащила и выбросила в прихожую ненавистные тяжелые сапоги. И шапка полетела туда же. И мокрые, заляпанные грязью мужские штаны, которые она ни за что и никогда больше не наденет! Ступни ног от воды стали белыми. Шынар – вся обнаженная – стояла посередине комнаты, распустив косы. Кого стесняться? На поясе остался красный след – пройдет… На бедре – запекшиеся бурые точки: видно, расцарапала ночью. Шынар обтерла их полотенцем. Она с каким-то новым, незнакомым ей чувством рассматривала свое тело и любовалась им. Закинула руки за голову и потянулась. Сделала несколько шагов – из угла в угол. Скрипнула дверь, и голая Шынар мгновенно укрылась одеялом.

Но это пришла мать.

Шынар не хотелось вставать. После промозглого мокрого утра она согрелась и ни за что не согласилась бы пуститься в дорогу… Подушка пахла гвоздикой. Пусть землянка… Если подправить печь, будет тепло. Приучить его к порядку, чтобы не разбрасывал повсюду грязную одежду. Мусреп его зовут? Да… Боже мой, когда же мой Мусреп вернется? Мой?.. Как не стыдно! А на черном сундуке, в

изголовье – еще одно одеяло и четыре подушки. Разве у него в доме, где нет хозяйки, – бывают гости? Пусть апа возьмет одну из этих подушек и одеяло и поспит.

Науша то заходила, то выходила, и, наконец, внесла и хоржун, и еще небольшой мешок, маленький сундучок, узелки. Она упрекнула дочь:

– Зачем ты легла в чужую постель? Шынар хотелось баловаться, шутить:

– Постель не чужая, – ответила она. – А наши вещи не промокли?

– Нет, наверное, сухие. На ночь я все заносила в дом… Вот твои ичиги, кавуши. Платье и камзол – смялись, но расправятся. А шапка твоя была в сундучке, ничего – только перья надо выпрямить…

Бедность бережлива. Мать сохранила одежду, в какой не стыдно показаться молодой девушке. Она сама ее шила и – пусть на шапочке только верх бархатный, и плюш на камзоле не самый тонкий, шершавый, – Шынар никому не уступила бы в окружении женщин, пусть и богаче одетых…

Что значит для девушки наряд! Шынар одевалась медленно, а когда оделась, то и стройнее оказалась, и походка у нее изменилась, и глаза сияли, как две звезды, отраженные в спокойной озерной воде.

А Жаниша словно ждала, когда на Шынар можно будет взглянуть – только девушка оделась, она и вошла.

– Сватья!.. – протянула она руку к Науше.

Они сперва взялись за кончики пальцев, и соединенные свои руки протянули вперед, и так – три раза и потом обнялись.

– Я совсем другую девушку вижу… – Жаниша поцеловала Шынар в глаза. – Я за вами. Будем пить чай… Постель сейчас уберем, закроем. А печь вашу агеке обещал наладить.

Когда женщины пришли, Асреп стал собираться. – Вы тут – две сватьи, поговорите так, чтобы не только у меня, чтобы у Мусрепа в дороге зазвенело в ушах… Жаниша устроилась за дастарханом.

– Давай-ка, Шынаржан… Чай будешь наливать ты. Где это видно, чтобы сватьи хлопотали, а келин сидела бы, как ханша! Нет, бегом бегай возле нас, угождай!

После случайного знакомства, которое так неожиданно обернулось, им многое надо было узнать друг о друге, и Жаниша с Наушой быстро нашли общий язык.

Шакшак, оказывается, был хорошим сапожником, мастером своего дела. Вот ичиги и кавуши, что у Шынар на ногах, он сшил почти четыре года назад… А потом тиф был. Умер, бедный. Родственники у всех есть, и родственники бывают хуже волков… Семь дней после смерти справляли, сорок дней, годовщину… Вот и не осталось в доме скота! А тут засуха минувшим летом. Не было ни капли дождя. Люди из их аула, семья за семьей, стали перебираться поближе к русским поселкам и городам. Не одним же оставаться… Вот и забрали верблюдицу, она каким-то чудом уцелела, и отправились в путь. А чего искать?.. В кармане камзола у нее три рубля и копеек семьдесят две. Это еще от Шакшака осталось – за сапоги, сшитые им. А больше – ничего нет, и пусть никогда больше и не будет, если она говорит неправду…

Шынар не очень прислушивалась к словам матери, их жизнь и без того была ей известна. Ей важнее было, что расскажет Жаниша о своей семье. Братья рано потеряли отца, он погиб в одной из схваток, которые постоянно вели сибаны. Асреп и Мусреп пасли скот, коров пасли. Они вместе, когда Асрепу было лет около двадцати, ушли в город, в Тюмень, пять лет были там грузчиками на пристани. На баржи, на пароходы грузили пшеницу, кирпич, уголь, кожи… Накопили немного денег, домой вернулись. Асреп вот женился, а

Мусреп – один. Много ездит по аулам, в гости, дружит с Есенеем. Асреп – всегда дома, даже отдохнуть от него не удается.

– Мы не богачи, – сказала Жаниша. – Но ни от кого никогда не зависели.

Шынар хотелось, чтобы она побольше рассказала о Мусрепе, но попросить об этом стеснялась. Жаниша сама начала:

– Что-то у нас келин заскучала – про Асрепа слушать… А вот наш мырза-джигит! Где еще такого найдешь! Я не помню, чтобы он хоть раз вмешался в ссору… Ну, знаете, какие бывают между родственниками… А когда старший брат его начинает ругать, Мусреп слова не скажет. Он отшутится, и Асрепу больше говорить нечего. Когда хлеб надо посеять, когда – сена накосить, другого такого я не встречала. С утра до ночи не присядет. А потом – ищи его! Дома ничто не держит, вот он на любом тое и желанный гость. Люди не дают покоя мырза-джигиту. Есть у него две лошади и две собаки. Кобыл мы доим, а этим летом у него их выпросили на время, только недавно вернули. Жеребята – совсем тощие, ну, а прошлогодние стригуны – в теле. Сами увидите… А сегодня, только вы уехали, он тоже коня оседлал. Его пригласил Есеней…

Шынар показалось, что вздохнула она незаметно, но Жаниша все равно обратила внимание:

– Долго не пробудет… – объяснила она. – Дней через десять, через пятнадцать вернется. А за тобой, Шынар, он сам Асрепа послал, сказал – без нее не возвращайся, – слегка приукрасила она события. – Не упускай, сказал он, эту девушку, даже если за нее калым потребуют семь раз по сорок девять лошадей.

Шынар сидела красная, словно расположилась у самого огня. А ее мать простодушно принялась возражать:

– Да куда нам столько скота? Кто за ним будет смотреть?

Шынар сдерживалась, чтобы не рассмеяться.

Асреп пришел в сумерках, довольный:

– Как будто все сделал… Печь ваша – пламя в ней так и гудит. А теперь пусть посохнет, дня два не топите, у нас живите. А завтра работа ждет… Если дождь перестанет, надо дом Шынар обмазать, чтоб блестел. И побелить. У нас в шошале – целая гора белой глины. Да еще – переберите там вещи этого бродяги, сколько добра плесневеет!

Дома Шынар, не присаживаясь, принялась перебирать вещи в сундуке. Да… Новое нестиранное белье, ненадеванная одежда – все перемешалось с отрезами вельвета и сатина, выделанными смушками, невыделанными лисьими шкурками. На самом дне валялся старый пояс с кармашками и патронташем, лежала кожа тонкой выделки, козья, для ичигов.

Для себя там Шынар ничего не нашла, что могло бы ей пригодиться, и нахмурилась: «Неужели он всю жизнь собирался прожить без жены?» – сказала она себе самой.

В комнату вошла мать, которая только что осматривала в кухне содержимое деревянного кебеже – сундука для съестных припасов.

– Чай и сахар есть… Есть масло, есть мука…

– Значит, с голода не умрем, – беспечно засмеялась Шынар и захлопнула крышку сундука. – Не знаю… Может, для тебя тут что-то и найдется, а для меня ничего нет. Ну, когда вернется, он от меня получит!..

Так любят погрозиться люди, которые за всю свою жизнь кузнечика не сбрасывали щелчком, если он устраивался у них на руке.

Мусреп вернулся не через десять дней и не через пятнадцать. Он проездил больше двадцати.

Поздно вечером темными были и окна в доме брата, и в его землянке. Серый кобель с лаем кинулся навстречу, но узнал двух желто-пегих и замолчал, только поскулил немного, будто извинялся, и юркнул обратно в свою конуру.

Мусреп гадал – выполнил старший брат то, что хотел, или не удалось… Он гадал об этом, привязывая рыжего к столбу в конюшне, и ему казалось – нет, не такой человек Асреп, не отступится от своего. Он размышлял об этом, когда бросил в шошале крепко перевязанные волчьи шкуры, и сомневался – а почему девушка и ее мать должны согласиться? Нет, по-прежнему в доме ледяной холод, и воды нет, чтобы чаю согреть…

Но когда он толкнул дверь и вошел, то как будто в чей-то чужой дом попал! Было тепло. Огонь в лампе убавлен, но девушка сразу выкрутила фитиль, и снова комната показалась незнакомой. Чуть колыхался отодвинутый желто-коричневый занавес, сатиновый, на постели белели подушки.

– Это мы… Шынар и я, – сказала Науша. – Проходи…

– Я вижу, – ответил Мусреп.

– Должно быть, божья воля, что так случилось…

Мусреп протянул ей обе руки.

– Ассалаумаликем…

Он не знал, что сказать Шынар, которая стояла у стены, улыбалась и глаза у нее блестели. Он мог бы ей сказать, что надеялся, что торопился, и двухдневное расстояние покрыл за один день… Он мог

бы сказать, что устал от одиночества, что теперь… Но слова не находились, и Мусреп молча смотрел на нее.

А для Шынар эти двадцать дней тянулись нестерпимо долго, и сколько раз она представляла себе: вот Мусреп вернулся… В тот вечер, когда она грелась у плиты на кухне у Жанишы, она, хоть и отвернулась, но успела рассмотреть вошедшего джигита… А сегодня, когда за окном раздался скрип снега под копытами коня, она воскликнула: «Апа!.. Это Мусреп… Он! Зажигай лампу…» И была готова сказать, как она ждала его, надеялась – вот сегодня, днем… Если не днем, то – вечером… Много слов она приготовила, но стояла у стены, опустив руки, и только чувствовала, как горят у нее щеки.

– Без тебя мы поселились в твоем доме, – продолжала Науша, поняв, что не скоро дождется хоть слова – и от хозяина, и от своей дочери. – Слава богу, не бесприютные теперь. Раздевайся… Проходи…

Мусреп снял малахай, снял короткую – для седла – шубу.

– Не знаю… За что так щедр ко мне аллах, – сказал он.

Шынар наконец-то решилась – подошла к нему, и он взял ее за руки, положил ее руки к себе на плечи.

– Ты продрог в пути… – сказала она. – И проголодался… Апа… Поставь самовар. И в том доме скажи, что приехал…

Она говорила все это – обычные слова… Науша вышла, и Мусреп взял Шынар на руки, а она обвила его за шею. И вдруг он ясно понял, что и родился, и жил, чтобы в один вечер взять на руки эту девушку, по имени Шынар… Она и в самом деле – стройная, нежная! От нее пахнет парным молоком. А голос – как серебряный колоколец под дугой на тройке, которая стремительно несется в степи.

– Почему так долго?

Мусреп был готов задохнуться – от радости, от неожиданного счастья, и, чтобы не задохнуться, он перешел к привычным шутливым оттенкам:

– Зачем бы я стал возвращаться, пока ты не кончила устраивать дом?

– А ты знал, что я здесь? Тебе кто-нибудь передал?

– Нет. Я во сне видел, как ты белила землянку засучив рукава. Как прибирала мою грязную одежду, разбросанную где попало, и грозилась, что приучишь меня к порядку…

– Не может быть! А если бы в то утро наша верблюдица ушла бы дальше по дороге?

– Я верю снам… И вот видишь – мои сны сбываются! Дома чистота. Пахнет свежим сеном, ты расстелила его по полу. Белоснежные подушки. Разве не твоими руками это сделано?

Шынар обрадовалась, что он все это заметил, обрадовалась похвале, но все же сказала:

– Не только моими. Мама постаралась и твоя женеше.

Снаружи раздались шаги – Асреп нарочно топал, издали давая знать о своем приходе.

– Вернулся твой бродяга, Шынаржан? Теперь привяжи его возле конуры, чтобы не сбегал из дому.

Шынар соскользнула на пол.

– Агеке, проходите, садитесь, – сказала она, покраснев. – А почему женеше не пришла, агеке?

– Она там прихорашивается на старости лет… Говорит, надену все лучшее, что у меня есть. По случаю тоя. А у нас – той, айналайн. Ты принесла нам счастье. Люди называли нас – туркмены двух дворов,

но жили мы одной семьей. Потом ты здесь – и появился аул – наш дом и твой дом. Посидим сегодня одни без посторонних. А ты, Мусреп? Все хорошо, благополучно? Я уж с утра держал Кулан-туяка на выстойке, завтра хотел ехать тебя разыскивать.

Посчитав, что сказал достаточно при встрече с младшим братом, Асреп подложил подушку, развалился…

– Келин… Самовар поставь…

– Апа уже поставила… – отозвалась Шынар.

– Келин… Мясо вари. На своего еще успеешь насмотреться!

Пришла Жаниша – и вправду наряженная – и принялась помогать.

Две семьи засиделись до рассвета. Чай, мясо и кумыс, снова чай – и есть уже никому не хотелось, и пить – не хотелось, но не хотелось и расходиться.

Первой Науша ушла на кухню, постелила себе и с головой закуталась в одеяло.

Шынар задернула занавес. Мусреп, раздеваясь, про себя заметил – хорошо, что черный сундук с изголовья постели переставили к ногам…

12

Весной, после пышного свадебного тоя в ауле Есенея, многие разъехались, и все же свадьба – свадьбой, но кереи и уаки, кроме поздравлений, привезли бию свои тяжбы. Начало некоторых из них терялось в далеком прошлом, и тяжбы успели обрасти множеством подробностей и новых обид, и каждая сторона до хрипоты требовала справедливости, приводила свои доводы и оправдания, и правда настолько была перемешана с неправдой, что отделить одно от другого было так же невозможно, как овсюг – от овса. И доморощенных истцов и жалобщиков хватало в своих сибанских аулах, ведь не каждый день удается представить дело главному бию, и потому задерживался переезд на джайляу.

Весь день Есеней находился в окружении людей – и на холме совета, где положено судить бию, и возле дома… Решал дела быстро. По два человека допрашивал с каждой стороны и выносил приговор, иначе бы до зимы хватило… Никому не давал вмешиваться – если кто-то пытался подсказывать допрашиваемому, Есеней накладывал на него четверть суммы, которую взыскивал с виновного. К свидетелям относился с подозрением. «Кто старается привести с собой побольше свидетелей? – спрашивал он и сам же давал ответ: – Только вор или наветчик, или насильник».

В эти дни и Улпан не знала минуты свободной. Была пора стрижки овец, а лошадям – укорачивали хвосты и гривы. А кроме хозяйственных дел, к Улпан тоже шли люди, не только к Есенею. Пришла старуха:

– Айналайн… На моих старых, немощных руках – четверо сирот, внуки. Выйти не могут – голые… Дай мне, богом прошу, немного шерсти, справить им верхнюю одежонку, хоть бы одну на всех…

Она дала – на всех, на четверых.

Потом пришли еще две старухи. И еще две старухи и с ними одна – помоложавее. Три старухи и три молоденьких… Шли одна за другой, шли те, кто нуждался, шли и такие, кто прослышал – Улпан, кажется, слова нет не знает. Просили ту же шерсть, молоко, муку, курт, чай, материал на шапку, пуговицы для рубашки, подводу для перекочевки на джайляу…

Улпан никому не отказывала. И не потому, что хотела прослыть щедрой или не знала цену добру. Она просто устала – от долгого тоя, от бесконечного потока людей с тяжбами, подчас вздорными и нелепыми, от попрошаек, которые напускают на лицо умильное выражение… Раздать бы все богатство Есенея, чтобы некому и незачем было к ней приходить! Поскорей бы он разделался со склочными своими кереями и своими уаками, чтобы можно было отослать их отсюда!

«Завтра приедем», – с такой вестью она уже три раза посылала нарочного к Шынар. Но это завтра никогда не настанет! Может быть, Улпан было грустно еще и потому, что Несибели отправилась домой, не могла дольше задерживаться. Артыкбай оставался один, а он – как никто – нуждался в уходе. Есеней, едва переступив порог, сваливался от усталости, она не успевала передать ему – до нее через женщин доносится недовольное ворчание сибанов: они без Есенея не осмеливаются перекочевывать на джайляу, а он занимается общекерейскими делами, и этому не видно конца…

Девять дней прошло после тоя. Есеней, как обычно, сидел на холме, окруженный людьми. Улпан шла к нему не торопясь, и лучи закатного солнца отражались в золотом уборе на саукеле, в золотом шитье зеленого бархатного камзола. Толпа жалобщиков изрядно поредела, но и с теми, что оставались, еще неделю хватит разбираться.

Когда она приблизилась, Есеней поднялся ей навстречу.

– Я для всех для вас – Есеней, – сказал он. – А это – мой Есеней идет. На этом кончим дела, если вы не хотите, чтобы мне попало от нее. Давно пора на джайляу. И вы езжайте. И старайтесь свои дела решать миром.

Они тоже встали и поклонились ему на прощанье, прижимая к груди обе руки, но Есеней больше не обращал на них внимания. Он видел только Улпан.

Должно быть, не просто это – приучить улыбаться человека мрачного, замкнутого. Улпан – удалось.

– Тебе надоело ждать? Ты сердишься на меня?

– Но ты устал, мой тигр… Пора прекратить суд…

– Уже… Они уедут. Теперь снова можешь всю власть брать в свои руки.

Он обнял ее правой рукой за плечо, и так они дошли до дома.

– К Мусреп-агаю завтра поедем? – спросила она.

– Поедем, обещали.

– А пока отдохни. Чай будем пить в малой юрте, в большой пыльно очень, мне в эти дни тоже не хватало времени. Иди…

Обласкав его взглядом, Улпан осталась во дворе и позвала Кенжетая. Чтобы успокоить сибанов, которым не терпелось на джайляу, она еще утром велела в стороне от аула навьючить несколько верблюдов – пусть все видят, байбише готовится в путь.

Кенжетаю она сказала:

– Видишь, там с краю лежит атан? Повод у него с красной повязкой. Его сегодня же отведи к Шынар. Скажешь – гостинец из Тобольска.

Еще скажешь – они приедут завтра. А больше ни слова не говори. Понял? Кенжетай кивнул и ушел.

Еще в Каршыгалы Улпан заметила, как поглядывает на нее этот молодой джигит, и с тех пор она разговаривала с ним коротко и холодно. Но сегодня – конец всем делам – и голос ее звучал более приветливо.

У Есенея она потребовала подтверждения – поедут ли они… Не передумает ли он…

– Я бы хоть сегодня, – отозвался он.

– Сегодня уже нет. Я послала человека – сказать, что приедем завтра. А ты пока пойди и выкупайся в озере.

– Повеление ханши убивает приказ хана!

– Не пойдешь на озеро, в постель не пущу…

– Да?.. Если бульдыршин не взглянет томно, то и буыршин свой повод не сорвет… Ведь так, кажется, говорят?

– Ладно, ладно… Иди!

Улпан – как самая настоящая бульдыршин – опустила ресницы. Есеней уже не первый месяц знал, какие и когда у нее бывают глаза, и пошел к озеру.

Шынар издали заметила Кенжетая с навьюченным верблюдом в поводу и поджидала его возле юрты, в которую они перебрались из дома с наступлением теплых дней.

– Что, Тайкенже? Возвращаешься в аул к братьям? Или ты куда-нибудь собрался переезжать? – Она еще не придумала ему прозвища, не часто они виделись, и потому переиначила имя: Кенжетай – Тайкенже… Так тоже можно обращаться к брату мужа.

Кенжетай притворился рассерженным:

– Чем коверкать мое имя, лучше бы называла просто – Кенжетай! Вот возьму и назло тебе увезу все обратно, что привез!

– А что, если я стану тебя звать – Баурым, родной?

– Баурым? Если это правда, то поцелуй меня! – Кенжетай в седле наклонился в ее сторону и подставил щеку.

Шынар поцеловала его.

– Вот так… Сама не догадалась, еще уговаривать нужно!.. Держи повод, заставь атана лечь и снимай свои тюки.

– Какие мои тюки?

– Е-ей! Какая непонятливая. Сказали так: «Это гостинец из Тобольска. Сами приедем завтра».

– А что еще она сказала?

– Больше, сказала – ни слова… Шынар приняла верблюжий повод.

Она узнавала Улпан и в этом поступке. Завтра приедем – дает время, чтобы гости не застали хозяев врасплох. Заранее прислала подарки, чтобы избежать выражений благодарности. От кого другого Шынар ничего не приняла бы, так и увел бы Кенжетай атана обратно. Но ведь это – Улпан…

Жаниша прибежала на помощь.

– Это Улпан прислала, – шепнула ей Шынар.

Кенжетай уехал и увел верблюда, а обе женщины развязали веревки и откинули две узорчатых кошмы и два ворсистых ковра – сундуки были завернуты в них. Ключи торчали в замочных скважинах. Замки открывались с долгим звоном.

– Как только удалось захлопнуть крышки на этих сундуках! – воскликнула Шынар. – Мне кажется, тут все приданое для невесты. Смотри-ка, женеше, и занавески есть!

– Сказала бы – для многих невест! Весь наш аул можно выдать замуж! Сапожки… Расшитые…

Шынар взяла сапожки в руки. Жаниша продолжала рассматривать:

– А в этом сундуке? Шынар откинула крышку:

– Чай и сахар… Урюка много, изюма. Для чая полный набор. Набор для кумыса. И к столу – скатерти, полотенца.

Науша присоединилась к ним, и все три женщины перебирали невиданное ими добро, передавали из рук в руки. Забыв, что уже рассматривали белое шелковое платье с двумя оборками, снова принимались его расхваливать. Они не могли бы сказать, что им понравилось больше, а что – меньше, они знали только – все эти вещи, их много, подарены Шынар. На самом дне первого сундука лежало и несколько отрезов. Женщины, не находя слов, чтобы выразить восхищение, только и могли цокать языком… Но это нельзя было бы назвать жадностью и осудить. Это был порыв женщин, изголодавшихся по тем вещам, которые придают им уверенность, которые и некрасивую сделают красивой, а красивую – несравненной.

Шынар опомнилась первой.

– Завтра гости… Апа, женеше… Давайте уберем сундуки. Надо готовиться.

Они принялись складывать вещи – с таким сожалением, будто только посмотрели и навсегда расстаются с ними.

Они приехали на другой день к полудню. То ли Улпан при Есенее, то ли Есеней при Улпан.

Зимовье туркменов – из двух дворов – полукругом охватывал лес. На легком ветру топорщили усики колоски пырея, который хорошо всходит и быстро растет на унавоженных землях, напоенных талой водой. А дальше до самого озера, зеленые луга были покрыты пятнами ярких цветов. Небольшие табуны и небольшие отары не успели нарушить весеннее цветение.

Улпан легко спрыгнула с тарантаса и глаза закрыла, чтобы полнее вдохнуть пряные запахи степного ветра, который у леса приостанавливался и кидался на зеленую листву деревьев, заставляя ее шуметь.

– Если есть рай на этом свете, – воскликнула она, – то нигде в другом месте его не может быть! А в нашем ауле – пыль, грязь… Она и не взглянула в его сторону, но Есеней виновато вздохнул.

– Завидуешь? – спросила Шынар. – Так переезжай ко мне.

– Поживем у них? – предложил и Есеней. – Несколько дней?

Улпан радовалась…

– А мой верблюжонок?..

– Гулять пошел, скоро вернется.

– Я же говорила – не показывай ни единой живой душе!

– Я ему говорила – не ходи. Но он – непослушный. Мусреп понял, что они еще долго могут болтать так, ни о чем, просто радуясь встрече, и предложил:

– Где хотите устроиться? Можно в зимнем доме. Можно в юрте. Или просто на траве? – Он показал – на опушке были расстелены кошмы и ковры, на них разноцветные подушки.

– Ты посмотри, Улпан, – сказал Есеней. – Как заважничал этот Туркмен, стоило ему взять в жены дочь Шакшак-бия!

– Что бы ни предложил Мусреп-агай, все будет правильно! – откликнулась Улпан. – Давай, Есеней, на воздухе? Здесь так хорошо, как будто я снова побывала в Каршыгалы.

Она грустно вздохнула… Был нескончаемый той. Были жалобщики. Были просители и попрошайки. От непривычки к многолюдью у нее до сих пор шумело в голове. А вот в степь ей почти не пришлось ездить. Ни разу не побывала у озер, у них берега и дно из чистого песка. Только сегодня Улпан почувствовала себя свободной и беззаботной.

– Мужчины! Не торчите на ногах, закрывая мир! Садитесь! – И первой уселась на ковер. – Е-ей, бабенка! Чай подавай! – подражая мужскому окрику, повернулась Улпан к Шынар. – С какой это радости ты все время рот растягиваешь до ушей?

Чай был готов. Из землянки с полотенцем в руках вышла Науша, следом – Жаниша с кумганом и медным тазиком. Возле ковра Жаниша поставила на траву таз и кумган, а сама преклонила колено перед гостями. Потом принялась поливать на руки, первому – Есенею.

Науша молча развернула скатерть.

– Кто она? – спросил Есеней у Мусрепа.

– Отныне твоя сватья. Мать Шынар.

– Выходит, это она тебя осчастливила?

– Она…

– Будет, будет у них счастье, – вмешалась Улпан. – Как только привезут и поставят их отау…

Шынар смущенно улыбалась. На лице ее было написано: «О какой отау она говорит?..» Улпан тесно прижалась к ней, слегка подтолкнула в бок. «Молчи… Потом скажу», – шепнула она.

Принесли самовар. Рассыпали по скатерти баурсаки, поставили тарелки с оладьями. Науша принесла еще одну – не очень глубокую чашу.

– Это Шынар заставила… Испеки, говорит, испеки… А эта еда не для почетных гостей, – сказала она, оправдываясь.

Это был хлеб – еще горячий, испеченный в золе, разломанный на куски и смешанный с подсоленным сливочным маслом. Издревле у казахов такой хлеб считался лакомством. Улпан по запаху догадалась, что принесла Науша, пока та, не зная, ставить или не ставить на скатерть, еще держала чашу в руках.

– Это мне! Это мне! Пусть никто не надеется, даже попробовать никому не дам!

Она сняла крышку и придвинула чашу к себе.

– Ни крошки не оставлю!..

Они пили чай, когда Асреп привел белого верблюжонка. Совсем малыш, покрытый не шерстью еще, а пухом. Он упирался. Он старался вырваться и очень неохотно переставлял тонкие ноги.

Улпан, позабыв про чай, вскочила.

– А ты не смотри на него – сглазишь! – сверкнула она глазами на Есенея.

Асреп на ее свадьбе был среди первых гостей со стороны Есенея, и Улпан с ним могла держать себя свободно.

– Просторных пастбищ, тучных отар тебе, старший деверь…

– Да сбудутся твои пожелания, женеше… И она засмеялась, и он.

Конечно, смешно – такая молодка запросто называет деверем пожилого человека, а пожилой, полбороды у него в седине, человек называет молодку – женеше. Но такова воля своенравного аллаха – отныне весь род сибанов должен привыкать: Улпан – самая старшая среди их женщин, байбише всего их рода!

Верблюдицу Асреп уложил против ветра и присоединился к чаепитию.

Верблюжонок был очень доволен, что теперь можно по-настоящему поиграть с матерью. Ведь когда она стоит, тычешься в ее длинные узловатые ноги, а в этом – никакой нежности, никакой теплоты. А тут что хочешь… Можно разбежаться и удариться в ее мягкий бок, головой тереться о горб… Можно ущипнуть за ухо, лизнуть ее в глаз… Верблюдица вздыхала и терпела его шалости.

К Улпан подошла Шынар, оставив за себя у дастархана Жанишу.

– Откуда у него силы берутся? – сказала Шынар. – Целый день так… Насосется молока и давай баловаться, не хуже тебя. Сейчас меня увидит, смотри, что будет.

Верблюжонок замер, прислушался. Узнал голос Шынар и побежал прямо к ней, но остановиться рядом не сумел, проскочил мимо. Он еще не очень уверенно управлялся со своими четырьмя ногами. А если бы столкнулся – и Шынар упала бы, и он сам…

Шынар достала из кармана комок соли.

– Иди сюда, иди, айналайн, – позвала она точно так же, как зовут казахи детей.

Верблюжонок на всякий случай прижал уши, нахмурился – но подбежал, мягкими губами забрал соль с ладони. И принялся сосать, мотая от удовольствия головой.

Улпан ревниво следила за ними.

– Шынар, дай-ка мне тоже соли!

Выставив вперед ладонь с белым комком, Улпан, подражая голосу Шынар, звала:

– Иди сюда, иди, айналайн!

Верблюжонок сначала недоверчиво насторожил уши, но соли ему очень хотелось. Он подошел, взял…

– Молодец! Молодец! – обрадованно похвалила его Улпан и с торжеством повернулась к Шынар. – А ты уходи, не подманивай моего верблюжонка!

Так они познакомились, а, познакомившись, подружились. Он остервенело кидался на Улпан, словно свалить ее хотел или укусить, но стоило приблизиться – складки разглаживались, он, открыв рот, шевелил губами – улыбался, еще соли выпрашивал. И Улпан заразилась его настроением – она то отбегала, чтобы верблюжонок ее преследовал, то бежала за ним… И еще неизвестно, кому из них эти затеи доставляли больше удовольствия.

Наконец она вернулась к дастархану, села.

– Налей мне еще чаю, Шынар… Лучшего подарка ты не могла бы мне сделать! Какой чудесный малыш! Какой веселый! И как он все понимает.

Она сняла саукеле и отложила в сторону, накинула на голову легкую шелковую косынку и облокотилась на колено Есенея, который не

говорил ни слова – но и не надо было слов, чтобы понять, как он смотрел на игры Улпан с верблюжонком…

Когда напились чаю, Шынар повела Улпан посмотреть, как они живут. Показала хлев, овчарню Мусрепа. Повела в дом, и Улпан обрадовалась, впервые увидев в казахском ауле подобие русской избы, в какой они с Есенеем останавливались по дороге в Тобольск. По крайней мере, зимой дети и старики не мерзнут в холодной юрте.

– А с каких пор они ставят дома и кладут землянки?.. Шынар рассказала, что ей рассказывали:

– Давно… Их дед, туркмен, пришел сюда молодым. Сибаны дали ему землю из своих владений. А юрту в те времена было справить нелегко. Сперва он землянку для себя вырыл, потом построил избу. С тех пор у них так и повелось.

Дома Асрепа и Мусрепа стояли напротив друг друга, в окна переглядываться можно. Так же были расположены и пристройки – летние кухни шошалы, скотные дворы. У них принято – накашивать сена, чтобы скот всю зиму держать в стойле. И колодец во дворе есть, чтобы не ходить за водой на озеро.

К приезду гостей они побелили внутри, полы устлали свежескошенным пахучим сеном. Улпан долго рассматривала печь, плиту, открывала и закрывала двери, выглядывала в окна. Да, настоящая «русская изба»…

– Здесь будем ночевать, хорошо? – сказала Улпан.

– В такой халупе?..

– Не напрашивайся, чтобы я тебя хвалила!

Потом они прошли в юрту из темной кошмы. Здесь были сложены подарки, которые вчера привез Кенжетай. – Послушай, зачем ты столько… Улпан не дала ей договорить, ладонью закрыла рот.

– Помолчи! Чтоб ни одно слово не проскочило у тебя сквозь зубы! У тебя, запомни, есть еще белоснежная отау. Ты что в этом ауле – приблудная, что ли?! Мусреп-агай увидел тебя, ты увидела его, вы полюбили друг друга. Разве он из жалости взял тебя в жены? Нет! В Тобольске он только и знал, что говорить о тебе. Мне говорил – если бы ты не хмурилась, не щурила глаза, была бы в поясе потоньше, была бы у тебя на щеке родинка, то тебя, наверное, можно было сравнить с Шынар. Поняла? А старший брат твоего мужа на нашем тое расхваливал тебя еще пуще! Тебя любят. А что еще надо?..

Шынар молча слушала ее. Ведь и теперь, в семье Мусрепа, она подчас напоминала себе – она всего лишь дочь бездомной вдовы, и должна помнить… Улпан высказала то, о чем она и сама хотела бы, но не позволяла себе думать.

– Дал бы мне бог твой ум, хоть самую малость! – воскликнула она и обняла Улпан, прижалась к ней. И слез не могла сдержать.

– Ты плачешь? Какие у тебя остались обиды на бога? Улпан и сама могла бы заплакать – от волнения, от нежности, от любви. Но она привыкла не проявлять открыто чувств, и только гладила Шынар по спине:

– Ну перестань, айналайн, перестань, маленькая… – укачивала она Шынар как ребенка. – Хочешь, сказку расскажу?

Шынар рассмеялась сквозь слезы.

После обеда они пошли на озеро, вдвоем.

Верблюдицу повели в поводу. А верблюжонок по дороге гонялся за воронами, не забывая время от времени подбегать и, вытянув шею – «бух-бух» – выпрашивать соль.

Жаркое солнце на берегу залило светом обнаженные тела молодых женщин – молочно-белую Улпан и Шынар, более смуглую. Не раздумывая, они бегом кинулись к воде, и то же солнце сверкнуло в брызгах.

– Как уехала из родного аула, ни разу не купалась!

– А дома? – спросила Шынар.

– Да ну, что – дома? Всегда какой-нибудь запрет найдется!

Они поплавали в спокойной прозрачной воде, еще не совсем прогретой в нынешнее лето, и от прохлады тела сделались упругими, подобранными. Улпан достала ногами дно и встала. Вода приходилась ей ниже груди. И Шынар встала рядом с ней.

– Ты прямо как девушка, которую муж еще не привел к себе в дом, – обратилась к ней Улпан. – Слушай, Шынар, а ты и в самом деле родилась под счастливой звездой.

– Я даже боюсь, – призналась она. – Что мне такого счастья не удержать. Что случится что-нибудь…

– Да пропади пропадом то счастье, что у тебя не удержалось бы!

– Хотелось бы мне такую сестру, как ты.

– А мы и так словно близнецы. Лишь в том разница, что ты родилась шелковой, а я полотняной… – Она плечом коснулась плеча Шынар. – Сравни сама…

– Да ну тебя!

В этом месте со дна били студеные родники, и ногам стало холодно. Улпан широко взмахнула руками и снова поплыла. Шынар полюбовалась – как быстро, бросками, а тело ее в воде – белый мрамор. Шынар подумалось – плавает она так же смело, как ведет себя в жизни. И путь держит на самую середину озера, не боится.

Шынар плавала у берега, шлепая по воде ногами и ладонями, и снова близким становилось солнце, переливаясь в брызгах.

Улпан наплавалась и вернулась к ней:

– А ты бы меня вытащила, если бы я тонула?

– Что ты! Смотри – накликаешь!

– А если бы ты, я бы вытащила, за ногу.

– Лучше всего – не тонуть, Улпан. Ни тебе, ни мне.

На берегу они устроились в тени камыша на чистом золотом песке. Песок был нагрет солнцем, и так хорошо было вытянуть застывшие ноги… Они отжали мокрые волосы, связали их в узел.

– Ох, эти волосы! – пожаловалась Улпан. – Они у меня густые и жесткие, как хвост у хорошо откормленного жеребца! Расчесать могу только когда голову помою. А так – ни за что.

– А я в любое время. У меня и не густые, и не жесткие.

– Бог тебя всем наделил, не пожалел. Вот в Тобольске я каждый день ходила в баню, и голова на голову была похожа. А как в аул вернулась, где тут найдешь баню. Мне старуха-татарка говорила – нельзя мыть голову холодной водой, завшивеешь. Но пока бог миловал.

– Слушай, а баня – в самом деле хорошо? Асреп-агай требует – построим баню. Но Мусреп мимо ушей пропускает.

– Асреп в городе долго грузчиком работал, и Мусреп тоже. Конечно, должны построить. Пусть Асреп схватит Мусрепа за уши и заставит! Вот было бы здорово! Зимой и я бы приезжала к вам помыться!

– Твоему Мусрепу – лишь бы отговориться… Где, говорит, достану жженый кирпич, камень, большие бочки для воды. Отложил до осени.

– А ты не отставай от него. Не знаешь, что ли, как добиться, чего хочешь?.. Пусть они скажут, что нужно, я все заставлю найти через два дня!

– Не надо. Все ты и ты… Я хочу запрячь твоего Мусрепа!

– Вот бедняга! Значит, он дает себя запрячь?

Они обе рассмеялись, будто и в самом деле увидели Мусрепа, запряженного в арбу, во всей сбруе и с хомутом на шее. Отсмеявшись, Улпан забеспокоилась совсем по другому поводу:

– А как я заберу своего верблюжонка? В тарантасе не поместится, вести в поводу – устанет. А оставлять его до осени мне не хочется.

– Вместе с матерью заберешь.

– С матерью?

– А что же, сама будешь кормить его грудью?

– Иди ты…

– Не пойду. Мы давно решили – возьмешь и верблюдицу.

– Да? Чтобы говорили – Улпан поехала в гости и вернулась с верблюдицей и верблюжонком!

И Улпан неожиданно толкнула Шынар в грудь, и та свалилась в воду спиной, замахала руками и ногами, Улпан – к ней, но Шынар встала

на дно, схватила Улпан сзади и несколько раз с головой окунула в воду.

Они гонялись одна за другой, брызгались, измазались в грязи и хохотали до того, что уже не могли, и только «бухали», как верблюжонок, когда выманивает соль. И ни та, ни другая не смогли бы ответить, спроси у них, отчего им так смешно и весело. А были это недоигранные в детстве игры, был запас нерастраченного смеха, а все это накапливается – так же, как горе, ненависть, месть, – и требует выхода.

Можно было бы сказать и то, что Улпан выросла без подруг, зная одни мальчишеские забавы и игры. А Шынар, с детства одетая в лохмотья, поневоле становилась замкнутой, мнительной, она стеснялась сверстниц. Они встретились и начали узнавать одна другую, и им радостно было это узнавание.

Остановиться было трудно… Гораздо веселее – продолжать брызгаться, топить, валяться в глинистой жиже, внезапно ошпаривать по мягким местам отломанной камышинкой. Измазались они уже так, что теперь невозможно было различить, кто из них мраморно-белый, а кто – шелковисто-смуглый.

– Хватит? – первой взмолилась Шынар.

– Хватит…

Они полезли в воду – отмыться, а потом вышли на берег, ни от кого не прячась, гордые своей обнаженной молодостью, своими безупречными телами, красотой и долгожданной, может быть, недолговечной, свободой.

Им жаль было расставаться с этим уходящим днем на озере, и одевались они медленно.

Вблизи от аула Улпан заметила почти готовый «алты-бакан» – качели из шести жердей и арканов. Джигиты, двое, жерди уже связали и теперь закрепляли веревки.

– Кто это? – спросила Улпан. – Разве есть у вас в ауле джигиты?

– Они из аула по названию «Больше четырех», пришли помочь. Вечером мы с тобой покачаемся.

– Что за аул – «Больше четырех»? Никогда не слыхала!

– Не слыхала? Не понимаешь?

– Понимала бы – не спрашивала!

– Что такое – четыре, знаешь? Прибавь еще один…

– Ну…

– Сколько получилось?

– Пять, сколько же еще!

– Вот пристала! – возмущенная ее непониманием, сказала Шынар. – Пять, пять! А как, по-твоему, я могу еще назвать аул старого Беспая? «Больше четырех». Подожди, ты тоже будешь так называть.

– Ни за что! Ты разве не знаешь, что Есеней – это я? Я буду каждый аул называть по-человечески, своим именем. Буду говорить – аул Беспая. Я заставлю забыть название твоего аула – «Двухсемейный Туркмен». Как звали вашего предка?

Шынар замешкалась.

– А скажи… – нашлась она, – как еще можно назвать журт, обжитую местность?

– Можно – «ель».

– Вот, вот! А к слову «ель» прибавь слово, каким встречаешь мужа после долгой его поездки.

– Это, что ли, благополучно ли дошла его лошадь и не сломалась ли телега? Ат-колик аман-ба?

– Да, так говорят. А теперь выброс оттуда «ат-колик», а слово «аман» присоедини к тому, что вместо – журт…

– Ел… Ел – аман… Еламан его звали, так?

– Так, именно так!

– Боже мой! – притворно ужаснулась Улпан. – Что ты наделала! Ты сама вслух назвала – и старого Беспая, и Еламана!

– Но ты никому, Улпан…

– Как же! На весь мир разглашу! Шынар сказала – Беспай… Шынар сказала – Еламан. Я сама слышала. Но теперь ты будешь всех называть по именам.

– Никогда!

– Всегда! И первым назовешь – Есенея.

– Ни за что!

– Назовешь в его присутствии, да…

– Я лучше умру.

– Не умрешь.

Было еще светло, и самовар снова поставили под открытым небом. Разливать чай стала Шынар, Улпан подсела к ней.

– Мы так хотим пить… – сказала она, лукаво взглянув на Есенея. – Мы так устали…

– Вижу, – сказал он.

– Шынаржан, налей мне поскорее…

Пиалы передавались из рук в руки, первую подали Есенею. А когда подошла очередь Улпан, Шынар подала ей.

– Улпан, твой чай, возьми…

Улпан, словно не к ней обращались, не только не взяла, но и не взглянула на Шынар.

– Улпан, возьми же…

– Кто здесь – Улпан, Улпан… Ты что, не знаешь моего настоящего имени? – сдвинула она брови.

Шынар побледнела. Значит, Улпан не шутила? Но как же? Пиала так и останется в протянутой руке? Улпан так и не примет? Так и будет сверлить глазами? А Мусреп вместо того, чтобы прийти на помощь, посмеивается и ждет, что будет.

И Шынар решилась. Сперва она поставила пиалу рядом с самоваром, поднялась и преклонила колено перед Есенеем, как бы заранее прося у него прощения.

Потом снова протянула пиалу Улпан:

– Есеней… Возьмешь свой чай или не возьмешь? – Щеки у нее алели, но голос звучал твердо.

Улпан приняла пиалу, засмеялась. Захохотал и Есеней:

– Шынаржан! Айналайн! У тебя решительность настоящего мужчины… Я до сих пор никого не мог заставить, чтобы Улпан называли моим именем. Ты первая, ты проложила путь всем людям из кереев и уаков. За мной орамал, девятикратный!

Да, и он сейчас иначе относился к тому, что раньше показалось бы ему недопустимым.

– Ну и бабенка! – сказала свое слово Улпан. – Какой убыток нанесла Есенею! Слушай, ты поделилась бы со мной…

В этот вечер мир, согласие, радость были хозяевами за дастарханом у Мусрепа.

Мужчины остались сидеть, а Улпан с Шынар ушли на алты-бакан, этот день только так и можно было закончить – стремительно взлетая в воздух на качелях…

Когда они подошли к алты-бакану, их встретила песня. Пели две девушки – Бикен и Гаухар. Их песня качалась вместе с ними – то взлетала кверху, то опускалась вниз, то уходила, а то – накатывала, как волна на озере в ветреный день.

Сперва девушки очень складно пропели приветствие. Две молодые келин поднялись высоко среди людей нашего рода, и пусть всегда остаются на этой вершине… Пусть они позаботятся о других женщинах – у которых постоянно замызганы подолы, которые с утра до ночи доят кобылиц в табунах и овец в отарах. Кто, если не Улпан, не Шынар, позаботится о таких? Пусть будут заступницами. Пусть нам в лоб вонзится колючка, направленная против них… А пока – надо радоваться и веселиться…

Потом была еще песня:

Отара пропала в степи…

А тонкий камзол промок от дождя.

Замерзаю, калкажан.

Ночь…

И свекор, и свекровь…

Суженый – все дома спят, калкажан.

Что тебя ждет впереди?

То же… То же, что и меня!

Калкажан…

Станешь ты когда-нибудь такой же, как и я.

Хоть бы ты меня жалела, калкажан!..

Шынар слушала, слушала – и всплакнула. Ей не надо было особых усилий, чтобы представить себе молодую, измученную, озябшую женщину. И ей стало жаль ее – до боли, до слез.

Гаухар и Бикен прервали песню, и одна из них спросила:

– Неужели и ты обижена судьбой?..

– Теперь нет… – ответила она.

– Ведь это просто такая песня, – утешила ее другая. Бикен и Гаухар призадумались: что бы спеть, рассеять у Шынар грустное настроение. Они затянули одну из песен Биржана, известного в их краях поэта и певца, песню – свадебную, где он спрашивал у своих друзей Кольбая и Жанбая, кто, кроме Ляйлим, мог взять его шидер – дорогие, отделанные бронзой, путы… И стоит шидер – сорок кобылиц, такой калым он готов отдать, и потому не может требовать возврата… Ляйлим-шырак… Сорока кобылиц стоит шидер!

Улпан и Шынар послушали песни – когда же это было, чтобы возле алты-бакана не пели песни! Они покачались на качелях. Может быть, им тоже хотелось бы спеть какую-нибудь песню вместе. Но выросли они в разных краях, далеких друг от друга, у них не было совместных, знакомых с детства песен. А Улпан к тому же не обладала певческим голосом, и Шынар лишь подпевала несмело двум подружкам.

Пришла Науша и позвала:

– Шынаржан, пойдем… Все готово…

Улпан нерешительно посмотрела на Шынар – как им распрощаться с молодежью соседнего аула… Шынар поняла ее:

– А вы тоже идите с нами! Все! – позвала она. Девушки, молодые женщины, джигиты – мялись. Кто-то сказал:

– Как мы войдем туда, где сидит Есеке?..

Улпан поняла, что надо ей вмешаться:

– Идемте!..

Она обняла за плечи Бикен и Гаухар, повела их к дому Мусрепа, остальные пошли следом.

Мужчины по-прежнему сидели на ковре. Улпан слегка подтолкнула к дастархану девушек.

– Есеней, вам отсюда слышно было пение?

– Да, мы слышали…

– Так вот эти две певицы – дочери сибанов…

– Хорошо, девушки… Я даже не знал, что в наших аулах есть такие прекрасные голоса. А вот – есть, оказывается…

Есеней говорил правду. Он не очень-то знал людей в своем ауле, а здесь прижились и пришельцы из разных родов и племен. Когда ему надо было поехать по делам, он брал с собой влиятельных кереев и уаков, а из своих – только Мусрепа. Иногда ему начинало казаться, что здесь, дома, Туркмен пользуется даже большим почетом, чем он сам, и он испытывал зависть к нему.

Мясо было съедено, кумыс выпит.

Молодежь разошлась, довольная тем, что довелось посидеть за одним дастарханом с самим Есенеем.

Стали укладываться.

– Мы будем спать в избе, – сказала Улпан и ушла с Шынар.

Мужчины спали во дворе, на свежескошенном сене.

Утром Есеней сказал Мусрепу:

– Отдохнул я, словно конь, которого держали на выпасах!

– Еще бы! Вдоволь поел конины, пил кумыс, всю ночь дышал запахами степи… – начал было Мусреп хвастаться своим гостеприимством, но Есеней перебил его:

– Ладно, ладно… Я о том же говорю.

Улпан вышла к ним во двор. Есеней, не скрываясь, любовался ею – она хорошо выспалась, настроение у нее было отличное, она вся как будто светилась в солнечных лучах.

– Есенейжан… – Облокачиваться на колено Есенея вошло у нее в привычку, она и сейчас облокотилась. – Знаешь, как хорошо спать в избе? Давай и мы построим.

– Хочешь, построй сама. А я не знаю, где должны быть окна, где двери. Но сделай так, чтобы туда мог войти и я.

Коней запрягли в тарантас Есенея. Асреп привел белую верблюдицу и по старинному обычаю привязал ее сзади.

– Улпан, ты хочешь с верблюжонком и мать забрать?

– А кто же будет его кормить? – Улпан улыбнулась, вспомнив, как Шынар вчера сказала – сама будешь, грудью…

– Ты совсем разоряешь Туркмена…

– Мусреп-агай сам говорил, что не хочет быть богатым.

– Не хочет – как хочет. Но есть еще Асреп.

– Ладно, это мое дело. Они нам еще должны останутся – за все муки, пережитые нами со вчерашнего дня!

Уже сидя в тарантасе, Есеней напомнил:

– Шынаржан… Я обещал тебе вчера орамал… Скажи, чего тебе хотелось бы?

– Ничего не надо! Я сама виновата, бий-ага, – вслух произнесла ваше имя. Как это загладить? Ничего я не возьму.

– Раз ничего не хочешь, значит, я мало предлагаю! Улпан прервала их:

– Опять она тебя называет бий-ага… Как только вмешаются мужчины, они сразу все дело испортят! Я сама все устрою… Разве я – не Есеней? Сейчас поедем, нам еще надо собираться на джайляу…

На прощанье Улпан отвела Шынар в сторону:

– Я вчера не случайно говорила про белую юрту – про отау. На джайляу, когда туда перекочуете, отау будет уже стоять… Ждать тебя… А эту, что возле вашего дома, не вози, отдай старшему брату мужа. Молчи, будет так, как я сказала!

Тарантас тронулся с места.

Вскоре следом за ними отправился и Асреп, он вел в поводу верблюдицу, а верблюжонок и сам без нее никуда не денется…

Шынар долго смотрела ему вслед.

13

По дороге в свой аул Улпан по-прежнему была в приподнятом настроении, она то облокачивалась на колено Есенея, то выпрямлялась, шутила:

– Есенейжан, а плавать ты умеешь?

– Почему ты спрашиваешь?

– Думаю, вода не удержит тебя.

– Я плаваю только там, где могу достать дно.

– Хочешь, я научу тебя?

– А зачем? Кроме Кайран-коля, я все наши озера перейду, если понадобится, вброд.

Вот раньше – кто и когда слышал от него шутки? А теперь он часто старался вызвать улыбку на лице Улпан, если это удавалось.

До их аула оставалось недалеко, и настроение переменилось, стоило ей увидеть бедные, в заплатах, в дырах юрты. Она больше не облокачивалась на колено Есенея, сидела прямо.

– Послушай, Есеней… Как ты можешь мириться с такой нищетой? Не видел, что ли? Это же позор не для них – для тебя!

– То-то, что не видел. Уже семь лет я редко сюда приезжаю. Все время в других аулах – там, где пасется скот. Зимой, летом. А настоящим моим аулом был кос Садыра, который я оставил у тебя в Каршыгалы. Сюда меня привезла ты…

Лицо Улпан по-прежнему хмурилось, но голос смягчился.

– Сорок лет эти сорок дворов ничего не имели от тебя за свою службу. Жалко их…

– Улпан, айналайн… Ты уладила бы все сама и не напоминала мне о них! Нам с тобой хватит, если оставишь два косяка лошадей. А мое богатство – это ты.

– Это слова мужчины, Есенейжан…

Она придвинулась, положила ему голову на колени, он наклонился – поправить саукеле, и, глядя снизу в его глаза, Улпан еще добавила, чтобы закончить этот разговор:

– Один кос, тот, что в Каршыгалы, – мой. Ты подарил, а я приняла подарок. Теперь возвращаю обратно. Только пусть пасутся там, пока живы родители. Им ведь много скота не нужно. Хватит того, чтоб их табун ходил вместе с твоими. А мне не хотелось бы никому быть должной! Я верну наши долги!

– Улаживай, как считаешь лучше… Мое дело – выращивать скот, чтобы не терпеть нужды. А распоряжайся им ты сама.

В ауле возле отау Улпан собрались женщины, не меньше двадцати. Она издали заметила их, и радости вчерашнего беззаботного, безоблачного дня окончательно истаяли. Сойдя с тарантаса, медленно, тяжело, как старуха, шла к ним Улпан, навстречу ей неслись возгласы: «Байбише приехала!» «Мы с утра тебя ждем, заждались уже…» Ясно – пришли о чем-то просить…

Улпан поздоровалась с ними и, не заходя домой, присела, прислонилась спиной к стене юрты. На этот раз женщины не стали дожидаться, когда она спросит об их нуждах. Они заговорили, перебивая одна другую:

– Мы с моим стариком доим двенадцать кобыл…

– Мои сыновья – двое, больше шести лет пасут овец!

– Двенадцать кобыл, по пять раз в день, тридцать лет…

– А сыновья хоть бы раз взяли за труд овцу с ягненком!

– А наша семья? Отец мужа, бедный, перед смертью вспоминал, сколько лет всей семьей батрачил в этом доме, только я, безмозглая, позабыла…

Улпан слушала, не перебивая, и от души у нее отлегло. Нет, не побираться пришли женщины, они устали бесконечно ждать, ждать и ждать, они пришли требовать, не вымаливать – не пора ли хоть что-нибудь получить за труд, который из года в год оставался неоплаченным?

Их семьи – в разное время и по разным причинам прибегшие к помощи Есеней-бая, Есеней-бия, на долгие годы стали его чабанами, доярками, скотниками, табунщиками. Почти безмолвные и безропотные карашы – челядь. И не рабы, но вроде и рабы… Одна слава, одна честь – из аула Есенея! Сорок семей. Еще три-четыре дня назад Улпан раздражала та покорность, с какой они ожидали подачек. Сегодня она их не узнавала и радовалась тому что не узнает.

На какой-то миг галдеж прекратился, и Улпан воспользовалась этим:

– Не шумите так… Наверное, трудно сосчитать, кому и сколько и что положено за труд у Есенея. Я одно знаю, что Есеней должен вам всем. Так вот, слушайте… Есеней велел мне вернуть вам свои долги…

Женщины кричали:

– Пусть он проживет тысячу лет!

– Пусть у него будет много детей!

Улпан снова подняла руку:

– Есеней велел каждой вашей семье дать кобылу с жеребенком. Дать две овцы с ягнятами. А на будущее – чабаны за летнюю пастьбу со ста голов будут получать одну овцу, за зимнюю – две. Табунщик за

двести лошадей получит одну лошадь. Вечером сегодня берите своих овец, а лошадей – завтра. Для переезда на джайляу будут верблюдицы.

Улпан поднялась и вошла в юрту, а следом неслись возгласы:

– Счастья тебе!

– Пусть родится у тебя сын!..

– Рожай каждый год, как овца – ягнят!

На другое утро у Есенея состоялся разговор с Тлемисом, который после свадебного тоя погостил в ауле, забрал подаренных ему двух кобыл с жеребятами и собрался уезжать.

– Тлемис, пока мы живы, хлопот у тебя не убавится, – сказал он. – Эта бабенка схватила меня за ворот и не отпускает. Теперь ей дом нужен, хочет построить. Ты в таких делах что-нибудь смыслишь?

– А для чего плотники есть, русские? Найдем…

– Найди… Надо до осени закончить, чтобы жить можно было.

– А какой дом? Рубленый?

Улпан и хотела бы уточнить, но и сама не очень-то разбиралась:

– Ну… Как сказать? Деревянный, конечно! Мы видели, когда приезжали в Тобольск.

– А где ставить?

– Вот этого мы пока не надумали.

– Тогда так сделаем… Один или два плотника приедут, посмотрят. Им надо увидеть, где будет ваш дом, какой вы хотите, сколько комнат… А вы пока выберите место.

Аул неторопливо собрался кочевать на джайляу, а Есеней с Улпан отправились верхами искать, где будет их усадьба. С ними поехал Шондыгул – плотный, кряжистый, с бычьей шеей и выпирающими лопатками, с руки у него неизменно свисала тяжелая длинная дубина – шокпар. Он был у Есенея егерем, объездчиком пастбищ. Кенжетай с парой, запряженной в тарантас, остался дожидаться их возвращения на месте стоянки аула.

Солнце поднялось еще совсем невысоко и не успело обсушить травы, они искрились бусинками росы. Уже принялись за работу пчелы и шмели. В росистой траве тянулись следы трех лошадей.

Легкий ветер над зеленой, разноцветной, умытой степью шевелил и длинные гривы лесов и перелесков. Жал – грива… Когда и кто назвал так здешние леса – неизвестно, но назвал с удивительной точностью, и название прижилось.

Были озера, уже густо заселенные перелетными птицами. Лебеди, гуси ходили в камышах, плавали на открытой воде и, словно красавицы перед зеркалом, соперничали со своими отражениями. Тишину временами нарушал шум крыльев, протяжный свист – это падала на воду стая суматошных уток, они торопились поплавать, понырять, посплетничать – и снова улетали к своим гнездам, спрятанным в камышах и среди болотных кочек. Ведь поганые вороны так и шныряют, и нет для них слаще еды, чем утиные яйца…

Они ездили долго. Солнце поднималось к полдню. Шондыгул на своем грузном вороном трясся сзади.

Улпан придержала коня, придержал и Есеней.

– Объясни мне, Есеней, почему сибаны, десять аулов, ютятся вдоль маленькой полоски у леса, когда рядом столько пустых земель?

– С чего ты так решила?

– А ты сам… Сам сказал. Ведь это урочище – Кары-кыстау, старая зимовка? И ты показывал мне, где зимовали четыре аула. Там на высоте лошадиной морды – ни одного листочка на дереве, все объедено. Травы вокруг – ни травинки. Черные пятна – там, где юрты стояли…

– А когда казахи берегли земли? – спросил Есеней.

– Как могли они беречь! – резко воскликнула Улпан. – Земля-то принадлежит тебе! Запер их со всех сторон, зимой им двинуться некуда! Вот они и ютились на своем клочке, вытаптывали его до последней травинки!

Есеней не ответил ей. Улпан тоже замолчала. Тут их догнал Шондыгул.

– Смотри, Есеке… – Он плетью показал назад и немного вправо. – Лучше всего, если строиться – строиться там, на крутом берегу озера.

– Посмотрим? – предложил Есеней.

– Как хочешь…

Через некоторое время Улпан приблизилась к Есенею и положила руку ему на колено. Она хотела ущипнуть его, но тело, жесткое, как высохшая сыромять, не поддалось пальцам. Тепло руки он почувствовал.

– Ты обиделся?

– Обиделся и думал быть обиженным до вечера, до темноты… Но рядом с тобой обиды быстро забываются.

Они въехали в лес – место это носило длинное название: холмистый берег озера с водопоем…

– Теперь выбирай, смотри… Чтобы потом не жалела.

Улпан тронула коня вперед, туда, где озеро делало глубокий изгиб, и остановилась.

– Я хочу здесь…

В густом лесу, в котором березы стояли вперемешку с зеленовато-серыми осинами, лежала, словно островок, поляна, поросшая травами, залитая в это время дня солнцем.

– А твой карашы-аул расположится немного подальше. Нам же, нам вдвоем хватит и этого уголка.

– Я был здесь, – отозвался Есеней. – Мне здесь понравилось. Но я хотел, чтобы ты сама выбрала.

– Ставишь свою печать?

– Считай, что поставил. Шондыгул, запомни место, сюда приведешь плотников.

– А теперь давай сразу решим – где поселим другие аулы?

– Ты видела по дороге?.. Там еще три лесные гривы, все вытянуты одна за другой, расстояние между ними не больше версты. Чем не зимовка для трех аулов?

Первая из трех грив – та, что поближе к озеру, тоже понравилась Улпан, и она предложила:

– Ты без Садыра – как без рук… Пусть зимует со своими родичами здесь?

– Ставлю печать!

Следующий лес был подлиннее, погуще, на восточной его окраине было неглубокое озеро.

– А здесь пусть расположится аул Еламана.

– Это ты про Туркмена говоришь?

– Есеней, что ты твердишь – Туркмен, Туркмен. Брось! Среди твоих сородичей я не встречала никого, кто был бы сибаном лучше Асрепа и Мусрепа!

– Бросил… Это урочище называется Эльтин-жал, здесь могут поселиться два аула, не мешая друг другу.

– Кого ты хочешь, того и сели. Мусреп-агай такой человек, он может с любым ужиться.

Дальше Улпан не поехала. Не глядя, она предназначила последнюю лесную полосу для Иманалы. Хоть подальше будет от нее, от ее дома.

Есеней усмехнулся:

– Вы с Иманалы – как две звезды на небосводе, и одна непременно хочет затмить другую.

– Зачем? – пожала плечами Улпан. – Моя звезда постоянно рядом с твоей, от нее – и свет, и тепло. Видишь, и Музбел-торы согласен… – Конь мотал головой, отгоняя мошкару, и Улпан призналась: – Я нарочно держу его привязанным к поясу юрты. Иманалы как увидит коня, твой аип, чуть не лопается от злости!

– Так, так… – покачал он головой. – А старая зимовка?..

– Аулу Беспая? – предложила она. – Целиком?..

– Что с тобой поделаешь? Да, целиком.

За минувшие месяцы Улпан научилась заботиться не только о нарядах… Когда ей чего-то хотелось добиться, она нужные ей слова высказывала устами Есенея, а когда что-то говорила сама, то успевала условиться с ним. И Есеней поддерживал ее: «Вот эта бабенка говорит, что…» Он был доволен своей Улпан, Улпан была

довольна своим Есенеем. То время запомнилось им, как время полного согласия.

На месте покинутого становища их ждал Кенжетай. Лошади были запряжены в тарантас, а Кенжетай в тени дерева старательно взбалтывал кумыс.

После долгой поездки, в самую жару, кумыс был просто необходим, и, пока все не напились досыта, Есеней не заводил разговора с Шондыгулом о своем поручении.

– Мы на джайляу приедем дня через два, через три, не раньше, – сказал он. – А ты поезжай, не задерживаясь, чтобы расселить аулы.

– Расселить, как всегда расселялись?

– Ты что, не слышал?

– Я не слушаю, о чем ты говоришь с байбише.

– Е-е… Если б не надо было, я бы сказал – не слушай.

Пришлось повторять. Их аул остановится на старом месте, где всегда. Там, где прежде стоял Иманалы, будет проводить лето аул старшего брата Улпан.

– Это Есеке говорит про аул Мусреп-агая, – объяснила она.

Иманалы, значит, поселится на краю, за аулом Беспая – там, где раньше – Мусреп.

По дороге Шондыгул должен был завести в табун их лошадей и свою – обменить на свежую, чтобы нагнать кочевье. Не дойдя до дерева, где лошади были привязаны, он вернулся:

– А карашы-аул где будет?

– Пусть ставят юрты поближе к озеру, чем прежде ставили. А наш аул немного сдвинется.

Шондыгул поехал следом за теми, кто уже откочевал на джайляу. Торопился – и все равно чуть не опоздал. Аул Иманалы он нагнал, когда тот сворачивал на свое прежнее место. Сам Иманалы, хмельной от кумыса, ехал впереди, в окружении известных всему сибанскому роду драчунов и забияк. Шондыгул сдержал коня, пустил шагом.

– Доброго тебе кочевья… – приветствовал он брата Есенея, и на старинное пожелание тот должен был ответить благодарностью.

Но Иманалы никогда ни с кем и ни с чем не считался.

– Уж не у тебя ли этого добра попросить? – сказал он.

Шондыгул хорошо знал вздорный нрав Иманалы и не привык его выпады оставлять без внимания.

– Что у меня есть такого, что бы я мог уступить тебе? Я не поздороваться с тобой спешил. Я привез от старшего твоего брата приказ – нынешним летом ты станешь за аулом Беспая.

– Может, я Туркменом стал, чтобы селиться на отшибе?

– Кто ты – не у меня, у своего брата спроси.

– Ултан-кул, он и есть ултан-кул, – злобно покривился Иманалы. – Не был бы ултан-кулом – прямо сказал бы, приказ не от моего брата. Это придумала наглая токал! К нам без штанов приехала! А распоряжается! Как в своем голодраном ауле!

Ултан-кул – раб, бесправный, подстилка, о которую всякий может вытереть подошвы. Иманалы хотел уязвить Шондыгула – его прадед пришлым был в этих краях, без роду, без племени.

– Раб? – закричал Шондыгул. – Настоящий раб ты сам!.. Кто ползает перед толстозадой кривлякой? Она, смотри ты, ханского рода! Приблудная она, незаконнорожденная! А ты…

– А ну хватит! – Иманалы покрутил тяжелой плетью.

– А ну попробуй! – Шондыгул опустил шокпар, и шокпар концом уперся в землю. – Говорю – поворачивай караван!

Кричать – ултан-кул, наглая токал… А что еще мог Иманалы? Не то что доверенного человека, тронь пальцем последнего чабана Есенея, за такую вину отдашь коня, но и конем – не отделаешься, отдашь и дорогую шубу в придачу.

Иманалы для собственного утешения причудливо выматерил Шондыгула, помянув всю его родословную. А караван все-таки повернул, куда было указано. Шондыгул, чтобы не оставаться в долгу, тоже принялся костерить Иманалы. Только от возмущения слова не сразу подбирались.

– Ты знаешь… у тебя ведь… с тобой, знаешь… Ханша!.. Знаешь… Твоя жена… На гнилой бурдюк похожа с прокисшим молоком!.. Чем с ней спать, знаешь, я бы…

Но пока Шондыгул продирался сквозь дебри «знаешь… знаешь…», Иманалы уже отъехал, и самый большой гвоздь Шондыгул не успел вбить. Он отправился дальше, продолжая вслух высказывать то, что думает о младшем брате Есенея.

Кроме Иманалы, никому и в голову не пришло спорить. Другие аулы беспрекословно заняли места, какие указывал Шондыгул, и начали ставить юрты. Карашы-аул был теперь не из самых бедных – там среди темных юрт попадались и пепельно-серые. Между кольями были натянуты веревки для привязи беспокойных жеребят. Кричали верблюды. Самолюбивые жеребцы рыли копытами землю, и заливистое их ржание было предупреждением: своих прав они никому не уступят… Растерянно блеяли бестолковые овцы. А когда вдруг наступала на мгновение тишина, было слышно, как тугие белые струи бьются о жестяные ведра – доили кобылиц.

Озеро Кайран-коль не зря получило название – прозрачное. На глубине ясно просматривалось чистое песчаное дно. Берега поросли шуршащим на ветру камышом. Озеро было большое – с самого восхода и до заката оно отражало солнце, а по его окружности можно было устраивать байгу…

Имело оно еще одно название – зеркальное озеро Есенея… Его табунами были заняты западный и северный берега. На юге и на востоке проводили лето остальные сибанские аулы. Время от времени – когда становище загрязнялось, захламлялось, юрты переставляли немного поодаль. И так до глубокой осени, пока воду Кайран-коля не покроют почти сплошь стаи казарок. Они здесь набираются сил перед дальним своим кочевьем в теплые края.

Джайляу… Пора беззаботных игрищ. Веселись, пока не надоест. Спи, пока спится. А проснешься – снова байга или алты-бакан… Работы никакой нет, правда, и заработков тоже нет. Для всех, кроме табунщиков и чабанов. А о чем заботиться на кумысно-пьяном джайляу? Все от аллаха… И сам создатель ниспошлет тебе утреннюю трапезу. Кизмет – грех думать о будущем. Летом надо думать о лете, а о зиме – зимой…

На джайляу разные аулы оказываются по соседству. Смешиваются песни – их привозят новые певцы. Собранные из разных мест скакуны показывают свою скорость в байге вокруг озера Кайран-коль. На алты-бакане знакомятся девушки и джигиты, присматриваются. Сватовство здесь может кончиться ссорой, а ссора – прийти к сватовству. Навсегда могут разойтись друзья, а враги – примириться…

Шондыгул всех успел объехать, всем передал распоряжения Есенея. Теперь он издали заметил тобольского темно-рыжего коня – он легко мчался, не чувствуя тяжести тобольского тарантаса, в котором сидели трое. В городском коне, кажется, степь пробудила память о диких предках, и темно-рыжий несся, не касаясь копытами земли.

Мусреп едет? Да, Мусреп. И Шондыгул пустился ему наперерез.

– Доброго тебе кочевья…

– Спасибо за пожелание, Шонды-ага…

– Есеней велел передать – занимайте вашу отау, она стоит на новом месте, в Эльтин-жале.

– Так приезжай вечером… Отметим новоселье.

– Не смогу. Меня сам Иманалы пригласил.

– Оо!.. – выразил почтение Мусреп. – Если он, нам с ним не тягаться!

Они оба засмеялись, отлично понимая друг друга. Улыбнулась и Шынар – она уже была наслышана о младшем брате Есенея. И Науша, хоть не вполне поняла, в чем дело, тоже улыбнулась.

Отау заснеженным стогом выделялась в зелени травы. Шынар сразу побежала в юрту, Науша пошла следом.

Мусреп неторопливо – впереди было целое лето – распряг коня, снял украшенные темным серебром хомут и шлею, привязал темно-рыжего к поясу юрты. Тарантас он, взявшись за оглобли, сдвинул в сторону, чтобы не мешал, и потом оглобли задрал кверху. В юрту он не спешил – еще полюбовался и на коня, и на лакированный тарантас – коричневый лак золотился от солнца. Теперь в аулах, кто имеет хоть какую-то возможность, непременно обзаводится всем этим.

Издали донесся тягучий скрип арбы. Но ухо он не резал – к нему давно привыкли за долгие годы долгих дорог.

Из юрты выглянула Шынар:

– Мусреп, дело есть… Садись на коня – и к озеру, воды мне привези. А больше ни за чем посылать не буду.

Мусреп ускакал, звеня ведром. Шынар достала из тарантаса самовар, откинула крышку.

– Апа! – позвала она. – Поставим твой самовар, он быстрее закипает.

Скрип колес приближался. Шынар с малых лет знала присловье и сама пела:

Ног нету у нее,

А тянутся следы…

Руками держит лошадь за бока…

Услышишь в тишине издалека,

как песню давнюю

поет на все лады.

Асреп выехал раньше них, по дороге они его обогнали, теперь и он накоиец-то добрался до места, и его предупредил Шондыгул, куда сворачивать.

Летнее имущество двух семей уместилось на четырех арбах-двуколках. На кобыле, запряженной в головную, ехал Асреп, следом – тянулись еще две, привязанные одна за одной. На самой последней сидела Жаниша.

С протяжным стоном облегчения арбы замерли на месте. Никто не догадывался тогда, что их надо смазывать, оси и ступицы колес до крови стирали друг друга. Облегченно вздохнул и Асреп. Распряг кобылиц, которые еще не успели ожеребиться, и чересседельники закинул им на холки.

Шынар и Науша вышли помочь Жанише снимать поклажу. Еще дома Шынар настаивала – пусть она едет с ними в тарантасе, но уговорить Асрепа не могла. «А с кем же я буду ругаться по дороге на джайляу?

Мне обязательно нужен такой человек, а этого не вытерпит никто, кроме твоей женеше».

– Чай готов, келин? – спросил он первым делом. – Поздравляю тебя с твоей отау!

– Сейчас, сейчас будет, агеке, – откликнулась она. Ей было не до чая – только Жаниша слезла с седла, Шынар потащила ее осматривать отау.

Небольшая, из шести крыльев, белая кошма добротной выделки. О такой мечтают женщины-казашки происхождением из семей среднего достатка. На белой кошме веселили глаз разноцветные тесемки.

– Пусть счастье поселится в твоей отау, айналайн….

Внутри Дамели – вдова, одного возраста с Жанишой – быстро и ловко прикрепляла к решетке сплетенный чий, тоже разноцветный, изукрашенный узорами, что заменяет ковры на стене. Ей помогала дочка – девочка лет двенадцати-тринадцати. Она, видно, пошла в мать, руки у нее были такие же проворные. Муж Дамели, ровесник Асрепа, умер два года назад.

– А я сразу, как увидела, еще издали подумала – не иначе, Дамели ставила им юрту. Жива-здорова?.. Смотри-ка, Зейнет у тебя как вытянулась. Подойди сюда, айналайн.

И Дамели тоже подошла.

– Ты сама-то как? – Она тоже подошла к Жанише. – А твой муж?.. Смотри, на этом джайляу он из моих рук не ускользнет!

Жаниша не успела ей ответить – у ровесниц, так же, как и у мужчин-ровесников, принято постоянно подшучивать… В юрту вошли Асреп и Мусреп.

Асреп тоже пожелал:

– Добра тебе, Шынаржан. Юрта – не больше и не меньше, как раз что нужно.

– Пока вы тащились на своих арбах, мы юрту поставили, – самодовольно сказал Мусреп.

– Сам, наверное, шанрак поднимал? – спросил Асреп.

– Кто же, кроме меня?

– Дочь Шакшак-бия! Ты взнуздаешь когда-нибудь этого хвастуна, твоего мужа?

– С вами он дольше жил, агеке…

– Лошадей хоть сам распрягал?

– Что сам, то сам… Даже на озеро поскакал, воды привез.

– Верхом?

– Да, верхом, ведро – в руке…

– Выходит, уже взнуздала, – сказал Асреп. – Молодец, дочь Шакшак-бия… – Хоть с первого дня знал, что она действительно дочь Шакшака, а к бию никакого отношения не имеет, он и не думал отказываться от шутливого прозвища.

Мать Шынар хотела занести закипевший самовар, но путь ей преградила Дамели:

– Что ты! Как можно садиться за дастархан в юрте, когда не убраны вещи? К чему молодую келин приучишь с первых дней, так она будет поступать до конца жизни. Ничего нет хуже недоделанного дела и недопеченного хлеба.

О таком обычае навряд ли знают безалаберные братья полутуркмены, полуказахи! – Она нарочно поддела Асрепа и Мусрепа, за то, что они с ней еще не поздоровались. – А ты?.. Ты когда перестанешь бояться своей жены? – Этот вопрос она задала Асрепу.

Чай пили, расстелив дастархан на траве.

Но посидеть у самовара спокойно, не торопясь, как принято в любом казахском доме, не удалось. Из соседних аулов пришли девушки, молодые женщины, джигиты, набежали ребятишки.

В этих краях уже никто не помнил, кто его установил, но твердо соблюдали обычай: на джайляу молодежь сперва ставит юрты людям, достигшим почтенного возраста, потом – юрты вдов и сирот. Юрты молодоженов остаются под самый конец, чтобы у них, собравшись вместе, можно было повеселиться, подурачиться.

Поляна зашумела смехом, веселыми возбужденными возгласами. Но при всей толчее – каждый знал, что ему делать. Мгновенно были разобраны вещи с арб – и при таком количестве работников, вскоре юрту Асрепа принялись крыть кошмой… Двое джигитов не поленились притащить с озера четыре ведра воды. А четыре девушки насобирали и принесли два мешка кизяку.

А как только женщины занялись приборкой внутри, джигиты перед юртой Мусрепа вырыли яму под котел. Вода, кизяк, яма… Можно ли яснее дать понять – ставьте самовар, закладывайте в котел мясо. Кому справлять первое новоселье на джайляу, если не молодоженам?

– Баран-то хоть есть у тебя? – тихо спросил Асреп брата.

– Найдем…

– Ты найдешь…

Шынар с помощью трех или четырех новых подружек убралась в своей отау. Дамели и Науша распоряжались – куда какой сундук поставить, где сложить постельные принадлежности.

– Все на месте, кажется… – сказала Дамели. – И все как надо! Ни добавить, ни убрать!

Когда дела были закончены, молодежь отправилась к озеру купаться. На обратном пути прогнали шумливых надоедливых ребятишек, чтобы не мешались под ногами. Подходя к поляне, гадали – если дом щедрый, то хозяйка юрты встречает в открытой двери, а самовар кипит, окутываясь паром.

По обычаю в отау, у молодоженов, молодые женщины могут чувствовать себя свободно. Для них – лучшие места, а так – и в своем доме, кто бы осмелился пройти на торь? Чай, еду им подносят наравне с мужчинами, никакого различия. Ничего зазорного нет в шутках, хохоте. Звенит домбра, льются песни.

На таких вот празднествах у молодоженов, а еще – вечерами на алты-бакане, с блеском проявляются девичьи дарования, но как часто потом они чахнут в годы замужества, и лишь иногда, к сожалению, очень редко, снова вспыхивают яркими, но быстро гаснущими искрами…

Шынар и Жаниша держали вход в отау открытым. Самовар кипел. Пламя снизу охватывало котел, и котел клокотал, не желая молчать, если расшумелся самовар.

Подражая пожилым, молодежь степенно здоровалась:

– Здравствуй, келин… Здравствуй, айналайн… Расселись в обеих юртах, в одной все бы не уместились. В отау девушки расхватали подушки, заняли почетные места и с важностью расспрашивали хозяйку:

– Все ли у вас живы? – Это было принятым пожеланием, чтобы дом никогда не оставался без гостей.

Потом – со смехом уложили подушки обратно на место и принялись на разные лады:

– А юрта?.. Черная, дырявая! Неужели моль изъела?

– Не повернешься! С торя ногами до порога достаешь!

– А сундуки! Потрескались, перекосились – зубья торчат, вот-вот схватят!

– Видно, большая неряха хозяйка этого дома!

– А муж! Не лучше нее!

Так полагалось, чтобы сберечь отау от дурного глаза. Когда заклинания кончились, принесли чай.

– Слышал?.. У Есенея гостит какой-то русский, зовут – Бедретчик. С ним писари… Чего-то пишут…

– Записали названия всех наших зимовок…

– У кого есть недоимки по налогам, пусть пока держатся подальше от аула!

– А привел их сюда подлый Тлемис! Этот никого не пощадит!

Весть породила тревогу, кое-кто действительно на время постарался скрыться подальше с глаз Бедретчика и его писарей. Но вскоре Бедретчик уехал, и тогда разнесся досуеверный слух, что все недоимки всех сибанов заплатил Есеней, сам.

Какой-то русский Бедретчик – это был подрядчик, родом из казаков, Иван Мекайло Пушкарь, по прозвищу Черный. Приезжал он заключить договор с Есенеем на постройку усадьбы, посмотреть место, где ставить большой дом из четырех комнат и особняк для гостей из двух. Договорились еще построить два сарая для продуктов, белую баню.

Никаких разговоров о налогах, о поборах больше не было, и те, кто благоразумно скрылись, стали возвращаться в аулы… Оказалось, и Тлемиса зря обвиняли в подлости и коварстве.

Есеней отметил переезд на джайляу лишь после того, как покончил со всеми делами.

От мала до велика – всех позвал, кто проводил лето у озера Кайран-коль. Приехал со своими даже Иманалы, до сих пор чувствовавший себя оскорбленным.

Гостей принимали с почетом. Аксакалам подавали головы стригунов с зияющими глазницами, мужчинам помоложе – бараньи головы с

покорно зажмуренными глазами и растерянно торчащими ушами. Кумыса было выпито, наверное, не меньше, чем воды в Кайран-коле.

После угощения Есеней повел аксакалов и карасакалов к горбатому холму за аулом. На этом холме – холме совета, холме решений – он давно уже не собирал сородичей. В советах он не нуждался, решения принимал сам. То, что хорошо для него, считал Есеней, хорошо и для всех сибанов. Его сила, его слава закрывала их надежным щитом. Он никогда не задумывался и о том, что подневольное, бесправное положение мешает людям, и ходят они по жизни, как спутанные кони.

Улпан, волею случая и его поздней любви вошедшая в его юрту, заставила Есенея задуматься об этом, и она – незримо – присутствовала сейчас на холме, когда он говорил:

– О мои сородичи!.. Долгие годы я не замечал, в каком вы находитесь жалком состоянии, но теперь повязка спала с моих глаз. Я видел старые зимовки… По пути на Кайран-коль наблюдал за перекочевкой. Вы еле добрались до джайляу – кто на старых клячах, а кто и пешком. А дальше?.. Без меня никто не посмеет тронуться с места, вы пробудете здесь до глубокой осени, а там – снова на старые зимовки, и так из года в год. Дети, женщины снова будут дрожать от холода. Из тех малышей, которые кое-как дотянули до зимы, половина, не больше, увидит наступившую весну… Разве мы станем сильным, влиятельным родом, если и дальше продолжится такая жизнь? Я сегодня позвал вас, чтобы поговорить об этом, посоветоваться с вами…

Седой Бакберды, первый среди старших, внимательно взглянул на Есенея и сказал:

– Я слышу – бог собирается вложить в твои уста добрые слова, разумные слова… Выскажи их до конца, Есеней.

– Выскажу… Давайте для начала перестанем проводить в юрте не только лето, но и зиму. Ничего нет стыдного – попробовать жить, как живут другие люди, русские. Пусть нашим женщинам и нашим детям будет тепло. Я выделю земли из своих владений, только бы вы строили себе избы. А я сам… Мой дом будет на берегу Суат-коля, скоро его начнут русские мастера. А еще вспомните пословицу: «Никогда не разбогатеет бедняк, если с лета не запасется на зиму». Надо и сено косить, и хлеб сеять. Асреп и Мусреп так делают, спросите, плохо ли им от этого?

Он объяснил, какому аулу какие участки достанутся. Тишина нарушилась возгласами:

– Будет земля – дома построим!

– А сено косить? Не хитрое дело, чтоб нельзя было научиться махать косой!

– Да!.. Но только если у тебя есть, где косить! Кричали многие, кое-кто отмалчивался, один Иманалы, родной брат, по своему обыкновению принялся вздорить:

– Кто хочет, пусть строит проклятые дымокуры! Зимние дома! Пусть каждый сам решает! Мне они и за копейку не нужны. Наши деды, наши прадеды и рождались, и вырастали, и умирали в юртах из кошмы! И – ничего, не погибали…

– Построишь… – коротко сказал Есеней.

– Никогда!

– Смотри… Тогда плохо тебе придется, не обижайся.

– А если и стану строить, только в Эльтин-жале. Моя земля! Мои владения!

– Я сказал – Эльтин-жал отдаю аулам Еламана и Акдарбай-Отарбая…

– Я лучше сожгу Эльтин-жал, чем отдам Туркмену!

– А ну прочь! – загремел Есеней. – Прочь! Из-за тебя половина сибанов разбежалась кто куда! Прочь! Чтоб не видали тебя мои глаза… Будет так, как я сказал! Прочь!

Есеней дрожал от ярости, такие приступы с ним случались не часто, потому что не часто ему осмеливались противоречить… Даже Иманалы не видел его таким, он испугался, вскочил и побежал по склону холма.

Есеней долго молчал, прежде чем почувствовал, что может спокойно обратиться к своим:

– Об этом обо всем я и хотел вам сказать…

Он поднялся и пошел к своей юрте.

Стали расходиться и аксакалы, карасакалы. Между собой они осуждали поведение Иманалы и просили всемогущего аллаха, чтобы он продлил дни Есенея и его байбише – Улпан.

Пока мужчины на холме, Улпан собралась напоить чаем пожилых женщин.

Дамели развернула большой узорчатый дастархан – расстелить на полу, и тут в юрту ворвались не знающие удержу сыновья Иманалы, мальчишки двенадцати и тринадцати лет. Они бежали напрямик, и дастархан оказался у них на плечах. Они растянулись на коврике, где всегда сидел Есеней, кривлялись, строили рожи, а накрывшись дастарханом, принялись ползать по полу, натыкаясь на сидевших женщин. Те не решались ничего сказать, в юрте наступило молчание…

Не побоялась Дамели.

– Айтолкын… – обратилась она к матери мальчишек. – Ты почему им позволяешь?.. Почему не скажешь, чтоб перестали?

Но у Иманалы вся семья была похожа на него.

– Ах ты лизоблюдка! Выслуживаешься! – в голос закричала Айтолкын. – Мои сыновья, что бы они ни делали, они в своем доме! Они хозяева! Пусть разные приблудные женщины не думают, что будут верховодить в нашем ауле!

– Жаль, не мой дом… – сказала Дамели, она тоже знала самые разные слова. – Будь мой, я бы прогнала их пинками под зад, как собак! – Она вырвала у мальчишек из рук дастархан, замахнулась: – А ну, пошли отсюда!

Они еще покривлялись, подразнили Дамели – язык ей показывали, но все же выбежали из юрты так же стремительно, как ворвались.

Первой тишину нарушила Улпан:

– Келин, запомни… – На Айтолкын она не смотрела, говорила тихо. – Когда еще раз придешь в эту юрту, не повышай голоса. Семь лет в этой юрте не было хозяйки. Думаешь, тебе – все разрешено? А настало время – и хозяйка может сказать: пойди вон…

Только принялись за чай, как снаружи раздался отчаянный крик верблюжонка, потом возглас Кенжетая: «А вы, собачьи дети, что делаете?», и следом завопили мальчишки, будто их режут…

Улпан, услышав крик своего любимца, выскочила… На днях она велела отгородить арбами часть поляны для белого верблюжонка – он уже прочно стоял на ногах, и верблюдица порывалась с ним отправиться на родину. Как только ветер дул с юга, из далеких краев, откуда ее привели, она задирала голову и упорно шла, шла в сторону, пока ее не догоняли и не поворачивали обратно.

Мальчишки, ухватившись руками пониже спины, катались по траве и продолжали вопить.

Улпан сперва засмеялась – попало, и поделом… Но потом ахнула и побежала к загону. Верблюжонок беспомощно мотал головой, из глаз у него текли слезы, он хныкал, как маленький ребенок. С пастбища, выбрасывая вперед длинные ноги, к нему бежала верблюдица. Она с разбегу ударилась об арбу и наваливалась на нее, пока джигиты не открыли ей проход.

Хныкать верблюжонок перестал, ткнулся к матери, зачмокал молоком. Поднял голову – один глаз у него был закрыт, очевидно, от удара палкой или камнем. Улпан дала ему соли, пощекотала под горлом, почесала за ушами.

На вопли мальчишек примчалась Айтолкын.

– Убили! Убили моих детей! Кто посмел поднять на них руку! Наглые пришельцы теперь у нас хозяева! Чтоб калмыки захватили этот аул!

Она только начала, а в запасе у нее был богатый набор женской матерщины, какой не знают в России или Европе… Но тут она вовремя заметила Есенея, который шел к юрте от холма.

– А ну, домой!

Мальчишки тоже увидели Есенея, и вопли мгновенно прекратились. Глаза у них были сухие, и они пошли за матерью, только на прощанье показали языки Кенжетаю, который невозмутимо стоял в стороне с хворостиной в руке.

Улпан и Есеней встретились у входа в юрту.

– Что тут, Улпан?.. Ты вся красная, будто долго бежала…

– А-а, ничего… Дети тут… Пойдем, чай готов. А с тобой что?

– Тоже ничего. Собрались, договорились обо всем… Пока она ходила, женщины в юрте поносили Айтолкын: – Чтоб ей стать клятвопреступницей и чтоб ее за это покарал аллах! Какие проклятия нам посылала! Как смела – призывать, чтобы калмыки захватили наш аул!

– А дети?.. Грех желать, но чтоб они легли в сырую землю, не будет никому от них покоя!

– Пусть долго живет Улпан… Улпан ее научит…

Голоса смолкли, стоило Есенею, наклонившись, войти в юрту. Молодые женщины встали и поклонились ему, а пожилые наперебой стали оправдываться:

– Мы не виноваты… Улпан заставила нас устроиться на почетных местах…

– Бий-ага, среди нас – две или три, которые переступали порог этой юрты! А на почетных местах – никто не сидел…

– Улпан заставила…

Есеней сел – почти рядом с ними.

– Пусть, – сказал он. – Если Улпан сказала что-нибудь, не спрашивайте, что скажет Есеней… Улпан заново показала мне дорогу к моему роду, роду сибанов. Оказывается, у меня есть такие келин – они достойны не только почетных мест в юрте Есенея, они будут заметны и в доме белого царя!

Молодые женщины заулыбались, и у каждой на лице читалось: «Это он про меня говорит…» Есеней продолжал:

– А посмотрите вон на ту келин… По имени Шынар. Когда она впервые вошла в этот дом, сразу заняла самое почетное место. Шынар, не прячься, иди-ка, сядь рядом.

До этого Шынар сидела возле Улпан, самовар разделял их, и сейчас Улпан подтолкнула ее.

– Зовут – иди… Тебя в этом доме балуют, как меня не балуют!

Шынар покраснела, отчего смуглее стала кожа на лице.

– Иди, иди… – притворялась обиженной Улпан.

– Садись поближе, – подвинулся немного Есеней и объяснил второй соседке, самой старшей среди женщин: – Эта келин меня называет просто по имени…

Старуха удивилась:

– Да? Это правда, шырагым?

– Сами заставили, я не соглашалась…

– Улпан, наверное?..

После тоя по случаю переезда на джайляу, после разговора на холме совета, после женского чаепития в юрте Улпан – люди из рода сибан, люди вроде и свободные, но – зависимые, почувствовали прилив надежд. Что-то менялось в их судьбе. Многие превозносили Есенея – под старость лет стал думать о боге, вспомнил о сородичах… А женская половина – не Айтолкын, понятно, – на все голоса расхваливали Улпан: «Наша! Дочь бедняка! Видно, родилась на счастье обездоленных сибанов».

А в тот раз, когда женщины стали расходиться, Улпан попросила Шынар задержаться. Улпан прикидывалась, что ревнует Шынар к Есенею, а Есеней отговаривался – он вспоминает свою молодость, когда видит Шынар…

И Есенею, и Улпан надо было сейчас, чтобы с ними находился кто-то третий, пока не растворился горький настой обиды. Улпан понимала, каково будет Есенею, если он от нее услышит проклятие,

произнесенное Айтолкын: «Пусть этот аул захватят калмыки». А Есеней тоже не мог передать ей слова младшего своего брата: «Я лучше сожгу Эльтин-жал, чем отдам его Туркмену!» Так старается Улпан навести порядок в аулах, а поперек дороги все время становится Иманалы…

Они не заговорили об этом и когда остались вдвоем.

– Есеней, что за тюки загромождают нашу большую юрту? Что в них? И что в сундуках, которые еле закрываются?

– Если бы я помнил… – вздохнул он. – Разные вещи. Давно я не заглядывал туда. Наверное, и плесенью все покрылось, черви поели, моль поточила. Пахнет затхлым, это и беспокоит тебя? Я бы рад был – развесь, посуши, от ненужного освободись.

На другой день Улпан с помощью Дамели и ее дочери Зейнет таскали и таскали вещи из большой юрты, из юрты для гостей. Поляны еле хватило, чтобы разложить дорогие одеяла, ковры, кошмы, шубы, кафтаны! Кое-что было попорчено, и все же о сохранности вещей позаботились лютые морозы Сибири.

Есеней едва взглянул на свое богатство, повторил, чтобы Улпан избавлялась, как ей вздумается, и заторопился к озеру, только махнул Мусрепу, который ходил возле своей юрты, неподалеку.

Улпан принялась за дело. Двенадцать волчьих шуб и двенадцать кафтанов она послала двенадцати аксакалам, передав слова Есенея: «Во время тоя, когда праздновали мою свадьбу с Улпан, мы не успели достойно одарить почтенных людей, теперь вот посылаю, примите в знак уважения». С теми же словами почти двадцать лисьих шуб было отправлено наиболее прославившимся среди сибанов карасакалам.

Женщинам подарки Улпан раздавала сама – ковры, ни разу не развернутые, одеяла, которыми никто не покрывался, подушки, на которые никто еще не преклонял головы. Давала кошмы. И еще по фунту чая.

Шондыгулу, который развозил подарки мужчинам, и Дамели Улпан сказала:

– Берите сами, что понравится…

Они долго отказывались, наконец, под ее нажимом, Шондыгул признался:

– Кошмы бы немного… Юрту надо подлатать. Улпан заставила его взять столько кусков, что не латать – новую юрту можно поставить.

Дамели напомнила – Зейнет, ее единственную дочь, пора в скорости выдавать замуж. Улпан отобрала для нее полное девичье приданое – всего хватало в сундуках Есенея.

– Если мы чего забыли отложить, напомнишь, Дамели-апай…

Она заставляла и Шынар:

– Ты что ходишь вокруг с пустыми руками? Брала бы что-нибудь для себя, для дома!

– Мы и так еле добрались на джайляу со своим барахлом, – отказалась Шынар. – Даже подумывали – как избавиться, может, тебе что-нибудь отделить…

К вечеру, когда снесли обратно то, что осталось, порожними оказались десять сундуков, и десяти тюков как не было.

Есеней весь день не показывался дома, а когда вернулся, то не узнал собственную юрту.

– Е-е, Улпан! Выходит, у нас в юрте и повернуться теперь можно? Ты настоящая колдунья, оказывается, в нашем доме можно жить…

За день Улпан заменила постель. Исчез запах затхлости. Нижний край кошмы был подвернут, и ветер доносил терпкий запах густых степных трав.

– Что могла, то сделала, – скромно ответила Улпан, но глаза у нее сияли.

– Что могла?.. Ты много сделала! Я буду отныне звать тебя – моя Акнар…

– У нас уже есть белая верблюдица, как только ветер с юга, надо за ней следить, чтобы не ушла…

– Я и за тобой услежу… А скажи, что у казахов священнее, чем – акнар?.. Сильнее?.. Дороже? Прекраснее?

– Хорошо. Если так, – так меня и зови. – Она повернулась к Шынар, которая оставалась помогать ей. – Слышишь? Скажи, хорошее имя?

– Имя-то хорошее, но – белая, слишком почетно для тебя. Но так говорит бий-ага, и нам поневоле приходится согласиться. Смотри, Улпан, – нет такой тяжести, что была бы не под силу для акнар… Значит, и тебе придется…

– Будешь, будешь звать меня – Акнар! Послушай, Есеней, что делается? Что-то есть между вами. Эта баба постоянно издевается надо мной, позволяет себе говорить высокомерно!

Есеней посмеивался:

– Пусть среди сибанов будет хоть один – один человек, который говорил бы Улпан, что он думает о ней…

– Вот! Ты опять потакаешь ей! Чтобы за Шынар осталась победа!

– Оставайтесь такими, какие вы есть, и победа всегда будет за вами обеими, – сказал он. – Акнар, Шынар – эти имена хорошо подходят одно к другому. А теперь – вы за день натаскались, устали, идите к озеру, искупайтесь.

Добрая молва о действиях Улпан кочевала от одного аула к другому, по всему джайляу, где собралось население двух округов, где они сообща проводили празднества, разбирали старые тяжбы и заводили новые. Благие дела Улпан, то, что успела она сделать, обрастало подробностями, словно разные люди пересказывают один и тот же дастан…

– Она дала юрты тем, кто их не имел. Дала лошадей тем, у кого не было лошадей. У сибанов теперь нет неимущих семей, хоть бы для показа оставили! Строят зимние дома, наподобие русских изб, с помощью Улпан.

Другой знающий поправлял:

– Ее настоящее имя не Улпан. Акнар ее зовут, Акнар. Родом из очень знатной семьи.

– Говорят, она дочь бия из дальних краев – Артык-бая.

– Нет! Не дочь бия, она внучка хана по имени Артык-бай!

– Наверное, правда… Если бы не ханской крови, как могла бы она?.. А так, слыхать, крепко поругала Есенея: «Твои сородичи – нищие, тощие… Так и стерегут подачку». Теперь у сибанов не только Есеней, есть и Акнар…

В этих пересудах много было вымысла, но была и правда. Батыр Артыкбай ни к ханам не имел отношения, ни к биям, на всем протяжении своего рода от общего для всех предка по имени Адам-ата… Удивительно было бы другое – если бы дочь бедной семьи не сочувствовала беднякам, если бы не считала позором для себя

бедность аулов. Бывали, конечно, случаи, когда обездоленные девушки, выходя замуж в богатую семью, становились такими же чванливыми, жадными, как их новые родичи. Но только не Улпан-Акнар.

Она и сама не понимала, что с ней происходит, но чувствовала, какую радость может доставить участие в переустройстве жизни, когда видишь плоды своих действий… То ли от бога были у нее эти качества, то ли жизнь ее научила, но Улпан презирала мужчин безвольных, забитых, неприхотливых, привыкших к своей зависимости. Пусть семья Есенея останется в одиночестве, лишь бы племя сибанов воспряло духом…

Поначалу у многих появилось обостренное чувство – мое. Стоило им обзавестись двумя-тремя головами скота, они принялись делать метки на ушах своих жеребят, своих ягнят. Два раза пересчитывали их – рано утром и вечером, а что там было пересчитывать… Теперь все хотели – поставить зимние дома, чтобы не хуже быть соседа, и потому с нетерпением ждали, когда Есеней снимется с джайляу.

Улпан не заставила людей долго ждать. Прежде аулы оставались на джайляу не меньше пяти месяцев, до самых проливных осенних дождей. Улпан – через два вынудила их вернуться к местам зимовок. Чабанский посох, курук табунщика, как выяснилось, вполне могут ужиться с работящим топором и звонкой косой-литовкой. Из полугода, когда люди вынужденно бездельничали, они получили добавочно три страдных месяца, тамыз-август, куйек-сентябрь, казан-октябрь. Зимние дома недавних кочевников должны были стать обитаемыми во все времена года, но они об этом не догадывались, когда забивали первые столбы на отведенных им участках…

Не покинул джайляу один-единственный аул, и это был, конечно, аул Иманалы. При нем жили пять или шесть семей сибанов, происходивших из калмыков. Они давным-давно стали казахами.

После того, как стало ясно, что Иманалы никуда не собирается, двое из них – Сагиндык и Кайкы – пришли к Есенею.

– Мы жаловаться пришли… Можно, Есеке, жалобу?

– Говорите…

– Мы ведь тоже сыновья этого рода, не правда ли, Есеке? – спросил Сагиндык.

– Правда…

– Ваш далекий предок, славный Кошкарбай-батыр одного казаха и одного калмыка послал к крепости шуршутов… На прощание он им сказал: «Если мой сын-казах возьмет крепость, пусть жертвой за него будет мой сын-калмык… А если мой сын-калмык возьмет крепость, то жертвою за него станет мой сын-казах».

– В том, что ты говоришь, нет ни слова лжи.

– Крепость шуршутов взял наш предок Сагал-батыр. Он освободил из плена жену родственника Кошкарбай-батыра, погибшего в бою, она была у шуршута наложницей.

– И это верно. Ее имя было – Айбарша-сулу.

– Кошеке свое слово сдержал, он выдал Айбаршу за Сагала. Да…

– От них пошли мы… Но наши шесть семей до сих пор считаются калмыками! Мы хотели бы тоже получить свободу, как ваш карашы-аул. И сено косили бы… Зимние дома построили бы…

Есеней задумался. Действия Улпан многое меняли в привычном укладе жизни сибанов. Освобождение?.. От чего? От рабства, наверное. А в рабстве они у кого были? У него у самого? Он взглянул на Улпан, и она улыбнулась в ответ.

Есеней объявил решение:

– Иманалы – как хочет. Пусть сам решает, переезжать ему или нет. А вы переезжайте! Начинайте зимнее жилье – на месте зимовки, которую я выделил брату. Там будете жить.

После возвращения с джайляу Улпан покоя не знала и была очень довольна этим. Дома себе люди строили, сено косили – в самую рань их уже можно было встретить неподалеку от лесов, на травянистых полянах, где у кого были участки. Только Иманалы со своим упрямством торчал, как нож под сердцем.

Строилась и ее усадьба. Судя по всему, главный дом, рубленый, из четырех комнат, к зиме построят. Осталось три бревна нарастить, а там – крыть крышу. И основание – мастера называли: фундамент – под особняк для гостей тоже заложили. Только баню еще не начинали, и Улпан беспокоилась.

Черный Иван Мекайло Пушкарь обнадеживал ее:

– Чего там! Легче легкого… Как баню начнем, за две недели закончим!

Будущая усадьба была уже огорожена, окружена рвом. С утра до вечера здесь деловито стучали топоры, будто забралась в лес стая огромных дятлов. Визгливые пилы всеми своими зубьями вгрызались в золотистые ошкуренные бревна, и там, где росли березы и осины, пахло смолистой сосной.

Издали доносился стрекот сенокосилок, будто в степи появились огромные кузнечики. В окрестностях усадьбы сено было скошено, заскирдовано, и сенокосилки отошли дальше. Эти жесткие железные звуки, впервые услышанные Улпан, больше не казались ей странными.

Она через день ездила на стройку, потом – на покосы. С ней в тарантасе сидела Дамели, она ведала раздачей мяса и кумыса,

держала чай и сахар. Улпан за это время узнала немало русских слов. Кумыс русские мастера называли – шампан, мясо – махан, казахов – киргизами. Улпан у них – кожайка, кыз – депка, катын – баба, пышак – нож. Поначалу она думала, что сеники – значит, моя, меники – туая. Но оказалось наоборот, меники – моя, а сеники – туая…

Она навещала не только своих, но и косарей соседнего аула. Привозила им мяса, вкус которого они за лето могли бы и позабыть, поила чаем. Этот чай, оставшийся на донышке, они заваривали и на следующий день. Улпан сидела с ними, разговаривала, спрашивала – что передать домой… С ними ела их еду – коже, постную, без запаха мяса, похлебку. Ее радовало, что их намерения строиться не оказались пустыми словами. Как только накосят сена для своего небогатого скота, сразу и начнут ставить зимние дома.

Возвращалась она поздно, и Есеней целые дни проводил один. Неожиданно за ним прислали – ему предстояло принять участие в разборе пограничных споров, которые постоянно возникали между сибирскими и оренбургскими казахами из-за пастбищ. Неожиданно это было потому, что он давно уже начал отходить от таких дел. Его честолюбивые надежды получить чин ага-султана не оправдались, не сумел помочь омский родственник Турлыбек. И последние семь лет особенно Есеней занялся своими табунами, охотой, жил, как живется, и постепенно тускнела слава бия, справедливого в своих решениях.

Теперь ему казалось, что о нем вспомнили благодаря Улпан, которая вернула его к жизни. Сама она об этом и не подозревала, но Есеней думал именно так.

– Милая моя Акнар, – сказал он ей перед отъездом. – Вот видишь, с твоей помощью и я снова становлюсь человеком.

– Нет, нет, нет, Есеней! – не согласилась она. – Это ты – высокий тополь, тень от которого падает на расстояние дневного пути! А я? Я –

серый жаворонок на твоих ветвях. Молю бога, чтобы он позаботился о твоем благополучии. Что бы со мной было без тебя?

Есеней отправился в путь, снова чувствуя себя сильным и молодым.

Улпан осталась, а хуже всего – быть одинокой в собственном доме, места не находишь… Она послала Зейнет, дочь Дамели, за Шынар, а у них никого, кроме Науши, не оказалось – все на сенокосе.

Улпан позавидовала. Шынар сейчас среди своих. С утра, должно быть, раза два успела искупаться в озере и греется, развалившись на траве. Или следом за Мусреп-агаем подбирает сено граблями и успевает переглянуться с ним краешком глаза, и рот у нее растянут до самых ушей в улыбке. Завтра надо навестить их.

Вечером в аул вернулся Салбыр, который доставлял мастерам воду и топливо. Человек это был робкий, и сейчас, с порога юрты, не решаясь его переступить, не глядя в лицо Улпан, он сказал:

– Русские уехали, все уехали… Той у них – какой-то «празнек». Меня послали предупредить – кожайка собиралась завтра, пусть не приезжает, никого из них не будет…

– А сторож?..

– В своем шалаше сидит…

Салбыр своими вестями нарушил завтрашний день. Ей уже чего-то не хватало, если она своими глазами не взглянет, сколько бревен прибавилось в стенах дома. Снова Шынар выгадала – весь кумыс, приготовленный для мастеров, достанется ей. Ну ничего… Ночевать Улпан останется у них, пусть ухаживают… Но сегодня… Сегодня целая ночь впереди, долгая и пустая без Есенея.

Улпан позвала Зейнет:

– Айналайн… Собери девушек, пусть алты-бакан поставят.

С алты-бакана Улпан вернулась на рассвете и проснулась только в полдень. Сходила на озеро. А когда вернулась, у порога ее ждал Салбыр.

– Я смотрю – дым идет не оттуда ли, где ваши дома? Больше он ничего не добавил, только кивнул в сторону усадьбы.

Улпан заспешила:

– Дамели-апай! Пусть запрягают! Быстрее! Дамели в юрте ждала возвращения Улпан, и уже шумел самовар, но тут же она вскочила, запричитала:

– Ойбай-ай!.. Беда!.. Что стоишь, чтоб тебя дьявол задавил! Кулатай, скорей за конями!

Когда кони домчали до усадьбы, над большим домом плясали багровые, а снизу черные языки пламени. Сухая сосна трещала, будто лед ломался на летнем озере, а то – треск стихал, казалось, дерево не горело, а плавилось. Улпан стояла шагах в пятидесяти, но жар все равно опалял лицо. Хорошо еще, ветра не было. Огонь и дым не метались, а ровно поднимались к небу.

С покосов сбежались мужчины, но сделать ничего было нельзя, не подойти к дому. Срубали молодые сочные березы – ими прикрыть штабеля сосновых бревен, уберечь от огня… Асреп велел поджечь траву с подветренной стороны, чтобы огонь не перекинулся в степь. Мусреп и с ним еще несколько джигитов кетменями резали куски дерна и молниеносно переворачивали их землей кверху, передавая тут же кетмени из рук в руки. Чуть ветер – и огонь может перекинуться на изгородь, уйти за ров, и тогда с ним не сладишь.

Подведенный уже под крышу большой дом сгорел дотла. Ярким факелом пылал сруб соседнего с ним гостевого особняка. Но догорел и он – рухнули стены, рассыпая искры.

Верблюд Салбыра, запряженный в бочку, пригодился лишь для того, чтобы возить воду и заливать тлеющие головешки.

Груда серой золы, которую принялся раздувать поднявшийся ветер, – вот все, что осталось. Улпан – единственная женщина на пожаре – не произнесла ни слова, как спрыгнула с тарантаса и сразу поняла: сделать ничего нельзя, пожара не затушить.

Когда все было кончено – огню все же не дали перекинуться на строевой материал, не дали уйти в степь, – джигиты стали подходить к ней, говорили слова утешения. Улпан была спокойна, и это многих удивило. Она не высказывала своей горечи, только поблагодарила за помощь – они сбежались тушить пожар, стоило им заметить над усадьбой густой и черный дым.

Пожилые по-своему поддерживали Улпан в ее спокойствии:

– Все от бога нашего…

– Это хорошо, шырагым, что ты не ропщешь. Грех – роптать на волю божью…

Улпан сказала:

– Я не думаю, что бог приказал кому-то сжечь дом Есенея.

Она с покорностью улыбнулась, но люди поняли ее слова так, как она и хотела – аллах ни при чем, не аллах вызвал пожар, скорее – шайтан.

– Шайтан знает, через кого действовать… Но не улетит же такой человек на небеса, ходить будет по земле…

– Лишь бы остались целыми уши у наших баб, – сказал Асреп. – Если не сегодня, то завтра, если не одна, то другая – услышит об этом.

Мусреп добавил:

– Надо еще только, храни аллах, чтобы и языки у них не поотсыхали…

Улпан благодарно улыбнулась им – в беде они старались шутками подбодрить ее. Но и этого ей не требовалось – она, хоть и устала очень, но решимости в ней не убавилось.

На следующий день Тлемис приехал в сопровождении подрядчика – Черного Мекайло. Подрядчик тоже говорил слова утешения, мялся, хватался за голову, стоило прикинуть убыток.

Улпан выждала и обратилась к Тлемису:

– Передай ему, что я скажу – слово в слово. Пусть бедретчик завтра же шлет мастеров. Кирпич не горит… На том же кирпиче встанут новые стены. Если кто-то думает, что я испугалась дурной приметы, что я после пожара побоюсь строиться на том же месте, – тот ошибается. Знаю я эти плохие приметы и дурные предзнаменования! Дом будет здесь стоять…

Подрядчик встревожено прислушивался, но когда Тлемис перевел ему, Пушкарь кивнул одобрительно:

– Верно говорит… Для двух домов есть два готовых фундамента… Не бросать же их.

– Фундамынт… – подтвердила Улпан, услышав знакомое слово.

– Поставим лучше, чем было!

Улпан посчитала еще нужным добавить!

– Я поняла, как ты, Тлемис, мне переводил… Черный Мекайло беспокоится. Ущерб, убыток… Одну треть я приму на себя. Но чтобы к зиме большой дом был готов, баня и один сарай.

Пушкарь обрадовался, хоть и постарался не показать вида… Если бы пришлось судиться, весь ущерб от пожара возмещал бы он. По договору – подрядчик должен был наладить охрану, круглосуточную.

На прощанье он бесконечно восторгался щедростью Улпан. С тем и отбыл.

15

Ездили уже на санях.

Под вечер Улпан в легкой кошеве для недальних поездок остановилась возле своего дома. Послышались колокольцы. Или начальник округа, или кто-нибудь из далекого Омска, от Турлыбека, который не часто, но дает знать о себе… Тяжелая тройка – в таких санях ездят русские – не сбавляла хода и замерла. Затихая, позванивали колокольцы под дугой.

Первым с облучка соскочил солдат в шинели, а из розвальней шагнул на снег высокий человек в волчьей шубе со стоячим воротником, в черной каракулевой папахе. Одним движением он скинул шубу с плеч на руки солдату – молодой, в офицерском мундире – направился к Улпан, она стояла у крыльца.

Есенея дома не было. Около месяца назад он уехал размещать на зиму табуны и до сих пор не вернулся. Улпан без него перебиралась в новый большой дом, всего лишь четыре дня назад. А особняк для гостей достраивали.

Проезжий офицер поздоровался с ней по-казахски:

– Улпан-женгей, ассалаумаликем… Если позволите, мы переночуем у вас. Вечер застал нас в пути.

Теперь Улпан узнала его. Три года назад видела в Тобольске. Кази Валиханов, он приходил к Есенею представится, выказать почтение. Пришел к Есенею, а за чаем глаз не отрывал от Улпан. Ей очень хотелось, как в детстве, показать ему язык, но она только подняла глаза и – тоже пристально, как бы не понимая, что ему надо, – посмотрела на него. Кази отвернулся и больше на нее не поглядывал…

– Прошу вас, – пригласила она. – В этом доме лошадь гостя никто не ударит… Жаль, дом еще не готов, соседний. Вам придется переночевать в этом…

– Очень хорошо, что не готов, – сказал Кази. – В любом случае я бы выбрал тот, где живете вы.

Улпан сделала вид, что не понимает смысла его слов.

– Прошу… – повторила она.

Абылкасым – пожилой человек, конюх и кучер на службе у Улпан – провел гостя в дальнюю комнату.

Кази был внуком Губайдуллы, старшего сына Валихана от старшей жены. Губайдулла – после смерти отца в 1818 году – был уверен, что унаследует ханство, что генерал-губернатор Сибири титул хана предложит ему. Однако в степи наступало время перемен. О возобновлении ханской власти никто не помышлял. Отправленные губернатором чиновники привезли Губайдулле глубокие соболезнования по поводу кончины Валихана, богатые подарки и красивую плотную бумагу – патент о присвоении воинского чина майора. А в личном послании губернатор величал Губайдуллу ага-султаном, в соответствии с его будущей должностью. Просил также уступить ему земли, пригодные для обоснования нового города Кокчетава…

Если бы надежды его сбылись, Губайдулла без малейшего сожаления отдал бы земли столько, что десять городов разместилось бы. Губайдулла – в ярости – места себе не находил. Русские правители не признали его права получить титул хана по старшинству родства? Значит, с русскими не по пути! Он их враг. Они его враги. Губайдулла призвал из аулов вооруженных джигитов, и часть войска направил в сторону Улытау, а часть – в Кишитау, поставив во главе своих родичей, тоже чингизидов, Есенгельды, Саржана, Кенесары. Во

дворце белого царя его советники считали, что в орде произошел раскол и половина ушла в сторону Улытау, а там уже создавались боевые дружины. Так, у истоков того, что впоследствии называли мятежом Кенесары, стоял Губайдулла.

А сам он, сопровождаемый вождями сорока родов – аксакалами, батырами, с двумя тысячами джигитов остановился в Баянауле. Отсюда сорок его посланников отправились к императору шуршутов. Губайдулла просил, чтобы их император согласился – считать его ханом Среднего и Большого жузов. Китайские власти всегда были рады раздувать в казахской степи пожары распрей и междоусобиц. И на этот раз они приняли посланников Губайдуллы, не отказались от его подарков, выслушали его просьбы. И сами не поскупились – признали его ханом всех казахов, всех трех жузов. Мало того, дали ему титул великого князя Китайской империи – Ван Гун. Его постоянные сотрапезники, верные сообщники по разбоям и грабежам подняли Губайдуллу на белой кошме, провозгласили ханом!

Но торжество его продолжалось недолго. Раза три он посылал джигитов на помощь Кенесары, велел действовать порешительнее. Но потом пограничные русские войска с трех сторон внезапно обложили Баянаул и разгромили ханскую ставку – орду. Губайдулла и с ним девяносто его приспешников, которые держались за концы кошмы, были высланы в Березов, на вечное поселение. Оттуда он больше не вернулся, и похоронить его не разрешили на земле отцов.

У Губайдуллы был сын – Булат. Ему исполнилось шестнадцать лет, и дары, предназначенные отцу, достались ему, с дарами – и чин майора.

Впоследствии его сын Кази по протекции генерал-губернатора – а тогда им был Гасфорт – поступил в Омский кадетский корпус, в тот самый год, когда этот корпус кончил Чокан – сын Чингиса, внук

Валихана по линии младшей жены. Впоследствии Кази поступил в распоряжение генерал-губернатора. Службу он нес исправно. Так, в большую заслугу ему ставили, что он, пройдя по Черному Иртышу, присоединил земли семизнайманского рода.

Не то что в одной степи, какой бы огромной она ни была, если бы во всем мире осталось бы всего два отпрыска ханского рода, два хановича, как их называли в канцеляриях, им все равно было бы тесно. Для их вражды не нужно было ни Среднего жуза, ни Младшего жуза. Достаточно, чтобы их было двое. Потомки Валихана от старшей жены и от младшей не могли уместиться там, где умещалось население шести округов. По их доносам и жалобам друг на друга генерал-губернатор (к тому времени этот пост занимал Дюгамель) решил развести неуживчивых родичей. Корнета Кази Валиханова он перевел в полк, стоявший в Тобольске.

Тогда в Тобольске молодей офицер пришел не столько выказать почтение Есенею, сколько взглянуть на врага Кенесары. Есеней три долгих года не поддавался на его хитрые уговоры и противостоял опустошительным набегам. А в конце концов изгнал Кенесары с земель керей-уаков.

Гость – его приняли с почетом. Несмотря на молодость Кази, Есеней разговаривал с ним, как с равным, вспоминал по его просьбе прошлое и был рад, что его взгляды на Кенесары совпадают с мнением, которое высказывает за дастарханом молодой красивый офицер. Улпан тоже хотелось послушать, но слишком он откровенно заглядывался на нее.

С тех пор они не встречались. Да Кази и не бывал в родных краях – из Тобольска он вскоре уехал в Петербург, и там, через военного министра Милютина, добился перевода в лейб-гвардии казачий полк. И сейчас ехал по делам службы.

Когда в доме почетный гость, провести с ним вечер приглашают уважаемых в ауле людей.

Так поступила и Улпан. Тем более, что и Кази согласился – повидать людей из народа, как он выразился, послушать их песни, поговорить с ними о жизни… Но разговора не получилось. Кази не мог избавиться от своей врожденной – торе! – чванливости, от приобретенной офицерской напыщенности. И песни – а пришли к Улпан лучшие певцы – звучали как-то приглушенно, не в полный голос. Человек с домброй в руках всегда ведь чувствует, слушают его с открытым сердцем или с вежливой снисходительностью.

Нет, Кази вроде бы и слушал, только совсем невпопад поскрипывали лаковые сапоги, словно выражали нетерпение хозяина – когда же все это кончится, когда же разойдутся…

Не захотел он померяться силами и с теми, кто был искусен в шашечной игре. Игроки сражались между собой и посмеивались – всем стало заметно желание Кази поскорей остаться наедине с хозяйкой этого дома. Игроки отшучивались:

– Агеке, сейчас мой раб слопает вашего бия!

– Е-е, как он сможет?.. Нет…

– Пусть не сможет. Все равно бий торчит на месте, как спутанный конь, ходить ему некуда. Давно кончились времена этого бия, к черту его!

Шутки были достаточно недвусмысленными, но молодой офицер не воспринимал аульного остроумия. А может быть, он не слышал, о чем они переговариваются, занятый своими мыслями.

Снова скрипнули с досадой сапоги… Кази невзначай сказал, что очень устал дорогой. Всюду сугробы, розвальни ныряют как по

волнам. Да и едут восемь суток… А до Кокчетава еще пять или шесть, не меньше.

– Ужин готов, – откликнулась Улпан. Кази снова показал свою невоспитанность:

– Чтобы дальнейший путь оказался полегче, вы разрешили бы мне день-другой у вас отдохнуть? – спросил он.

– Конечно, отдохните… – учтиво ответила Улпан. – Завтра можно будет переехать в особняк для гостей, там вас никто не побеспокоит.

После ужина Улпан послала Абылкасыма проводить гостя в его комнату, а сама прошла к себе и облегченно вздохнула. Села у трехстворчатого зеркала, которое купили в Ирбите, называется – трюмо, с серебряным ободком по краям, и принялась раздеваться.

Она ведь сама только вернулась, не успела в дом войти, когда нелегкая принесла Кази Валиханова. Три дня она провела у Мусреп-агая. Шынар прислала, как только начались родовые схватки, и Улпан помчалась к ней, одновременно вызвав из Стапа русскую акушерку. Вместе они там и пробыли трое суток. «Ой, умру…» – стонала Шынар. «Не умрешь! Все бы умирали от этого, ни одной бабы на свете не осталось бы!»

Сын у Шынар… Улпан вернулась усталая. Сутки у постели Шынар, двое суток Мусреп-агай не отпускал ее домой, той был по случаю продолжения его рода. И все равно ей не спалось… Она радовалась за Шынар, но горячая тоска безжалостно жалила ей сердце. Три года она замужем за Есенеем. У него-то – до нее – были дети, несколько. Что же будет – у них? Сколько раз она видела во сне, как кормит грудью сына. Она просыпалась с сильно бьющимся сердцем и начинала рыдать в подушку, чтобы не потревожить Есенея. Он и сам печалился: «За какие грехи аллах всемогущий обрекает меня на бездетность? Но я не ропщу, я милости прошу… А если он не услышит

мои молитвы, спасибо и на том – есть у меня ты, моя жена, мой сын, моя дочь, моя Акнар, мой Есеней».

Уже раздевшись, Улпан еще посидела перед зеркалом. Что за тело! Хоть бы жира немного нагулять. От людей слышишь – Акнар-байбише, Акнар-байбише… А какая она с виду байбише? Девчонка и девчонка! И живота нет. Втянут, как в те дни, когда она в одежде джигита не слезала с седла, в Каршыгалы. А что делать, чтобы пополнеть? Дамели советует – два, а лучше три раза в день есть мясо, пить кумыс – десять кесе. Но ведь можно лопнуть!

Хоть Улпан и делала вид – огорчена, что такая тощая, она была довольна, что сохранилась. Не хватало – стать похожей, на Айтолкын, бурдюк на толстых кривых ногах. Правильно – лето напролет надо купаться в озере, а зимой – в бане. Эта чертовка Шынар такая же – и стройная, и гибкая, девчонка, а родила сына! Неужели… Неужели бог не смилостивится над ней, над Есенеем?..

Утешив себя, что, конечно, смилостивится, Улпан надела ночную сорочку и легла. Бывая в Тобольске, Ирбите, Троицке, Баглане, Улпан присматривалась, как одеваются, как ведут себя в быту женщины, заходила и в те лавки, где продают не только казахскую одежду. И у себя дома – одна из первых степных казашек – постаралась завести такие же порядки.

Разбередив себя мыслями о сыне Шынар, Улпан была уверена, что заснуть ей не удастся – и заснула.

Кази не спал.

С последней станции он выезжал с таким расчетом, чтобы попозднее попасть к этому дому. А расчет появился после того, как он в Стапе случайно встретился со старым приятелем, еще по Тобольску, – боже мой, как давно это было! – с Тлемисом. Тлемис, хоть он долгие годы вел дела Есенея, выполнял его поручения, не мог забыть, как пороли

его отца, спустив до колен штаны, как мать валялась в ногах у грозного бия… Но знал он и то, что сил у него не хватит – отомстить, как того требовала казахская кровь, смешанная с черкесской.

Была, правда, у него одна надежда – Улпан. Ее он ненавидел особенно люто. Кто такая? Черная кость, как и он сам. А какую власть забрала над Есенеем! Сибаны считают ее своей байбише, ловят каждое слово, стараются угодить во всем. С другими – добрая, а к Тлемису у нее душа не расположена. Баба… Чует его истинное отношение к Есенею, не доверяет. Вот если бы… Подсунуть ее кому-нибудь, а потом распространить о ней дурную славу по всем племенам и родам. Только случай никак не представлялся, но тут – неисповедимы пути господни – ему в Стапе встретился приятель, Кази Валиханов.

Посидели, поговорили. Вспомнили Улпан, и молодой офицер не скрыл, какое она произвела на него впечатление еще три года назад, в дни тобольской ярмарки. Тлемис понял – вот, сбудется, что он задумал! «Тобольск?.. – переспросил он. – Это три года назад было, а сейчас она в самом соку. Муж постарел. Детей у них нет. Попадется ей на глаза такой красавец как ты, тут же готова будет растянуться…»

Кази не сомневался, что так и произойдет. Стоило его тройке с разбега замереть у крыльца, он сразу дал понять Улпан, что любым роскошным покоям предпочитает ночлег под одной крышей с ней.

– Улпанжан…

Она не знала, сколько спала, и сразу поняла – это Кази, Кази шепчет… Казахов не удивишь, если гость, после того, как все уснут, протянет руку к девушке или к келин этого дома, «протянет руку», а еще это называется «будить». И Улпан не удивилась. Ей достаточно было взглянуть на Кази в Тобольске, ей достаточно было услышать его слова накануне вечером у крыльца своего дома.

– А-а… Вы уезжаете? – откликнулась она. – Дамели-апай! Зажги лампу, поставь самовар. Надо проводить гостя.

Она поднялась с постели, сунула босые ноги в кебисы, накинула длинный халат.

– Сейчас, айналайн, сейчас… – сонным голосом сказала Дамели и стала чиркать спичками.

Кази, так и не закрыв за собой дверь, исчез, скрылся в своей комнате. Он был вне себя! Как?.. Пустила переночевать. Сказала – отдохните у нас день-другой. Допоздна сидела со всеми за дастарханом. А сейчас: «А-а… Вы уезжаете?» И громко, чтобы разбудить старуху. Такого унижения Кази стерпеть не мог. Он растолкал солдата, велел запрягать. «Наступит день, я с ней за это расплачусь», – подумал он. Чаю дожидаться не стал, не стал и прощаться с Улпан.

Он сидел в санях, когда во двор, оглашая лаем ночную тишину, ворвались три волкодава. При полной луне они казались серыми, на загривках поблескивал иней. Был слышен топот, гулкий на промерзлой земле – кони и всадники приближались к усадьбе. Наверное, Есеней…

– Пошел! – Кази толкнул ямщика в спину, и отдохнувшая тройка с места взяла наметом.

Волкодавы первыми дали знать о прибытии Есенея, и Улпан, наскоро одевшись, вышла встретить его у крыльца. Он грузно слез с седла, бросил повод Кенжетаю.

– Я думал, не доберусь до дома, замерзну где-нибудь в степи, – сказал он. – Но быстроногий конь и жена-красавица придают сил джигиту. Так, кажется, говорится?.. Вот, Акнар, только это и спасло меня от смерти.

– Что за глупости я слышу от тебя? Мог бы мужчина стать Есенеем, если бы не ездил по степи? А еще говорят – не почувствуешь холода, не оценишь и тепла. Идем в дом… – И она повисла у него на левой руке.

В комнате она сняла с него ремень, сняла малахай и полушубок, отдала Дамели.

– Садись, сапоги сниму…

Ичиги были ледяные, ноги слегка подрагивали. И еще при входе в дом, повиснув у него на руке, Улпан почувствовала – рука вздрагивает.

– Сейчас попаришься, и все пройдет, – сказала она. – Дамели-апай, скажи Салбыру, пусть затопит баню.

Табуны Есеней разместил в обширных поймах рек Ишим, Убаган, Тобол, а потом хотел несколько дней поохотиться на волков и на лис.

А вчера…

К вечеру похолодало, и они уже собрались возвращаться, но собаки обнаружили волка. С осени погода стояла переменчивая, и когда выпал снег, поверх снежного покрова образовалась ледяная корка. Все три собаки порезали себе ноги и хромали. Есеней, и с ним Кенжетай и Шондыгул, пустились в погоню. Собаки не поспевали за волком, но конь Есенея по кличке Байшубар, не знающий равных по скорости и бесстрашию, настиг волка, не проскакав и пяти верст. Есеней занес шокпар для удара, а волк неожиданно отпрыгнул к озеру, вбок, Байшубар – за ним, и они снова настигали зверя… Есеней не понял, что произошло… Потом оказалось – он с конем провалился в омут близ озера. Холодная вода пронзила его, он шевельнуться не мог, а чубарый метался из стороны в сторону, ломая лед, но тоже не мог выбраться.

Подоспели Шондыгул и Кенжетай – Есеней по грудь стоял в воде. Они кинулись к нему. «Сперва коня!» – сумел сказать он. Шондыгул ухватил длинный сыромятный шылбыр, идущий от недоуздка, и конь рванулся, ступил на берег, недаром Шондыгула в молодости прозвали туйе-палуан, то есть палуан, который всегда берет на состязаниях первый приз – верблюда. Потом кинули шылбыр Есенею. Один сапог был у него на ноге, а другой торчал в стремени.

Солнце шло на закат. На морозе, вдали от жилья, можно было лишь наскоро сменить Есенею белье и штаны. И, не медля ни минуты, пустились в путь. К ним присоединились другие – те, что не участвовали в охоте. По дороге не было ни аулов, ни хотя бы чабанских стоянок. Только поздно вечером попался шалаш табунщика. Есеней переоделся с ног до головы, они расположились выпить горячего чаю, но снаружи послышался недовольный окрик:

«Е-ей!.. Что за собаки ворвались в шалаш без хозяина?»

Шондыгул поднялся и вышел, что-то сказал, и тут же всадник повернул коня, раздался дробный перебор копыт.

Шондыгул вернулся.

«Чей кос?» – спросил Есеней.

«Кожыка».

«Кожыка?!»

«Его…»

«А кто приезжал, он сам?»

«Нет, какой-то его человек».

«Мы здесь не останемся. Едем, джигиты. В косе Кожыка глоток воды сделать и то грех. Пожуете то, что у вас в хоржунах».

С Есенеем не спорили, хоть ездили с самого утра и нигде не останавливались на привал.

Вот уже много лет не мог он настигнуть Кожыка, который был верным человеком Кенесары, а после его гибели в бою с киргизами поселился в этих краях, на севере. Кожык рыскал по всей степи, и с ним такие же головорезы, как он. Грабил. Средь бела дня угонял лошадей в аулах и присоединял к своим табунам. А когда хозяева, зная, чьих рук это дело, требовали их обратно, Кожык, посмеиваясь, отвечал: «Это – табуны Есенея… Попробуйте забрать, если вы батыры».

Об этом не раз приходилось слышать Есенею. «Есть у меня заклятый враг, – говорил он. – Попадись мне в руки Кожык…» А когда ему донесли, что Кожык останавливался в доме у Иманалы и ночевал там, Есеней прогнал родного брата, – и с тех пор не приближал к себе. «Этот Иманалы, будь он в силах, ни перед чем не остановился бы», – качал головой Есеней, будто о ком-то постороннем шла речь.

После того как он провалился в полынью, Есеней провел в пути ночь, день и еще ночь. Его била дрожь, и, чтобы согреться, он то и дело пускал Байшубара во весь опор, но дрожь не проходила.

Подобно тому, как Есеней привык жить в «русской избе», он привык и к «русской бане». Он даже шутил: «Вот бы – перед совершением каждого намаза, казахи, вместо омовения, ходили бы в баню. От девяноста девяти болезней избавились бы!»

Перед уходом он сказал Улпан:

– Акнар, а ты полежи… Я не вернусь, пока солнце не поднимется высоко. Хочу погреться как следует.

В бане он пробыл почти до обеда. Туда ему носили кумыс и еду. Он надеялся, что, если отойдут застывшие кости, то уймется и дрожь в

руках и ногах. Поэтому Шондыгул семь потов с него спустил, исхлестал всего березовым веником. А дрожь не унималась.

Дома он лег и с головой укрылся волчьей шубой.

– Акнар, не буди, пока сам не проснусь. Проснулся он на следующий день, к полудню. Волосы, борода были спутаны, как у неживого. Лицо – словно у восьмидесятилетнего старца, кожа множеством морщинок сползла к подбородку, складками, таким бывает наколенник у поношенных шаровар. Он на двадцать лет постарел. Лицо его и раньше было суровым, но стоило вглядеться, и оно казалось мужественным, решительным – лицом настоящего мужчины. Оно становилось мягким и добрым, когда он смотрел на Улпан.

Она всю ночь просидела у его постели, но он лежал, укрывшись с головой, а сейчас она испугалась – на нее смотрел, жалко улыбаясь, незнакомый старик. Другая заплакала бы. Улпан приветливо сказала:

– Мой тигр, ты спал спокойно… Целые сутки спал, но я не будила тебя, хоть мне скучно было. Ну и устал же ты… Вставай, одевайся, ты весь оброс! Позвать Кенжетая?

– Позови… А сама иди, мне нужно одеться.

Раньше присутствие Улпан его не смущало, «смотри, какого мужа подцепила, – говорил он ей, – голова – казан, в каком можно стригуна сварить. Тело – черное и рябое к тому же, все в белых пятаках. Пальцы – палки…» Но Улпан возражала: «Что ты! Мне на бога обижаться не за что, мой тигр. Бог мне дал мужчину в двойном размере, я другого и не захотела бы, ни за что». Она искренне хвалила его и искренне хвалилась им.

Кенжетай побрил его, подправил усы и бороду, но от этого еще заметнее стали на лице морщины и складки. За чаем Улпан постаралась подбодрить его:

– Смотри-ка, снова парнем стал!

Есеней не сказал ни слова и даже не улыбнулся. Улпан завела другой разговор:

– Мой тигр, ты спал и спал, я даже не могла потребовать с тебя суюнши. Шынар наша – сына родила!

– Е-е, Мусреп еще молод, мальчишка…

– Насколько он моложе тебя, подумаешь! Ты не хочешь отдать суюнши?

– Бери, что понравится, моя Акнар…

– Мне понравится, когда ты поскорее поправишься! Больше ни о чем не прошу. Неужели это трудно – такому мужчине, как ты? Первый раз, что ли, побывал на морозе?

– Я не поеду, а ты передай Шынар – я желаю ее сыну долгих лет жизни и много счастья. И ей – того же самого. А почему Мусрепа нет? Он что, не знает о моем возвращении?

– Вчера вечером он приезжал. Но ты спал.

– Позови его, Акнар. Он со мной не захотел ехать из-за того, что Шынар должна родить. А мне его не хватало! Да, я не спросил – кто это был на тройке, когда мы ночью подъезжали к аулу?

– Молодой человек по имени Кази. Помнишь, в Тобольске он приходил поздороваться с тобой? А сейчас – знал, что тебя нет дома и собирался погостить день-другой.

– А почему он уехал среди ночи? Ты плохо его приняла?

– Не знаю… Особняк для гостей не готов, я поселила его в нашем доме. Позвала гостей. Угостила. Сама с ними сидела. Оказалось, молодому человеку нужен не такой почет.

Есеней не стал допытываться. И Улпан не вдавалась в подробности.

Весть о появлении сына у Шынар размотала клубок раздумий, который давно давил тяжелым комом. Есеней не переставал быть мужчиной, а что говорить про Улпан – в самом расцвете сил… Почему же, почему не слышится в юрте крик новорожденного, каким он всему миру заявляет о своем появлении? Чем прогневили они бога! Есеней горевал – неужели до конца дней его будет преследовать проклятие аксакалов аула Нуралы? А Улпан по весне не могла без слез, которые приходилось скрывать, смотреть, как бегают между юртами жеребята, верблюжата, ягнята с козлятами… Ну и что с того, что Есеней стар, а Улпан молода?

Она всем сердцем радовалась счастью Шынар, безотлучно находилась при ней, вызвала из Стапа женщину, опытную акушерку. Сама перерезала пуповину новорожденному и стала для него киндик-шеше. «Ягненочек мой…» – она раньше, чем Шынар, прижала к себе младенца, завернутого в пеленку. Повернулась к Шынар, которая следила за ней безмерно усталыми, счастливыми, настороженными глазами. «А ты лежи! Родила сибанам сына, и довольно с тебя! Не хвастайся! Не ревнуй ко мне!» – Улпан не сдержалась и горько заплакала.

У Шынар глаза тоже были полны слез. Как она хотела бы сказать: «Что я могу поделать, бедная моя… Я мечтала – чтобы ты, ты родила первой из нас, сына бы родила! Ты же знаешь, – кто искреннее меня желает тебе счастья? Я бы даже Мусрепа не ревновала к тебе! Но не теряй надежду, не теряй, не теряй…» Но им двоим слов не надо было, чтобы понять одна другую. И Шынар перед уходом Улпан

сказала ей: «Берегись, баба! Придет твое время, родишь и ты сына, а я тоже вырву его у тебя, прежде тебя накормлю своей грудью!»

Есенею было не легче. За всю свою жизнь, кроме той черной оспы, он ничем не болел. А теперь что с ним? Дрожь не проходила. Во рту собиралась слюна, и пена выступала на губах. Правда, он бывал ранен множество раз, не лечь бы калекой, как Артыкбай… А если и того хуже?.. Что будет с Акнар? И по шариату, будь он неладен, этот шариат, и по степным обычаям, будь они прокляты, эти обычаи, бездетная женщина не считается хозяйкой своего дома. Тем более – бездетная вдова; она достается, если умер старший, то младшему брату, а если младший умер, то его старшему брату. При этих мыслях перед ним возникало лицо Иманалы, и у Есенея дрожь пробегала по всему телу, будто снова он провалился в омут с ледяной водой.

Минувшей ночью, проснувшись, он увидел около себя неподвижную и безмолвную Улпан. Хотел протянуть к ней руку, но рука дрожала, и он не решился. Так и лежал, зажмурив глаза, с мыслями своими – неразрешимыми, беспросветными. А сейчас, за чаем, Улпан старается его подбодрить, казаться веселой. А он чем может подбодрить Улпан?

После чая Есеней попросил:

– Акнар… Скажи, чтобы мне постелили в отдельной комнате. Чтобы никто туда, кроме тебя, не входил. Один Салбыр пусть останется, и на день, и на ночь. Только переодень его, чтобы на человека был похож.

– Есеке, может, доктыра позовем?

– Думаешь, надо? Тогда позови. Но знахарей, разных колдунов ко мне не пускай, близко пусть не подходят!

Ту ночь они провели в разных комнатах.

Кто-то, казалось, безостановочно твердил ему в самое ухо: «Есеней ты уже стар, а Улпан нужен ребенок… Есеней, ты уже стар… а… Есеней, ты…»

В разных комнатах, но думали они об одном. Нет, не только рождение сына у Шынар с Мусрепом вызвало у Улпан навязчивую мысль о ребенке. Что-то ее беспокоило и до этого. Она поначалу не придавала значения – так с ней случается, накануне ее дней… А может быть… Она и хотела поверить, и боялась поверить. Утомленная сомнениями, – будто триста верст не слезала с седла, – Улпан заснула.

И проснулась, почувствовав во рту вкус хлеба – испеченного в горячей золе хлеба, с прилипшими к нему черными угольками, которые хрустели на зубах… Тот самый хлеб, что она ела в самый первый свой приезд к Шынар.

Она вскочила – и как была, в ночной рубашке, босиком, кинулась в комнату к Есенею, Салбыру сказала, чтобы шел домой, и, еле дождавшись, когда он уйдет, погасила лампу, оставленную на ночь: ей нужна была темнота, чтобы сказать то, что она должна была сказать Есенею.

– Встань, Есеней, поднимайся… – Она стояла на коленях перед его постелью, тормошила его, целовала. – Хватит прикидываться! Два дня прикидывался – хватит!

– Что случилось?

– Жерик, Есеней, жерик!

Чему не бывает названия, то и вообще не существует на свете. А раз родилось такое слово – жерик, значит, когда женщина чувствует острую потребность в какой-нибудь особой пище, когда она готова

умереть, если эта ее прихоть останется неисполненной, – значит, уже существует, пусть в самом изначальном зачатке, новая жизнь.

– Да, да…

– Повтори еще раз… – Его голос был еле слышен в темноте.

– Проснулась – даже слюнки потекли…

– Моя единственная мечта сбылась! – Теперь его голос, прозвучал громко, уверенно. – Есеней может умирать спокойно.

Он твердой, не дрожащей рукой приподнял Улпан, ее голова легла к нему на грудь.

– Что ты! Что ты!.. Какой же ты Есеней, если не проживешь сто лет!

– Подожди… Скажи, а чего тебе хочется, Акнар? Не верблюжьей колючки пожевать? Не полыни?

– Нет, конечно! Я – не белая верблюдица, я – не черная овца. Я хочу хлеба! Мать Шынар печет его в золе. Помнишь? Я ела у них. И снова буду, буду, буду его есть!

Есеней поднялся. Оделся, не стесняясь присутствием Улпан. И – еще не наступал поздний зимний рассвет – разбудил Кенжетая, послал его к Мусрепу.

– Скажи, чтобы поскорее испекли хлеб в золе… Скажи, Улпан приедет к ним.

Улпан слушала его наставления.

– Скажи, не вздумали бы очищать с хлеба припекшийся уголь, – добавила она от себя. – Пусть добавят соленого масла, как делали в том году. И чтобы горячий был!

Кенжетай отправился выполнять неожиданное поручение. Есеней сказал:

– Если будет дочь, хочу, чтобы была как ты… А если сын, то ладно уж, может и на меня быть похожим.

– Нет, нет! Сын!.. И конечно – как ты, сперва маленький бура, а потом – большой черный бура! Я поеду к Шынар? Ты меня отпускаешь?..

Абылкасым во дворе уже запрягал лошадей.

Шынар встретила ее вопросом:

– Приехала?..

– Приехала.

– А-а… Сама поняла, что такое – жерик? Хлеба хочешь, который у нас в золе завалялся? Я говорила – придет твой черед! А ты не верила, слезы лила!

– Я еще больше пролью! Проси у меня, что угодно. Но если не хочешь, чтобы я у тебя в доме умерла, дай скорее хлеба!

Она не пошла в гостевую комнату, осталась в той, где жили хозяева, а теперь в одиночестве лежала Шынар.

Науша принесла хлеба, еще горячего, и Улпан, словно приехала из краев, где голодают, принялась уплетать его, макая в посоленное сливочное масло. Масло подтаивало, и круглый подбородок у нее блестел. Сидя на кошме, боком к постели Шынар, Улпан ела с непривычной для нее жадностью и блаженно урчала, когда на зуб попадались крошки березовых углей, прилипших к хлебной корке. Казалось даже, не хлеб ей нужен, а уголь, соль, которая пропитала масло. Она собирала в ладонь попавшие на дастархан угольные крошки, бросала в рот: «М-м-м-м-м-м…»

– Ты с такой жадностью ешь хлеб… Родишь не одного… – родишь двух сыновей! – засмеялась Шынар.

– Я боялась… Как бы дочка белой верблюдицы, твой подарок, не родила раньше меня! Ей уже три года, начинает, сукина дочь, крутить хвостом. Шынар, а чего тебе хотелось, когда ждала?..

– Да ничего, глупость…

– Нет, скажи!

– Ну, мне хотелось, все время, пожевать волосы с загривка верблюда – буры.

– Теперь понятно, почему у твоего сына такая большая голова! С котел! Оказывается, он в буру пошел. Дай-ка мне твое полотенце. Жарко…

– За тобой висит чистое. Возьми сама.

– Нет, я и рукой не хочу шевельнуть. Кинь…

Шынар еще не вставала – акушерка не разрешила, велела неделю лежать. Голову она перевязала сатиновым желтым платком. Улпан смотрела на нее, и что-то новое замечала в знакомом, в близком лице. Покой… Сознание, что на всей земле нет другой женщины, у которой исполнились бы все мечты, сбылись все надежды. Она еще красивее стала, эта Шынар! Но ничего, недалек тот день, когда ее, Улпан, ждет то же самое.

Малыш спал и самодовольно посапывал во сне, как будто это он сам, по своей воле, настежь распахнул дверь и ворвался в беспокойный мир, который, правда, пока ограничивался мягкой постелью и материнской грудью, налитой молоком. Шынар хвалила сына – что его и будить не надо, грудь он берет и во сне.

– Киндик-шеше у бедняги большая обжора, – добавила она. – Думаю, он пойдет в нее.

А киндик-шеше, доедая печеный хлеб, возмутилась:

– Лежала бы спокойно! Куска хлеба жалко?

– Не жалко, но я боюсь, – в неурожайный год ты быстренько умнешь запас целого аула.

Две девушки – Гаухар и Бикен, те самые, что когда-то так слаженно пели на алты-бакане, жили в доме Мусрепа с того дня, как Шынар

родила. Без их помощи не управиться бы с обслуживанием многочисленных гостей, поток которых не иссякал. Вот и сейчас они приготовили чай и зашли позвать Улпан, но в дверях раздался голос Есенея:

– Эта лачуга и есть жилье Мусрепа? Хвастун! Говорил – не у всякого хана есть такой дворец!

– Конечно, нет у хана такого! – откликнулась Улпан. – Иди сюда, к нам, сюда!

Когда она уехала, Есенею показалось, Улпан с собой увезла все их счастье, не оставив ему его доли. Он чувствовал себя хорошо, а Шынар уже три дня как родила, и дольше нельзя тянуть с поздравлениями. Есеней не усидел дома – и вот, склонив высокую голову, вошел в приземистый дом Мусрепа.

Такой дом назывался хоржуном, он и в самом деле был двусторонний. Прихожая, в которой помещалась и кухня, разделяла две противоположные комнаты, и Есеней, войдя, должен был постоять немного, чтобы глаза привыкли к полумраку, единственное окно было затянуто пушистым слоем инея.

– Сюда… – снова позвала Улпан.

Еще больше согнувшись, Есеней миновал узкий проход. Первым делом – поверх одеяла Шынар – он бросил дорогой халат. Выпрямиться он не мог, иначе головой ударился бы о потолок.

– Халат твой, Шынаржан… Ты показала бы мне ребенка. Кажется, Акнар становится скупой? До сих пор не подарила хотя бы клочка тряпки, чтобы исполнить наш обычай?

– Есеней! Я выношу из этого дома золу, таскаю дрова, делаю всю черную работу. А мне до сих пор гроша не заплатили! Твоя любовница валяется в постели, ленится рукой шевельнуть!

С приходом Есенея Шынар хотела поднять голову, сесть, но он не разрешил:

– Лежи, айналайн… Как доктор сказал…

– Вот-вот! – продолжала Улпан. – А за все мои труды меня кое-как кормят. Сами-то в рот такой хлеб не берут!

– Бий-ага… – принялась оправдываться Шынар. – Сама требовала хлеба, запачканного золой. Наелась, и хочет затеять ссору. А ленивая – сама даже за полотенцем руку не протянула.

– Я, я перерезала пуповину ее сыну, и мне за это ничего не подарили!

Есеней возразил:

– А ты же сама рассказывала, какой щедрый человек Мусреп – не жалеет ни скота своего, ни другого добра.

– Он такой, но жена-скупердяйка верховодит в доме.

– Е-гей!.. Я еще одну такую знаю, тоже верховодит. Ей я тоже хочу пожелать удачи. А сам я только рад освободиться от богатства, от щедрости, от скупости. Зря не скажут: хорошая женщина и плохого мужа сделает человеком.

– Опять хвалишь свою Шынар? Она же окончательно испортится, она и так весь дом заполонила своей важностью…

Есеней уселся и наконец-то мог выпрямиться.

– А где сам мырза? – спросил он.

– Вот эта баба, его жена, говорит – уехал в село, сахару купить и чаю. Говорит, давно поехал, скоро будет.

– Что же, ему запасов и на три дня не хватило?

– Может, что и осталось? Чай звали пить – пойдем?

Есеней и Улпан глотка не успели сделать из пиал, которые наполнила Бикен, сидевшая у самовара, а передала Гаухар. В комнату ввалились акыны, певцы, домбристы, приехали поздравить Мусрепа с рождением сына.

– Мусреп!..

Нам сказали вчера, и вот мы здесь,

вознести хвалу и воздать тебе честь.

Десять дней и ночей будет длиться той!

Твою радость мы разделим с тобой!

А молодой акын по имени Мустафа, заметив Бикен и Гаухар, запел, приветствуя их:

– Есть две девушки у сибанов,

Их зовут Гаухар, Бикен…

Если рядом они, соловья не надо!

Своей песней джигитов берут они в плен.

Будет длиться той десять дней и ночей,

Не умолкнет песен звонкий ручей…

Мустафа явно собирался втянуть девушек в словесное состязание и стал бы настаивать, видя, что они не откликаются. Но человек постарше обратился к Есенею:

– Ассалаумагалейкум, Есеней-ага, – громко сказал он, чтобы и его товарищи обратили внимание на почетного гостя и не слишком бы вольничали.

– Проходите… – Есеней чуть подвинулся, освобождая место. – В доме хана и в доме бедняка – вы всегда желанные гости…

Еще бы… К Мусрепу пришли люди известные, акыны, певцы и жырау – исполнители народных сказаний и дастанов. Был среди них акын Шарке. Был слепой акын Тогжан. Нияз-серэ, акын Сапаргали. И с ними – трое молодых, им еще предстояло создать себе имя. И старые, и молодые – все они поклонялись знаменитейшему из знаменитых, славнейшему из славных Сегиз-серэ. Сородичи ему приписывали «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз-Жибек», «Ер-Таргын» – вечные дастаны, в которых казахи узнавали себя, свою боль и свою радость, с которыми проходила вся их жизнь, с малых лет и до глубокой старости. Сам ли Сегиз-серэ их сочинил, или дастаны подвергались его обработке при долголетнем исполнении. Но уж никакого сомнения в том, что именно ему принадлежат песни «Каргаш», «Гаухар-тас», «Айкен-ай», из тех песен, которые тоже сопровождают человека на протяжении всех его дней.

Эти песни не забывались, хотя появлялись и новые – песни Биржан-сала, Палуан-Шолака, Ахана-серэ – и их пели по всей степи, от Оренбурга до Омска. И уже нельзя было, как прежде, начинать с двух постоянных строк, которые сами по себе ничего не значили, а были лишь отвлеченным обращением к милой – о, калкам-шрак!.. И только в последующем двустишии возникало то, ради чего песня стала песней. Так теперь уже никто и не сочинял, а начало новому направлению положил Сегиз-серэ из племени кереев.

Есеней охотно поддерживал беседу с акынами, расспрашивал о жизни их аулов, шутил, а потом пригласил – он хотел бы видеть их в своем доме, он устроит той, а когда – Улпан им скажет.

Улпан была рада – Есеней поправился, сам приехал в дом Мусрепа, он весел, оживлен. А теперь и в их доме сядут на почетные места акыны и певцы, которых бог одарил умением – подбирать слова так,

чтобы выразить самые сокровенные мысли и чувства, и сопровождать эти слова прекрасными звуками.

Шынар не вставала, а Бикен и Гаухар были молоды, а потому Улпан пришлось принять обязанности хозяйки. Пока мужчины разговаривали, она вернулась к Шынар:

– Послушай, лежебока… Что у тебя там найдется в шошале, надо все заложить в котел.

– Пойди и скажи нашим… Сама за всем проследи. Если ты чем-нибудь не угодишь акынам, если хоть одну насмешку от них услышу, я душу из тебя выну!

– Можно подумать – я хуже тебя знаю, как принять гостей!

В шошале Жаниша жарила в кипящем сале баурсаки, а мать Шынар ручным жерновом молола пшеницу.

– Ойбай, апа… Давай я сяду к жернову, а сама начинай варить. Акыны приехали, певцы…

– Е-е, Акнаржан… Я… Знаешь… Для гостей ничего не пожалеем. И твой агай поехал в село, в лавку, с пустыми руками не вернется ведь…

– Если так, я и себе смелю муки на один хлебец, – нерешительно сказала Улпан и с силой принялась крутить жернов.

Она оставалась в шошале, помогала им, пока не был приготовлен ужин.

После чая в гостевой комнате нестройно зазвучали струны – акыны настраивали домбры.

Шарке-сал сегодня впервые увидел Есенея, какого раньше не знал – куда подевались его строгость, неулыбчивость, равнодушие к песне и домбре?.. Сидит как равный с равными, и арке-сал, что чувствовал, то и спел:

– Акын тебе привет передает

привет акына – его щедрый дар!

О, Есеней!.. Весна растопит лед,

а имя у весны – Акнар…

Она согнуть сумела меч булатный,

согнуть – не поломав…

Шарке сказал и слова не возьмет обратно!

Надо было отвечать:

– Ваша женеше жива-здорова, – улыбнулся Есеней. – Сами видели… А сейчас она топит печь, выносит золу из этого дома. – Он нисколько не рассердился, что Шарке, назвав Улпан весной, задел его самого, – и лед в душе у него растаял, булатный меч сумели согнуть красивые и сильные руки Улпан…

Но Шарке-сал еще не кончил:

– Кто не слыхал о нашей женеше?..

О красоте ее, о ласковой душе?

То сам аллах – не поздно и не рано —

Послал ее на счастье всем сибанам.

И снова заговорил Есеней:

– Из твоих слов, Шарке-сал, и в самом деле ни одного нельзя взять обратно. Все это – верные слова. Во многих бедствиях сибанов я был виноват. А сейчас у каждого – и жилье есть, и скот, за свой труд они получают плату… Пусть помянут добрым словом Улпан!

Акыны попросили у Есенея разрешения – отлучиться, поздравить Шынар. Они дружили с Мусрепом, бывали в его доме, и его жена не была для них посторонней.

В ее комнате руки слепого Тогжана коснулись струн.

– Как солнце и луна – две женщины сибанов.

Акнар… Шынар…

Как яркие цветы!

Шынар, я слышал, что красива ты,

судьбой Мусрепа, счастьем стала ты,

и пусть ваш сын – дорогой караванов —

пройдет без горя и без суеты.

Шынар застенчиво сказала:

– Тогжан-ага… да сбудутся ваши пожелания… У меня поверх одеяла лежит халат. Я бы сама накинула вам на плечи, но мне вставать нельзя. Возьмите сами…

Она сделала движение – сдвинула халат, подаренный Есенеем, и Тогжан осторожно подошел на звук ее голоса, ощупью поднял халат и накинул на плечи.

– Сейчас я жалею, что я не простой бедняк из рода сибанов, а акын из рода атыгай… Ведь говорят же, что ваши сородичи теперь всегда в состоянии налить гостям кесе кумыса!

Наверное, трудно приходилось в жизни старому слепому акыну, и невольно прорвалась у него жалоба, голос прозвучал печально, но он дальше ничего не стал говорить о себе, он снова обратился к Шынар:

– Шынаржан, я хочу сказать, что старую тощую лошадь никто не покрывает шелковой попоной. Ты оказала мне уважение, подарила халат… Я оказал тебе уважение и принял подарок. Но ты сама носи, носи на счастье… – И халат снова лег поверх одеяла.

Когда домой вернулся Мусреп, Тогжан-ага пел «Кыз-Жибек», о ее любви и страданиях, о стойкости и верности… Мусреп поздоровался со всеми, а потом сказал:

– Продолжай, Тогжан, продолжай, не обращай на меня внимания… – И поспешил к Шынар.

Она озабоченно спросила:

– Ты привез что-нибудь? Акыны собрались…

– Ты не беспокойся, почтенная мать семейства! Я же заранее знал, что мимо нашего дома они не проедут. Все есть… И вообще акыны – удачливый народ, разве ты не знаешь…

К гостям он вернулся с двумя большими ножами в руках.

– С голоду умереть не хотите?

– Не хотим…

– Пусть двое из вас выйдут, Асреп ждет во дворе. И ножи возьмите.

Дастан о судьбе девушки по имени Жибек исполнялся на земле кереев в том виде, в каком его оставил Сегиз-серэ. Мустафа был сыном Сегиза, он часто сопровождал отца, и сейчас по просьбе Тогжана поправлял неточные места. Теперь же он взял нож и вышел. И Тогжан замолк до его возвращения.

Есеней начал подшучивать:

– Мусреп… Не успели гости посидеть за твоим дастарханом, а ты гонишь их на двор. Даже не дал сказать добрые пожелания твоему сыну.

– А мне этот мальчишка не очень-то нравится…

– Почему?..

– Голова – с казан! Не будет ли он похож на тебя? Не зря, думаю я, ты дружишь с Шынар. Улпан, наверное, права.

– Ну, придумал!

– Нет, я правду говорю. А никаких других забот у меня нет. Какие заботы? Табунов у меня нет, как пройдет зимовка, мне беспокоиться нечего.

– Как вы можете дружить с таким человеком, скажите мне! – обратился Есеней за поддержкой к акынам.

Но тем хотелось и дальше послушать шутки близких людей, и они вмешиваться в разговор не стали.

– Так ты меня поздравляешь? – сказал Мусреп.

– Что ж, если у твоего сына большая голова – пусть он вырастет умным. Пусть пользуется уважением близких и почетом у дальних. Пусть не ищет мелких ссор и тяжб, а слушает прекрасные песни, и сам сочиняет песни, как Сегиз-серэ. Аллаху акбар!.. – Есеней ладонями провел по лицу, склонив голову.

– Пусть сбудутся твои пожелания, – растроганно сказал Мусреп. – Бог даст, и твоя Акнар месяцев через восемь родит тебе сына, похожего на тебя.

Услышав, что Улпан ждет ребенка, акыны шумно, на разные голоса, выразили добрые пожелания, пообещали приехать на той к Есенею.

Мустафа, помогавший во дворе Асрепу, вернулся в гостевую комнату, и Тогжан взялся за домбру и продолжил «Кыз-Жибек»… До конца. А когда отзвучали слова и стихли струны, акын настороженно ждал, что скажут слушатели.

Первым сказал Мусреп:

– Тогжан, ты хорошо спел, но когда было, чтобы ты пел плохо?.. А вот по сравнению с прошлым годом, когда я в последний раз тебя слышал, ты внес много поправок.

– Это не меня надо хвалить, – признался Тогжан, – Мустафа помог мне, он запомнил отцовское исполнение.

Мустафа от похвалы покраснел и начал даже оправдываться:

– Тогжан-агай преувеличивает мою заслугу… Что – я?.. Пою пока несложные песни, любовные. Правда, может, что-то и осталось в памяти – как отец пел… Другого богатства у меня нет.

Не приходилось акынам раньше слышать, что думает об их мастерстве Есеней, но на этот раз и он захотел выразить свое мнение:

– Тогжан, почему ты поешь, что Жибек – дочь хана? Разве только в этом заключается ее благородство? Разве не мог ее отцом быть обычный простолюдин? Средний жуз, Младший жуз – с древних времен соседствуют на одной земле. Но от сыновей Джучи не было у нас хана по имени Сырлыбай. А еще смотри… Когда было, чтобы хан свою дочь отдал человеку не ханской крови? Значит, и возлюбленный Жибек – Толеген, тоже должен быть сыном хана. Вот, взгляни на Мусрепа, на этого чернобородого! Уж он-то на Тулегена ни красотой, ни благородством не смахивает. Зато Шынар его, та, что лежит в соседней комнате с сыном, – чем она хуже Жибек?..

Мусреп вернулся к тому, что в новом исполнении дастана ему особенно понравилось:

– Пусть ханская дочь, пусть не ханская… Но сколько мужества надо девушке, чтобы после гибели Толегена не подчиниться родовым законам? Я думаю, Жибек первой была казашкой…

Он повторил ее слова:

Мальчик ты бедный!

Что тебя заставляет лезть под одеяло,

которым твой старший брат укрывался?…

– Ведь она еще и оплакать не успела своего Толегена… – продолжал Мусреп. – А Сансызбай уже рядом, уже домогается ее! Если была у него хоть капля совести, он, наверное, отступился от своей женеше!

Шарке-сал внимательно прислушивался к разговору.

– Есеке, правильно вы сказали… – начал он. – Хуже нет, если акын, если жырау бездумно повторяет то, что ему довелось услышать и узнать. Кто у нас – батыр, герой, мудрец? Непременно в его жилах течет ханская кровь! Так мы слышали, так и сами зачастую повторяем. Даже гордость чувствуем, когда простому казаху случается обладать женщиной из ханского рода. Но что – мы!.. В тех краях, откуда была родом Жибек, в Приедилье, в поймах рек Жаик, Уил, Тургай, акыны по-другому толкуют ее судьбу – у них она все-таки выходит замуж за Сансызбая и с ним находит счастье. Но мы с этим согласиться не можем, мы так никогда не поем…

Праздник одной семьи становился праздником всего аула. Рождение ребенка, свадьба, поминки, – шли все от мала до велика, узнать новости, послушать прославленных серэ, акынов, домбристов… К вечеру в домах Асрепа и Мусрепа снова собрались девушки и джигиты, которые и вчера приходили к ним.

Когда человек от бога наделен даром слагать стихи, а пальцы его умеют извлекать живые звуки из домбры, – такой человек не сидит на месте, он кочует из аула в аул, с такими же признанными мастерами, как он сам. Память их хранила разные случаи из жизни, трогательные, смешные, печальные истории, и они чувствовали необходимость поделиться ими – поделиться с теми, кто нуждается в утешении, в совете, в умном и остром слове.

Акыны охотно откликались на зов, всегда были среди людей и особенно любили, чтобы их слушала отзывчивая, горячая молодежь, чуткая к слову правды. Скупец умрет наедине со своими сокровищами, а человек щедрый – раздаст их и от этого станет только богаче! Так требует бог искусства, которому поклонялись и старики – Шарке-сал, Тогжан, и молодой – сын несравненного Сегиз-серэ Мустафа. Потому-то и проходила в седле их неспокойная жизнь, которую они ни на какую другую не променяли бы!

Их не надо было уговаривать – без уговоров они читали стихи, пели песни, их слова могли согреть и обдать холодом, могли затуманить глаза слушателей слезами и вызвать неумолчный смех. Тогжана сменял Шарке-сал, Шарке-сала – Нияз-серэ, а потом вступал Мустафа, в отблеске славы своего отца.

Один восхвалял народ за его силу и стойкость, за мужество, с каким он сопротивлялся ударам судьбы… Другой – порицал за такие качества, которые ничего, кроме порицания, и вызывать не должны! За легкомыслие, за лень, за равнодушие к ближним – и каждый волен был посмеяться над самим собой, раскаяться, и уж во всяком случае – хотя бы задуматься. Кто – краснел от порицаний, а кто – радовался, что есть на свете акыны, от которых услышишь искреннее и справедливое слово…

Бикен и Гаухар исполняли свои обязанности за чаем, помешивали и разливали кумыс. А потом наступил их черед исполнить долг своих

сородичей – спеть песню в честь уважаемых гостей. При этом от Улпан не ускользнуло, что Гаухар метнула быстрый взгляд на Мустафу и тотчас отвела глаза, но он – все равно заметил… И так же Бикен – не удержалась, не могла не посмотреть на Кенжетая, он тоже был среди гостей, но сам не осмеливался взять в руки домбру в присутствии столь известных акынов.

Молодежь знала, что две эти девушки по своему обыкновению начнут тихо и медленно и, постепенно ускоряя песню, доведут ее до заоблачных высей… Молодежь притихла в ожидании…

– Меткое слово стрелой летит,

и летит оно не зря…

Человека плохого – лишь стрела пронзит!

Словом его пронять нельзя…

Девушки переглянулись, но только окрепли их голоса, чтобы вести песню дальше, как вдруг со звоном разлетелось на куски стекло в окне, и тяжелый шокпар с утолщением на конце с размаху ударил по спине, между лопатками Есенея, сидевшего на почетном месте.

– Ты… могилу отца твоего… Туркмен!.. – донесся со двора злобный выкрик Иманалы. – Ты кто такой у сибанов, чтобы запрещать деревья рубить? Я тебя достану!

Дубина крутилась угрожающе.

– Убил… – Есеней произнес это почти шепотом. Улпан, рядом с Есенеем, вскочила, Улпан изо всех сил рванула на себя шокпар, и Иманалы от неожиданности выпустил его.

– Прочь!.. Подлец, подлец, подлец! – кричала она. Языки пламени у двух пятилинейных ламп вздрогнули и потянулись к двери, будто с испугу устремились наружу.

Веселье мгновенно погасло. Все вскочили на ноги, зашумели. За окном раздался перебор копыт – всадники поспешили удалиться.

Улпан швырнула шокпар в разбитое окно и положила руку на плечо Есенея.

– Сильно он ударил?..

Иманалы не переставал скрежетать зубами при мысли, что лучший их лес, Эльтин-жал, достался туркменам и совсем дальней родне – аулу Андарбай – Отарбая. Андарбай пока не собирался строить зимний дом, и его юрты можно было увидеть в разных уголках леса, а Асреп и Мусреп обосновались посередине, и Эльтин-жал называли уже в обиходе Мусреп-кыстау, зимовка Мусрепа.

На южной опушке здесь густо росла вишня, а если проехать верхом, то копыта у коня становились красными от раздавленных ягод костяники и земляники. В лощинах у леса рос дикий чеснок, жужжали пчелы, собирая дань с богатого разноцветья.

Асреп и Мусреп облюбовали себе участок, где стояли березы, – белоствольные, с кудрявой светло-зеленой листвой, высокие и стройные.

Иманалы, который объявил, что он родился, вырос, жил и умрет в юрте и что никакого зимнего дома у него не будет, умирал сейчас от зависти и решил, назло всем тоже построить себе кыстау. Для этого ему понадобились березы – именно те самые, что окружали дома двух братьев.

Ненависть к Мусрепу давно копилась в душе Иманалы, эта ненависть искала выхода. Он должен был принародно доказать, что Иманалы – это Иманалы… А Мусреп?.. Жалкий потомок раба, какой-то туркмен, а возомнил о себе невесть что! Для этого стоило нарушить торжество в его доме, унизить, обругать, пеплом развеять их радость.

Еще в полдень Иманалы с десятком джигитов, вооруженных топорами, появился на противоположном краю березовой рощи и плетью стегнул одно из деревьев:

– Срубить. Сегодня же. Все до единой.

И сам уехал.

Как раз в это время Мусреп возвращался домой с покупками из села и погнал коня, когда до его слуха донесся перестук множества топоров. Одна из берез, покачнувшись, рухнула на землю, ломая при падении молодые, не набравшие пока росту, березки.

«Джигиты! Что вы делаете! Побоялись бы бога! Кто же такие деревья валит на дрова?»

Кто-то недовольно откликнулся:

«Разве это мы не боимся бога?.. Иманалы… Он решил построить себе рубленый дом».

«Джигиты… – продолжал настаивать Мусреп. – Сейчас в ауле гости, нехорошо… А Иманалы передайте – я не дам ему порубить эти деревья. Уходите…»

Но берез десять стояли уже надрубленные. Первый же ветер свалит их! Джигиты не стали спорить с Мусрепом. Засунули топоры за пояса и ушли. Один говорит – рубите, другой говорит – не дам рубить…

Вот почему и появился поздним вечером возле дома Иманалы.

Есеней сидел, закрыв глаза, стиснув зубы от непреходящей в лопатке боли, как раз в том месте, куда когда-то поразила его стрела лучника Кенесары.

Но лучше получить рану в бою от врага, чем вот так – исподтишка, от родного брата… Дня не может прожить Иманалы без ссоры, без какой-нибудь злобной выходки. «Разве я возражал бы, – думал

Есеней, – если бы видел, что Иманалы может стать Есенеем? Неужели сам не понимает – каждый носит шубу по своему росту. Упрям, вспыльчив… Во время припадков ярости теряет остатки ума. Хочет казаться батыром, а стал посмешищем для всех сородичей, для всех, кто его знает…»

Он услышал голос Улпан:

– Есеней, я помогу тебе встать. Поедем домой.

Она и Мусреп в сопровождении акынов повели его к саням, дома Улпан уложила Есенея в постель, не отходила от него…

И с тех пор Есеней больше не поднимался.

Дни сменялись долгими безрадостными ночами, выпадали снега и таяли снега, шумели деревья, и ветер осенью стучал в окна, швыряя охапки сорванных листьев.

Улпан не сына родила, а дочку, назвали Бибижихан, Бижикен, и так же, как она у Шынар, Шынар провела у нее несколько дней… Бижикен росла, бегала уже, придумывала всякие уморительные детские слова.

Есеней не поднимался.

17

Турлыбек Кошен-улы по-прежнему оставался советником по управлению казахскими округами.

Приехал он из Омска с инспектором по землеустройству Саврасовым, с ними был Леознер, ревизор, и начальник из Кзыл-Жара Демидов. Аульные казахи так и не смогли разобраться, кто из них главный, кто чем занимается, и потому говорили: «Турлыбек-торе приехал», – имея при этом в виду не знатность происхождения, а должность.

Улпан приняла их в особняке для гостей, там были две комнаты, каждая с отдельным выходом, большой просторный зал, закрытая и застекленная веранда.

– Как ваше здоровье, женеше? – начал обязательные расспросы Турлыбек. – Как дела у Есенея? Он выздоравливает, есть надежда?

– Ничего, мой джигит-торе. За последние пять лет лучше ему не стало, но и хуже не стало.

К ней подошел Саврасов:

– Здравствуйте, Акнар Артыкбаевна…

– Здравствуйте, – сказал Демидов.

– Мое почтение, – поклонился Леознер.

– Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте… – ответила она каждому. – Добро пожаловать в наш дом.

Когда в гости казах приезжает к казаху, он из приличия ведет себя так, будто и не видит вовсе того, что увидел, и не понимает того, что уже понял. Приехавшие с Турлыбеком поступали иначе. Не присев, они осмотрели комнаты, не скрывая, какое впечатление произвела на них обстановка в доме.

– Прекрасно! Целые апартаменты.

– И как сохранился запах смолы… – отозвался Демидов на замечание Саврасова. – Можно подумать, что вы не уезжали из Омска, а я – из своего Петропавловска…

– Да… – согласился с ними Леознер. – Подумать только, какой путь проделали все эти вещи… Варшавские кровати, печи голландской кладки, венецианские зеркала.

– А стулья – венские… Ковры – персидские… – подхватил Саврасов. – Чувствуется вкус. Недаром говорят, что мадам – ханского рода.

Турлыбек добросовестно перевел слова гостей, и Улпан улыбнулась, скрывая смущение:

– Я не могу принять ни одной вашей похвалы, почтенные гости, – сказала она. – Дом построили русские мастера, я только просила их – построить мне дом… Вот кзыл-жарский начальник – в первый свой приезд к нам он не остался ночевать в большом доме, там было полно гостей из аулов. Спал в сенях… Я до нынешнего дня помню, как чуть со стыда не сгорела.

– Но все-таки… – настаивал Демидов. – Вы же объясняли – какой дом хотите, как он должен быть построен?

– Нет! Что я могла сказать? Одно – чтобы построили как можно лучше.

– Хорошо, – вмешался Саврасов. – Допустим, мы поверили, не будем спорить. А вещи? Вещи, которые доказывают ваш вкус… Они же не могли сами по себе появиться в доме?

– Женщины не остаются равнодушными к похвалам, – сказала Улпан. – А я – женщина… Но поверьте мне, я и не знала, что на земле существуют страны, о которых вы говорили. Я так считала – все вещи,

что я купила, тобольские. Только одну из них мы для себя называем – заграничная, «борансуз айна»…

– Французское зеркало, – перевел Турлыбек. – Хоть оно – венецианского стекла…

– А все остальное – тобыл, тобыл… Тобыл-шана…

– Тобольские сани…

– Тобыл-тосек…

– Тобольская кровать.

– Тобыл-орындык…

– Тобольские стулья.

– И печь называем – тобыл-печь, ее клали тобольские мастера, те, что строили дом. А в другой комнате печь клал казак, его имя – Петр, ту мы зовем – Петра-печь…

Гости смеялись, им было легко и просто с ней, и все трое пришли к единому мнению: как жаль, черт возьми, что она выросла в степи, не получила образования, а то была бы украшением любой гостиной.

Побыв немного с ними, угостив их для начала с дороги – до предстоящего обеда, Улпан поднялась:

– Я бы не ушла, сидела бы с вами, если бы говорила по-русски… Но нельзя так долго утруждать моего джигита-торе… А кроме того, в большом доме бии и волостные управители всех пяти волостей кереев и уаков. Я к ним тоже должна зайти…

Улпан ушла.

Леознер все еще оставался под впечатлением встречи.

– Врожденное чувство такта… – заметил он. – Мягкость… Как ей удалось приручить дикого степного хищника?.. Удивительно!

– Именно тактом, именно мягкостью, как вы изволили заметить, – откликнулся Саврасов. – Но – и твердостью, постоянством…

– А какая разница! – продолжал Леознер. – Вы понимаете, конечно, кого я имею в виду… Сравните с той ханшей, которая знаменита на все казахские округа своей вздорностью, взбалмошностью. Что взбредет ей в голову, то она и творит! Положа руку на сердце скажу – не ожидал, не ожидал… И, кажется, красоте своей не придает значения! Уму непостижимо!

– Вероятно, поэтому, Карл Карлович, вы и допустили, по крайней мере, три ошибки, – принялся за объяснения Саврасов. – Во-первых, Улпан тоже делает у себя то, что приходит ей в голову. Важно – чья это голова, какая голова… Во-вторых, эта женщина не только Есенея приручила. Ее влияние – благотворное, смею думать, – распространяется и на все пять волостей, где обитают роды кереев и уаков. В этом вы завтра сами убедитесь, когда встретитесь с ними.

– А в-третьих?.. – спросил Леознер.

– В-третьих, напрасно вы полагаете, что она не придает значения своей красоте. Таких женщин не бывает ни у каких народов! Только судите вы с точки зрения омича, горожанина. А у казашек свое, скрытое кокетство, и я, право, не знаю, какое сильнее действует – открытое или скрытое… Возможно, в первооснове – боязнь дурного глаза…

– А скажите – вы при встрече обратились к ней Акнар Артыкбаевна… И сами потом назвали – Улпан. Да и в бумагах у меня так записано…

– Верно записано. Можете записать еще и другое имя, тоже к ней относящееся – Есеней.

– Тройное имя?..

– Как сказать… Улпан – дано ей было при рождении. Акнар, это несколько видоизмененное – ак аруана, белая верблюдица… Белая мать… А Есеней – сам велел называть ее своим именем и сказал, что она будет заниматься делами всего племени.

– О!.. Не доживем ли мы до такого дня, когда женщина – по имени Мария превратится в Александра?..

– Здесь, Карл Карлович, Есеней – скорее должность этой женщины, ее титул… Можете так истолковать поступок Есенея – раньше вождем племени был я, а теперь ты.

– И в чем же она преуспела, кроме того, что построила дом?

– Не иронизируйте… Мы говорили, эта женщина могла бы украсить гостиную. Реформа государя, освободившая крестьян, нашла здесь свое выражение. Земли сибанов – принадлежали Есенею… Улпан разделила их – и не просто так, сплошная чересполосица, клочок здесь, клочок там! У каждого аула есть пахотные, пастбищные, сенокосные угодья, постоянные места зимовок… Как будто она, как ваш покорный слуга, всю жизнь занималась землеустроительными делами! Она заставила здешних казахов сеять хлеб и запасаться на зиму сеном. Заставила построить зимние жилища. Край этот мы с полным основанием считаем краем, где население перешло на полуоседлый образ жизни.

– Вы прочли мне вдохновенную лекцию… Звучит как прекрасная сказка. Но, знаете, я ведь – юрист по образованию, человек по природе своей недоверчивый…

– Напрасно. Я вам больше скажу. Когда мы занимались расселением крестьян-переселенцев из внутренних российских губерний, мы не стали затрагивать территорию сибанов, рода полуоседлого.

– Чувство недоверия у меня только крепнет…

– Могу заверить… – вмешался Демидов в разговор своего омского начальства. – Как человек, близко и постоянно наблюдающий жизнь всех волостей… Каждое слово, услышанное вами, Карл Карлович, – чистейшая правда.

А Саврасов продолжил:

– И еще учтите… Только она сама знает, сколько ей это стоило – помочь сибанам в постройке жилья, загонов для скота. Баню построила – тоже первую в ауле.

– А в баню эту – не загоняют овец перед стрижкой?

– Смейтесь, смейтесь! Если побываете, другое заговорите… А видели – мы проезжали – фундамент, заложенный для школы?.. Для медресе, как они называют. А дом? Разве дом не мог бы стоять на любой улице в Омске? Сравните хотя бы с хуторами немцев-колонистов, и – при всей вашей должностной недоверчивости – вы должны будете согласиться, что сделано – многое.

– Это верно, – коротко высказал и Турлыбек свое мнение.

Вошли двое – муж и жена, они раньше жили в городе, им и поручала Улпан обслуживать приезжих в гостевом особняке.

Собрание, ради которого приехали из Омска чиновники, а из аулов – влиятельные люди, началось на следующий день.

В большом зале Саврасов, Леознер, Демидов, Турлыбек Кошен-улы устроились за длинным столом, Улпан тоже, на стуле, – с краю. Волостные управители помоложе заняли середину, а пожилые бии на мягких подстилках сидели в ряд, поджав ноги, упершись спинами о стену. Они сидели свободно, на месте каждого – двоих можно было бы уместить, и вид был такой, будто каждый при решении дел

обладает двумя голосами. Молодые аткаминеры – в тесноте, их двоих можно было принять за одного человека, и временами кто-то из них бросал недовольный взгляд – когда же повымрут эти аксакалы, и они, они сами займут наконец их места?..

Первым поднялся Турлыбек.

Ему приходилось говорить по-русски – для омских представителей, и тут же переводить на казахский, чтобы все понимали, зачем надо было собирать столько почтенных людей. От этого он иногда запинался, подыскивая более удачное выражение, и степные ценители слова осуждающе переглядывались.

– Его высокопревосходительство генерал-губернатор, – говорил Турлыбек, – послал нас поговорить с вами, обсудить сообща, как лучше казахским аулам перейти к оседлому образу жизни. Мы хотим послушать вас, добровольно изъявивших согласие иметь земельные наделы для поселения рядом с русскими крестьянами – они прибыли из внутренних губерний России по высочайшему повелению государя-императора…

У казахов не было принято – на таких встречах просить слова, они перебивали выступающего, говорили, что казалось им нужным сказать.

Байдалы-бий, не дослушав, обратился:

– Турлыбек, шырагым… Выходит, решили – чтобы мы не отдельно селились, а непременно рядом с русскими крестьянами?

Турлыбек понял, что оговорился. Он имел в виду – получить наделы, наряду с прибывшими, а при переводе получилось: рядом.

А для Токай-бия на таких собраниях – хуже смерти было отстать в чем-то от Байдалы. Он задал и свой вопрос:

– Ты сказал – добровольно… Значит, кто хочет – станет жить оседло, а кто не хочет – не станет?

Турлыбек сперва ответил ему – да, добровольно, кто хочет – станет, кто не хочет – не станет пользоваться землеустройством. Потом он повернулся к Байдалы-бию:

– Баеке, я немного неточно выразился, а вы – неточно поняли меня. Вы подумали, что земли казахов будут вперемешку соседствовать с наделами русских. Это не так. Я хотел сказать, при устройстве крестьян-переселенцев, наряду с этим будет проявлена забота о казахском населении, он не останется без внимания. Те аульные семьи, которые захотят осесть, получат на каждую душу пятнадцать десятин пахотной земли.

– На что нам… – сказал Байдалы.

– По пятнадцать – это немало. В ваших краях больше всех сеет хлеба наша женеше – Улпан. А посевов у нее – не больше пятнадцати десятин. А кроме того, у вас останутся ваши сенокосы, ваши джайляу…

Нрав у Байдалы был такой, что ничего не стоило его привести в ярость. Неточно он, оказывается, понял… Кто такой Турлыбек, чтобы указывать Байдалы-бию – неточно поняли… Почему не ответил он столь же ехидно проныре Токаю?! Мог бы, к примеру, поддеть: «Как же не поняли вы, что это – дело добровольное?..» «А теперь Токай сидит как ни в чем не бывало и еще с насмешкой посматривает на Байдалы! Пусть не воображает никто из них, что он согласится получить надел с детскую пеленку!

Сказать честно, навряд ли Байдалы мог представить себе – сколько это, пятнадцать десятин. Он от предков унаследовал и привык считать – вся земля, сколько видит глаз, его. Какие времена настают – землю станут мерять, как ситец в лавке у татарина!

Токай хорошо знал своего давнего и постоянного недруга и постарался подбросить хворосту в костер:

– Не мало – пятнадцать, не мало… В прошлом году летом, я ехал в Стап. Есенеевский хлеб стоял – как бескрайнее озеро! Пятнадцать десятин даже на хорошем коне быстро не объедешь, – повернулся он к Улпан.

– В прошлом году мы там не пятнадцать сеяли, – ответила она. – Десятины на две поменьше. А если не считать гостей, для нас самих того хлеба на два года хватило бы!

Турлыбек еще не кончил говорить, но уже знал – два главных бия заняли противоположные стороны. И ни один волостной управитель или другой аткаминер не выскажет отличного от них мнения, все разделятся на два лагеря. Но и особого спора не возникнет. К лицу ли – горячиться, замахиваться друг на друга, чуть ли не в горло вцепляться из-за какой-то земли? Из-за каких-то посевов?.. Земли и так, слава аллаху, много под небом! Другое дело – если бы речь шла о том, кому достанется чья-либо вдова, если бы выбирали управителей или биев… Тогда бы и страсти были раскаленнее.

А так – Байдалы-бий будет твердить свое, Токай-бий – противоположное… Турлыбеку это было ясно, но он продолжал, стараясь приманить кереев и уаков выгодами и льготами:

– Запомните и передайте сородичам… Та семья, которая засеет пять десятин, получит без всяких процентов ссуду – пятьдесят рублей, вернуть ее надо будет через три года. А за пятьдесят рублей они смогут купить двух лошадей. Соха стоит пять рублей, железные вилы – сорок копеек, овца – два рубля, стригун – четыре рубля. Пятьдесят рублей для обзаведения – немалые деньги.

Биев и эти расчеты оставили равнодушными. Но Турлыбек, еще не все козыри выложил:

– Люди сибанских аулов почти десять лет уже сеют хлеб и косят сено. Для них – в подарок – мы привезли три сенокосилки, три сохи, пять борон, трое конных граблей.

Бии – и волостные управители по их примеру подозрительно посмотрели на Улпан. Чем эта баба подкупила русских торе? Ну, Кошен-улы, это понятно – родственником приходится Есенею. Чем?.. Никто не видел, чтобы она отборных лошадей привязывала к их повозкам… Не набрасывала им на плечи дорогие шубы… Как видно, бог для своих благоволений избрал одних сибанов!

Улпан сказала:

– Джигит-торе! У нас найдутся семьи, которые захотят получить ссуду сроком на три года. Мы занимаемся земледелием, но пока что на каждый двор по одной сохе не приходится! А сенокосилки… На два аула – одна. С вашими подарками мы на будущий год еще сорок десятин сможем засеять. Разве плохо, если еще сорок семей не будут знать забот о еде?

Байдалы не устоял, чтобы не съехидничать:

– В таком случае сибаны должны большой той устроить…

– Отчего же не устроить? – спокойно сказала Улпан. – В первый год был той, когда мы с пятью всего сохами засеяли тридцать десятин, пять из них сеяла наша семья.

Саврасов за столом наклонился к Турлыбеку – подробнее расспросить, о чем говорит Улпан, а когда она кончила, поднялся и подошел к ней, в руках – пакет со сгустками сургучных печатей, из пакета он вынул лист плотной бумаги, буквы были оттиснуты золотой краской.

– Эти бумаги… – торжественным голосом произнес он. – Они свидетельствуют о ваших заслугах в развитии земледелия на

территории округа, населенного казахами… Здесь говорится о награждении сельскохозяйственными орудиями. Почетную грамоту подписал собственноручно генерал-губернатор.

Улпан стоя приняла пакет.

– Благодарю вас, уважаемый торе… Передайте мою благодарность таксыру-губернатору… Мы, может быть, и не в состоянии вникнуть – что такое полная оседлость, что такое полуоседлость… Мы знаем одно – надо сеять хлеб, надо косить сено. И не перестанем этим заниматься.

Улпан пустила по рукам почетную грамоту. От волостных управителей – по обеим сторонам стола – бумага обошла биев… Прочитать, что там написано, никто не мог, но все видели – краска золотая, печать приложена, изображение двуглавого орла, подпись губернатора. А сама бумага, наверное, из атласа…

Турлыбеку не стоило особого труда читать их мысли. При живых биях и других уважаемых людях подарки были вручены какой-то бабе, порезали бы ее ножи этих проклятых сенокосилок! Но вот против атласной бумаги все они, вместе взятые, бессильны… Надеются – пока бессильны. Смилостивится ли над ними аллах, отдаст ли он когда-нибудь эту бабу в их руки? Может быть, такой день недалек… Почтенные мужи могли сколько угодно грызться между собой. В чем они были единодушны – в своем отношении к Улпан.

Саврасов, жалея время, решил, что высокое собрание достаточно полюбовалось на бумагу из губернаторской канцелярии, и в заключение первого дня обратился ко всем сам:

– Уважаемые волостные управители! Уважаемые бии! Мне показалось, вы сегодня проявили похвальное единодушие. Меня, давно связанного с вашими делами, это не удивляет. Ваши племена, многочисленные роды, входящие в их состав, вот уже сто пятьдесят

лет, со времен джунгарской войны, живут по соседству с русскими. Я знаю – в первый год, когда ваш аул решил вспахать землю, за казахскими сохами ходило десять русских крестьян. А в первый год, когда на лугах появились сенокосилки, шесть русских показывали, как с ними управляться. Русские построили и дом, в котором мы собрались, – Акнар Артыкбаевна сама сказала нам об этом. А вчера нас сюда привез ямщик из села Кабановка. Он говорил, ночевать будет у своего тамыра, здесь в ауле.

Он помолчал – в ожидании, пока Турлыбек переведет. А Турлыбек перевел слово в слово, никак не проявляя своего отношения к словам русского торе. Если тот говорит о похвальном единодушии, значит, есть у него какие-то свои виды. Пожар-то тлеет, зачем поднимать ветер?..

– Я наблюдал сегодня, с каким вниманием вы слушали господина Кошен-улы, который хорошо знает ваши нужды и пользуется полным доверием генерал-губернатора. Вы задавали вопросы, высказывали свои сомнения, и это совершенно правильно. Дело важное. С вами мы разговаривали первыми – о распределении земельных наделов среди казахского населения, и о том, что еще предстоит обсудить завтра… Надеемся, с поддержкой вы выступите и на чрезвычайном съезде биев и волостных управителей – там будут собраны люди со всей Омской области.

Турлыбек перевел и это, и вдруг – на какое-то недолгое время – Байдалы-бий и Токай-бий не стали противоречить один другому.

– Чрезвычайный съезд – это хорошо, – сказал Байдалы, не обращаясь, впрочем, к своему недругу впрямую.

И Токай тоже – вроде бы своим – сказал:

– Когда все соберутся, из всех казахских округов – там можно будет поговорить. Там – не здесь.

Они радовались – новая оттяжка, а там может найтись и другая лазейка, чтобы избежать прямого ответа на вопрос о землеустройстве. Их упрямство, тупость, равнодушие к людям, чьи судьбы они были призваны решать, выводили Улпан из себя, и – как бы она ни привыкла владеть собой – она не удержалась, чтобы не сказать им всем:

– Вам сегодня мало кажется – пятнадцать десятин на душу… Смотрите, как бы потом не пришлось вам на коленях выпрашивать пять десятин на всю семью!

Каждое ее слово – стрела за стрелой – вонзалось в сердце Байдалы, и так уже ослепленному яростью. Есеней не вечен… Есеней не вечен, Есеней не вечен – старался он утешить, самого себя.

Прикованный к постели уже пять зим и пять лет, Есеней с нетерпением ожидал ее возвращения. Ведь только через Улпан еще как-то поддерживалась его связь с внешним миром.

– Чем кончилось? – спросил он, как только она переступила порог его комнаты.

– А ничем… Ни поддержки, ни сопротивления.

– А волостные – из молодых – выступили?

– Ни один… Кое-кто из них держал уши открытыми для Байдалы, другие – смотрели в рот Токаю.

– А ты что говорила?

– Боже мой! Что я могла сказать такого, что они послушали бы? Сказала только, что сибаны и в будущем рук не оторвут от сохи и с сенокосилки не слезут…

– Это уже немало, это совсем немало, моя Акнар… Ты подумай, о чем говорить завтра. Уж завтра, по делам женщин выступить, – это самое святое для тебя дело.

– Подумаем вместе… А сегодня я разозлилась на мужчин!.. Сидели, ни одного толкового слова не могли произнести. Только обменивались взглядами, все какие-то намеки у них… Истуканы! Приезжие торе подумают: если такие предводители у народа, то остальные казахи – и вовсе невежды и дикари!

– Вот потому-то и надо, – сказал Есеней, – хорошенько все взвесить. Выступай смело, открыто. Не бойся резкостей. Пусть подумают: если такие женщины у казахов, то мужчины еще умнее, еще смелее их!

Улпан засмеялась, в комнате Есенея у нее отлегло от сердца.

– Да кто станет слушать бабу…

– Молчи… Слушай… Теперь, когда я лежу, у меня много есть времени думать…

Есенею трудно доставалось малейшее усилие, и, уж не говоря о посторонних, он не любил, когда и Улпан заходила в его угол, укрытый занавесью из тяжелого шелка. Но при всей своей немощи он был в полном сознании.

– Так вот…

На следующий день собрались в том же зале, на тех же определенных раз и навсегда местах. Как и вчера, Улпан устроилась на стуле, хоть и не очень удобно ей было… И так же, как вчера, первым поднялся Турлыбек. Но сегодня, скорей всего, бии не станут отмалчиваться. Турлыбек понимал это, и потому начал издалека.

Он сказал, что, если отстраниться от привычных представлений, то многое в жизни казашки покажется непонятным, невозможным.

Всегда рядом с мужчинами были они во всех мытарствах, какие выпадают на долю кочевников. Казашки не скрывали своего лица паранджой, в первые часы свадьбы – и только – невесту от посторонних ограждает занавес, но споют песню «Беташар», как бы введут ее в семью мужа, – она показывается всем и после этого уже не прячет лицо.

Кочуют и расселяются казахи по родовой принадлежности, и никто не посмеет обидеть девушку. Если же случится, что бывает крайне редко, то насильник обречен жить на отшибе, как прокаженный, не имея права вмешиваться ни в какие дела. Вроде бы и не изгоняют совсем, но он – изгнанник.

Но вот вышла девушка замуж, келин в семье мужа, и стала «катын», бабой, за которую отдали столько-то или столько-то голов скота. Она бесправна, хотя трудится не меньше, а больше мужчины. Она – продолжательница рода, а подвергается унижениям.

Только потом, отдав все лучшее, что у нее было, постарев, она получает право на уважение. Любой, кто позволит себе матерщину, подвергается всеобщему осуждению. Ну, правда… – Турлыбек постарался шуткой разрядить напряженность обстановки, которую он чувствовал… – правда, казахи внимания не обращают, хоть бы кто шпарил отборной бранью в их тещу…

Но шутка не подействовала, никто из старших не улыбнулся, и молодые тоже сохранили строгость на лицах. Турлыбек снова вернулся к тому долгому времени, когда женщина в доме – просто катын… Умрет у нее муж – она не может шагу ступить по своей воле. Умер старший – достанется младшему брату, младший умер – возьмет старший. А семьи большие, не один – так другой. Как говорят?.. «Катын может остаться без мужа, но никуда не уйдет от его племени».

Сказав все это, что они и без того знали, к чему привыкли в своей жизни, Турлыбек спросил:

– Разве это справедливо? В юности – окружаем ее заботой, а когда она становится матерью наших детей, то сами топим в пучине унижений! Женщина потеряла мужа, еще слезы у нее не высохли, а мы, родственники, ждем не дождемся, когда можно будет потащить ее к себе в юрту, а заодно овладеть ее имуществом и скотом… Мы хотим знать – как вы относитесь к такому положению? На чрезвычайном съезде будет разговор о калыме, об аменгерстве, о праве вдовы на скот, оставшийся после мужа, и на имущество…

Байдалы-бий готов был с кулаками броситься на Турлыбека… Но сдержался. Русские торе здесь сидят, хоть и не понимают ни слова, но заранее, конечно, договорились, о чем будет говорить сын Кошена!

Они хотят узаконить, что теперь нельзя и над своими бабами быть хозяевами! Белый царь собирается, кажется, без конца взбалтывать похлебку в доме казаха и мутить воду в его озерах. Сила казахов – в постоянстве устоев и обычаев. А если начать хлеб сеять, косить траву, вдову отпускать из аула на все четыре стороны с ее добром, чем это кончится? Проглотит живьем белый царь, и ничего не встретишь в степи из того, что было оставлено, что было завещано предками.

Лучше бы приезжие русские торе своими делами занимались! Чем их законы добрее и справедливее? Русский жених требует за невестой придачу, на слово ее родителям не верит – бумагу пишут, сколько добра и сколько денег они дадут, печатью скрепляют, не хуже той, что губернатор поставил на бумаге, присланной Улпан… А русские ханы, баи? Они до сих пор дают своим дочерям, выходящим замуж, целые аулы – со всеми угодьями, с людьми, живущими там… А разве справедливо – строить дома с их церквями, называется – манастыр, куда заключают девушек, которые не смогли выйти

замуж? Такой манастыр есть и неподалеку, между селом Кабановкой и Жети-колем, русские называют – Семиозерный, их там двести девятнадцать девушек, и вдовы есть, которые больше не вышли замуж.

Понятно, Байдалы никогда не высказал бы эти мысли омским торе. Пусть думают, в этой наивной и простодушной стране что на уме, то и на языке. Если не стыдно им при всех говорить о женщинах, пусть слушают. Что можно возразить болтливому Турлыбеку, которому не дороги заколы отцов.

Байдалы и встал первым:

– Кто говорит, что девушку за калым покупают, как скот? Калым еле-еле может покрыть расходы, которые вызваны радостью обеих сторон – и жениха, и невесты. Большей частью, сколько скота отдаст отец жениха, деньгами если считать, столько же возмещают и родители невесты. Те – этим, а эти – тем!

Турлыбек усмехнулся. Ему ли, выросшему среди них, не знать уловок, к каким прибегают велеречивые бии?

– Хорошо… Значит, девушек никто и никогда у нас в аулах не покупает, – сказал он. – Трудно не возразить на это, но – пока воздержимся. И овдовевшую женщину, скажите, Байдалы-бий, не выдают насильственно за родственника ее мужа?

– Е-ей, ты забыл нашу жизнь… А не может случиться, что вдова, если отпустить ее, увезет в своем чреве сына этого племени, и вырастет он на чужбине? А если вдовой останется женщина непривлекательная, и никогда больше не сможет выйти замуж, перестанет рожать и себя прокормить не сможет?

Токай решил, что он сегодня что-то долго молчит, и вмешался – в поддержку Байдалы-бия:

– Да… А когда женщина, о какой говорит наш Баеке, будет навязана брату ее мужа, он сможет жить с ней не брезгуя. Привык… А выйдет вдова замуж на сторону, жизнь у нее не всегда сладится с посторонним, случайным человеком.

Так они говорили о калыме, о судьбе вдов – и снова, как вчера, кроме биев, никто не стал высказывать своих суждений.

О чем спорить? От века так было – если в семье не останется мужчин, семья считается вымершей, хоть бы там было десять дочерей. И так же аул перестает существовать без мужчин… И целое племя, если окажется в таком положении. Племени больше нет. Женщина не может считаться хозяйкой дома… А вот если малыш – в колыбели, если – мальчик, он и есть единственный хозяин всего скота, всего добра, что осталось после покинувшего мир отца. Бывает – вдову, да еще и не родила она сына, наделяют долей, но это целиком на совести родственников. А как-то ей придется – одной? Может, и сами женщины – многие – не согласились бы, случись так, покинуть дом?..

Русские торе, как их тут называли, хотели бы узнать, а что думает по этому поводу их хозяйка – Улпан.

Леознер взглянул на нее:

– Может быть, и вы скажете, Акнар Артыкбаевна?.. Есеней постарался снабдить ее своими советами, и сама она много думала… Может быть, она и волновалась, конечно, волновалась, но начала спокойно, тихо:

– Голос женщины почти никогда не раздавался на таком сборе… Что бы я ни сказала вам, помните, – это слова Есенея, которому сибаны многим обязаны, и не только сибаны, а все кереи и все уаки. Есеней говорил – мы должны думать о будущем. А без хорошей семьи – какое у народа будущее? Казахи иной раз роднятся между собой

потому только, что одной семье в другой понравился скакун, который всегда первым приходит на байге. Люди из богатых семей заводят речи о сватовстве во время выборов биев и волостных. Бывает, предназначают друг другу еще не рожденных детей и становятся аманат-куда, можно сказать – долговыми сватами, сватами-заложниками. Зачем далеко ездить, чтобы привезти пример?.. Минувшей ночью в нашем ауле два бия и два управителя засватали своих сыновей и дочерей. Разве не с этой ночи началась судьба женщины? И никто не скажет, что ждет ее. Есеней поручил передать вам – пусть никто не занимается сватовством, пока дети не подрастут, не узнают, не полюбят друг друга. Разные аулы каждый раз встречаются на джайляу. В хороших семьях, где думают о счастье детей, устраивают же смотрины. Почему это не должно стать обычаем? Разве смотрины не от дедов наших, не от прадедов нам достались?..

Кажется, от спокойствия ее ничего не осталось, но Улпан больше и не заботилась об этом…

– А, кто из вас назовет женщину, которая нашла счастье в юрте у братьев своего мужа? Молчите?.. Потому что не можете назвать! А я по именам назвала бы вам других – они рабынями стали, одно знают: в дом входят с топливом, а выходят с золой. Таких сколько угодно и в ауле самого Есенея, и аменгерство не принесло добра никому. Вы настаиваете: вдова прав не имеет на хозяйство мужа, так было и так пребудет, и вся жизнь у казахов идет в роду от мужчины к мужчине, и на мужчинах держится… Может быть, русские торе поверят вам, они не знают… А мы знаем! Какие две ветви у кереев? Ашамайлы и абак? Абак-керей – двенадцать волостей! Было время – Абак, женщина, считалась главой многих племен!

Она торжествующим взглядом обвела биев, волостных управителей, зная, что возразить ей нечего…

– Война, говорят, мужское дело… А какой боевой клич принят у кара-кесеков, их набралось около двадцати волостей? Каркабат… Когда Биржан-сал вступил в поэтическое состязание с Сарой… Помните? «Сал Биржан, чтоб сил прибавилось, к духу Каркабат взывал». Тоже имя – женское. А сколько родов носят названия, идущие от женских имен? Айбике, нурбике, суюмбике, кызбике, просто – бике, у сибанов – кунгене. Еще назвать? Разве не женщина-мать выделила семьи трех своих сыновей, от которых пошли – куандык, суиндык, каржас…

Улпан могла бы и еще продолжать, доводов у нее хватило бы. Но она устала. Да и бесполезно. Волков не накормишь сеном, которое на зиму скашивают для отар.

– Почтенные бии, уважаемые волостные управители… Не захотите согласиться – допустите явную несправедливость, и потомки не простят вам. А наша семья, если пригласят на чрезвычайный съезд, будет настаивать – вдова пусть остается полной хозяйкой в своем доме, и никто, под страхом сурового наказания, не должен принуждать ее к аменгерству.

Токай взглянул на Байдалы, а Байдалы – на Токая. Улпан говорит так потому, что беспокоится за свою судьбу. Русские торе могут подумать, что с ней согласны все казахские женщины. Ну ладно… Есть же бог на свете… Наступит день… Конечно, пусть продлится жизнь Есенея! И все же, кажется, тот день недалек…

Еще два дня продолжались разговоры. Байдалы-бий и Токай-бий по мелочам схватывались, а в главном были заодно. Будто, чтобы справиться о здоровье, пожелать долгих лет жизни, они навестили Есенея. Пытались намекнуть – хорошо бы, он заставил Улпан уступить, не настаивать…

Но Есеней не поддался на уговоры.

– Улпан я доверился один раз и навсегда, и никогда не раскаивался. Ее слова не только мои слова, это слова всех сибанов. Пусть ваши уши к этому привыкнут.

К себе за занавеску он их не допустил, а сказав то, что сказал, замолк.

Под нажимом Турлыбека и Леознера предложения Улпан были приняты. Первое – целиком: вдова имеет право выйти замуж за того, за кого захочет. А второе – с поправкой: вдове остается две трети скота ее мужа и всего остального имущества, а одну треть она должна раздать его родственникам.

Съезд аульных представителей Омской области состоялся не скоро, а когда состоялся – принял такие же законы для степи. Не всюду они соблюдались, но важно было, что они есть.

18

Счастье пусть не обойдет ваши отау-юрты…

…Гаухар, Бикен – Мустафа, сын Сегиз-серэ, Кенжетай, брат Мусрепа…

Мустафа, Кенжетай – Гаухар, Бикен…

Мустафа – Гаухар…

Кенжетай – Бикен…

Да приумножится ваша радость…

…думала Улпан.

19

Как далекое и невозвратное прошлое вставал перед нею тот день… Шынар и она – молодые, беззаботные, счастливые – встретились в доме Мусрепа, и, казалось, всегда будет зеленый луг, вытканный цветами, и солнечное озеро… И неуклюжий белый верблюжонок смотрел на нее, прикрыв глаза длинными ресницами, и доверчиво протягивал губы.

А потом на долю Улпан выпали испытания, которые только женщине – не мужчине – под силу одолеть.

Есеней в общей сложности пролежал девять лет. Он нуждался в постоянном уходе – трясучка, иногда сильнее, иногда слабее, но руки у него ничего не могли удержать, кумыс из пиалы выплескивался на одеяло. Когда переезжали на джайляу, несколько джигитов во главе с Шондыгулом осторожно выносили его и укладывали в повозку, устланную кошмами.

Что должен был чувствовать человек, который на протяжении долгих лет привык быть сильным? Он не говорил об этом. Он не ждал помощи. «Медицина бессильна», – как про Артыкбая когда-то, говорили врачи и про него. Называли болезнь – аулие Витт, аулие Витт. Но какой же это святой, если он обрекает на мучения людей?!

Сколько было походов… Сколько ран, тяжелых и легких, он носил на своем теле… А там еще – купание в ледяной воде… Когда не пришлось ему обсушиться как следует и согреться в юрте проклятого из проклятых Кожыка! Шокпар в руках Иманалы… Пенять еще можно было бы, смириться с горькой несправедливостью – нельзя! Есеней не раз говорил Улпан: «Наверное, бог считает, что он больше ничего не должен мне, но тогда и я сполна уплатил ему свой долг, всеми моими мучениями…»

В том же недобром прошлом году – день в день с Есенеем – умер Артыкбай-батыр. Гонец из Каршыгалы и гонец из Суат-коля на половине дороги встретились и повернули, каждый своих коней обратно.

Улпан не смогла проводить в последний путь отца, а Несибели, ее мать, не была на похоронах Есенея.

Надо было жить дальше.

Молодую еще женщину, Улпан давил груз прожитых лет, как будто их уже сто, не меньше, было на ее пути.

Надо было жить ради Бижикен, той исполнилось уже десять. И нравом, и внешностью она удалась в мать. В ней заключались для Улпан и радости, и заботы, и тревоги. А ведь когда-то горевала, что родила не сына, а дочь.

Еще при жизни Есенея, три года назад, Улпан достроила в ауле медресе с расчетом, чтобы там могло учиться пятьдесят детей.

Мальчишки ходили к мулле – для «ломки языка», как называли обучение грамоте, а из девочек – одна-единственная Бижикен. Самой Улпан не пришлось, пусть хоть дочь…

Бижикен радовала ее своими успехами. Одолев за два года премудрости алип-би-ти, она перешла к корану… По вечерам дома, когда у матери сидели женщины, Бижикен читала им – и про несчастливую Кыз-Жибек, которая потеряла любимого, и про Слушаш, которую отец не пожалел, продал за богатый калым, читала «Енлик – Кебек», «Шах-Намэ» и другие дастаны. Женщины могли слушать бесконечно, и Бижикен научилась не просто читать, она выражала свое отношение к тем или другим людям, о которых в дастане рассказывалось… «О, айналайн…» – вздыхали женщины, у каждой из них ведь и свои горести были, и они простодушно всхлипывали, слушая о чужой жизни, чужих страданиях. Шли домой, облегченные этими слезами, а назавтра снова просили – почитай, Бижикен…

Со смертью Есенея встречи прекратились.

Улпан по обычаю пять раз на день читала намаз. Она оставалась наедине со своими мыслями о прошлом. При жизни Есенея, хоть и был он беспомощен в последнее годы, его имя поддерживало ее, мало кто решался в открытую выступить против того, что она предлагала.

Она разделила земли между всеми десятью сибанскими аулами, и каждый дом теперь имел свой кусок хлеба, независимый ни от Есенея, ни от кого другого. Говорили, что этому примеру последовали в других казахских округах Сибири, и никому плохо не стало! Улпан и не знала, что с нее началось, с первой… Она пожалела когда-то забитых нуждой, беспомощных аульных людей. Пожалела – и сделала, что могла. За эти годы количество скота в их семье сократилось чуть ли не вдвое, зато вдесятеро – увеличилось у

сибанов. Поначалу робко, а теперь в привычку вошло – хвалиться друг перед другом собственным жеребцом, собственным бараном… А зиму дети проводят не в промерзлых юртах – в теплых землянках, в домах, кто как.

Есенея все уважали и, уважая, боялись. А Улпан они уважали и любили. Когда-то, как нищие, приходили выпрашивать, теперь приходили за советами. Кто бы стал по простому житейскому делу советоваться с Есенеем!.. А когда он слег, все пять волостей кереев и уаков при разборе ссор, недоразумений, взаимных обид не могли миновать Улпан, чтобы от нее узнать мнение сибанов и самого Есенея.

В медресе к мулле зимой и на джайляу ходило около сорока ребятишек, зато весной и осенью их число сокращалось значительно. Они помогали дома по хозяйству. Кто хотел учиться, для того перерывы проходили безболезненно, потому что мулла занимался круглый год, и ученик возобновлял учебу с того места, на котором остановился.

А многие – бросали. Трудно было, все эти «алип-би-ти» никакого отношения не имели к родному привычному языку, надо было зубрить, а от зубрежки пухла голова… Первым перестал ходить на занятия старший сын Мусрепа. Целое лето и целую зиму он твердил одно и то же: «Хи-сын-ха… хисын-хи… хитур-хо», а дальше так и не двинулся. Сейчас он с удовольствием пас аульных овец.

Второй сын Мусрепа – Ботпай оказался смышленым, он быстро схватывал смысл непонятных палочек, закорючек, точек и в этом не отставал от Бижикен. Но гораздо больше его привлекали игры, хорошие лошади и – пришедшая по наследству от отца – любовь к домбре и песне. Наверное, он тоже недолго протянет в медресе.

Улпан читала полуденный намаз, когда прибежала Бижикен раньше, чем обычно, и повисла сзади у нее на шее. Она раскачивала мать из стороны в сторону, но молча, чтобы не мешать молитве. А когда мать кончила, не отпустила ее, так и продолжала стоять, прижавшись.

– Что случилось?..

Молчание.

Улпан обернулась, увидела надутые губы.

– Что такое, мой верблюжонок?..

– Мулла говорит… говорит, мы тоже будем читать намаз… Завтра начинается месяц уразы, он велел, чтобы мы и постились, и намаз…

У сибирских казахов религиозные мусульманские отправления проводили татарские муллы, называли их в народе – ногай-мулла. Много было среди них и не мулл вовсе, а малограмотных шарлатанов, которые оболванивали людей именем бога. И торговля была в руках ногайских купцов. Так что и аллах полностью находился в их руках, и торговля, и обман, и прибыль, – в их руках. Ни ногаями их нельзя было назвать, ни муллами, ни купцами, а точнее всего – торгаши… А что может быть подлее торгаша?.. Бижикен всего этого знать не могла, но муллу в медресе она не любила.

– Мулла всех ребят увел к озеру, – продолжала она рассказывать матери, как всегда и все ей рассказывала. – Будет показывать, как совершать омовение. А мне сказал – тебя пусть мать научит. А Ботпай…

Бижикен представила себе, что натворил Ботпай, и весело рассмеялась.

– Так что – Ботпай?.. – спросила Улпан.

Оказывается, после слов муллы об уразе, омовении, намазе Ботпай поднялся со своего места и покорно сложил обе руки на груди. Спросил: «Мулла-еке, можно?..» Так полагается, если на двор просишься. Мулла разрешил. А Ботпаю и не нужно было – он, как только вышел, запел во все горло песенку…

– А ты запомнила?

– Запомнила, запомнила!

Бижикен вскочила и в самом деле стала похожа на озорного мальчишку.

Мулла, мулла мулла-ки…

Как у кошки усики!

Сколько ты – я столько знаю,

ты – молись иль не молись —

в свой аул скорей катись!

Не хочу поститься

И не стану мыться,

не пойду молиться!

А дальше Ботпай, наверное, не успел придумать, чтобы как стихи было, он просто крикнул: «Кому хочешь, тому жалуйся!» И побежал в аул. И его дружок Ережеп за ним, они, конечно, заранее договорились.

– Нехорошо… – стараясь не улыбнуться, сказала Улпан.

– Я тоже не хочу поститься! – вызывающе сказала Бижикен. – Не буду намаз читать! Улпан привлекла ее к себе.

– Ладно, там посмотрим… Приедет старший мулла, я с ним поговорю… Иди, поиграй!

Бижикен убежала, а Улпан, продолжая смотреть ей вслед, когда она уже и скрылась с глаз, думала: «Е-ей, Бижикен… Я росла – никому спуску не давала, как ты, гордой была. А все благодаря отцу, хоть он и прикован был к дому, но считался батыром, прославленным. Кто тебя поддержит?..»

Часто, наблюдая за Бижикен, Улпан вспоминала себя в ее годы. Родная дочка, не спутаешь. Ни за что не заставишь сделать то, что ей не по душе, заступится за слабого, а сильному не побоится дать тумака, если тот обидит ее…

Бижикен было семь лет, когда она начала учиться в медресе. Приходила радостная, гордая. Оказывается, существует двадцать и еще девять букв, с их помощью можно написать любое слово, а другой, кто буквы знает, прочтет что ты хотел сказать! Она делилась своими открытиями с матерью, с отцом – Есеней был тогда жив…

Сейчас Улпан беспокоило то, что с уроков не одна Бижикен возвращается огорченная, мрачная, а, кажется, и другие дети. Действительно, надо поговорить со старшим муллой, когда он вернется из города… Ей, может быть, трудно судить… Но занимаются они все вместе. И те, которые: «алип-би-ти…», и другие – у них уже коран в руках. А все – в один голос, будто ягнята, подпущенные к матерям. Про себя читать не разрешается, только смолкнет что-нибудь, тут же прут муллы стегнет его между лопатками.

Все сорок зимой сидели в одной комнате, а летом – в одной юрте. «Алиф-би-ти, алиф-би-ти…» – выводил кто-то, кто недавно переступил порог медресе. «Ряс-ря… ряс-ри… рятур-о…» Третий весь день молол одно и то же: «Алиф-ки-кусин-ан… алифки-кусин-ен… алифки-кутир-он – ан-ен-он!» Постарше парнишка напевно выводил

строки из корана: «И не облекайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то время, как вы знаете…» Наверное, и сам молодой мулла запутался бы, попроси его истолковать хотя бы одну суру из корана!

У Бижикен были свои обиды на муллу. Она любила рисовать – что увидит, что придет в голову. Бодаются два козленка. Мать читает намаз. Старуха Асылтас согнулась под тяжестью мешка – собирала кизяк, теперь несет домой. Многие эти наброски карандашом только ей самой и были понятны, кто – мать, а кто – старуха Асылтас… Хорошо еще, что человека можно было отличить от козленка…

В тот четверг мулла, как обычно, укладывал своих учеников в один ряд животом вниз, и начинал гулять прут. Пороть мальчишек раз в неделю считалось непременной мерой воспитания. Зачастую розга прохаживалась по ним слегка, для порядка. Но бывало и иначе. По уговору раз в неделю, именно в четверг, каждый ученик обязан был принести мулле денег – две копейки. Но детям бедняков это не всегда удавалось, и тогда прут ходил по-настоящему, со свистом рассекая воздух.

Одна Бижикен была освобождена от наказания, но, в назидание, должна была сидеть и смотреть, как наказывают других…

Случилось так, что приношений было мало. Младший мулла, он в это время оставался один в медресе, очень раздраженный, принялся за дело. Он сидел напротив входной двери, а ученики улеглись по кругу… Для начала он прошелся упругим прутом по их спинам, подряд – ишарат дуре, условная порка… Но для тех, кто не принес медяков, она оказалась не очень-то условной. Они вздрагивали всем телом, прижимались к соседям.

Двое плутоватых мальчишек, оказывается, решили поднажиться, отдали мулле половину денег, но прут быстро убедил – так поступать

нехорошо, и один вытащил из-за пояса штанишек утаенную копеечную, а другой – полукопеечную монету.

Не вздрагивали при порке, не жались один к другому только двое – Ботпай и Ережеп. Из упрямства.

Бижикен сидела у стены. Поначалу ей трудно было смотреть, как усердствует мулла, девочка не поднимала глаз, утыкалась в книгу. Но постепенно она привыкла.

Когда двое мальчишек бросили мулле утаенные медяки, Бижикен решила, – а если нарисовать, что у них в медресе проходит по четвергам?.. Карандаш вывел на бумаге множество кружков – они в юрте расположились по кругу, головы к мулле, а ноги к стене. Множество палочек – их туловища. К палочке внизу – еще две палочки, и это ноги… А вот и мулла… Побрился он так, что обкорнал верхнюю половину усов, а кончики торчали, словно у кота, который заметил мышонка. Острый хитрый нос. На бритой голове – черная тюбетейка. А в руке длинный прут.

Бижикен увлеклась и не заметила, как впились в нее маленькие, глубоко посаженные глазки. Мулла вкрадчиво – кот и есть – подобрался к ней и вырвал листок. О аллах милосердный!.. Каким гнусным изобразила его эта девчонка! Мулла разорвал бумагу в мелкие клочки. Усы у него топорщились еще сильнее, глаза блуждали, дрожали губы – мулла шептал что-то… Бижикен встречала в коране слово – уйалят, а что такое – билат, которое вырвалось у муллы?

С тех пор Бижикен рисовать перестала.

В медресе было два муллы. Старший – Хусаин-гази – уехал в Тобольск, привезти памятник на могилу Есенея, так хотела Улпан. Ведь через две недели – годовщина со дня его смерти, и сибаны

ждут, не перебираются на джайляу, а временно раскинули юрты неподалеку, на берегу озера Карагайлы-коль.

В пяти волостях кереев и уаков распределили, кто и сколько должен надоить кумыса. Улпан ко всем разослала нарочных. Не послала к одному Кожыку – она хорошо знала, как относился к нему Есеней, она помнила из рассказов, как он, окунувшись в ледяную воду, случайно оказался в косе Кожыка и даже не захотел обогреться у его огня… С того и начались их беды… Кожыку – не место среди приглашенных на поминки.

Хусаин-мулла вернулся.

Семигранный, рубленный из смолистых, выдержанных сосен мазар Есенея, с куполом из жести, выкрашенной – под цвет неба – голубой краской. По размерам своим он не уступал двенадцатикрылой юрте. Мазар, наверное, и станут называть голубым куполом, потому что не принято по всякому поводу и без повода, особенно после его смерти, трепать имя Есенея.

Хусаин-мулла привез и надгробный камень и хвалился, что никому не удалось бы раздобыть такой… Сорокапудовая каменная глыба – вся в золотых и серебряных жилах, и солнце переливается в них… Достойное надгробие для такого человека, каким был Есеней.

– Спасибо вам, мулла-еке, за ваши хлопоты… – сказала Улпан. – Как же вам удалось достать его?

– Акша бит… Акша… – многозначительно произнес мулла, давая понять – были бы деньги, а за деньги все можно…

Улпан не забыла, что должна поговорить со старшим муллой и о делах в медресе.

– Я не понимаю… Ураза? Но зачем безгрешных детей заставлять поститься и читать намаз? За три дня двенадцать учеников перестали

ходить… Их родители вместо того, чтобы отругать их, смеются над младшим муллой. И моя Бижикен ходит к нему с большой неохотой, – добавила Улпан.

Двенадцать перестали ходить?.. Для старшего муллы такой урон был равен тому, как если бы волк задрал его двенадцать ягнят! Он потряс руками:

– Будь он семь раз проклят, бялябяйский ублюдок, нищий из нищих! Завтра же прогоню его!

Дети на время могли чувствовать себя спокойно. Учителям было не до них. Муллы, призывая в свидетели аллаха и его пророка, грызлись между собой. Особенно этот месяц был важен для каждого из них. Ураза – и никто не придет к мулле с пустыми руками, потоком идут приношения: скот, шкуры… Денежные пожертвования. А еще недалеко и поминки по Есенею, тоже только успевай подставлять руки! В такое время старший мулла изо всех сил постарается откусить младшему голову.

Наконец надгробный камень лег под голубым куполом, место вокруг мазара было расчищено, и Хусаин-мулла позвал на кладбище Улпан.

Она пришла вместе с Дамели и Шынар. Взяла с собой и Бижикен.

Тяжелый камень, привезенный с Урала, становился то светло-серым, то небесно-голубым, с какой стороны встать, как упадет на него свет, заставляя играть медные и серебряные прожилки… И сумели же мастера – отделить его от скалы, отшлифовать так, что можно смотреться, как в зеркало!

Хусаин-мулла торжественно прочел молитву, слова гулко звучали под сводами купола. Бижикен сидела возле камня, поджав под себя ноги, и ждала. Мулла заранее готовил ее – пусть возле могилы отца прозвучит непорочный, чистый голос его дочери.

Бижикен начала, голос ее дрожал, но постепенно она справилась с волнением, и, будто не из корана читала, а складывала песню… Плакала Дамели, плакала Шынар. Слезы застилали глаза Улпан. Арабские слова звучали будто к ней за помощью обращалась Бижикен: «Апа… Почему ушел от нас отец?.. Разве он не знал, как нужен мне? А тебя у нас в ауле все зовут – Акнар-апа… Все дети считают тебя матерью… И для меня ты – самая лучшая, самая родная… На всем свете нет лучше, чем ты! Но почему так рано ушел отец? Я никогда не буду сиротой, у меня есть ты. Но как больно мне, когда я вижу наших мальчишек из медресе, девчонок, таких как я, рядом с их отцами. Как они бросаются к ним на шею, как ласкаются. А у меня – отец не мог меня взять на руки, погладить по голове…»

Есенея, постоянно скрытого занавесью, Бижикен впервые увидела, когда ей исполнилось четыре года. Мать думала, девочка может испугаться, и Есеней сам не разрешал приводить к нему Бижикен. Но кто возьмется уследить? Бижикен, оставшись без присмотра, отворила дверь в его комнату, просунула головку, раздвинув занавесь, – и замерла от испуга. Как и ее мать когда-то, Бижикен не знала, что бывают такие большие головы – словно покрытая обильным инеем голова старого буры! Лицо – с большую чашу величиной, но чаша будто потрескавшаяся от многих-многих морщин, и в пятнах… Руки тряслись – и тряслись два человека, которые держали его за руки.

Бижикен вскрикнула, опрометью кинулась из комнаты и успокоилась в объятиях матери, которая уже отправилась на ее поиски. «Апа… апа… апа…» – только и могла она выговорить. Улпан помнила, сколько труда понадобилось чтобы ее успокоить. «Не бойся, айналайн, не бойся, – повторяла она шепотом. – Он не сделает тебе ничего плохого, он твой отец. Он тяжело болеет, но скоро будет здоров». – «А почему те двое?.. Моего отца схватили за руки и не хотят отпускать?» – «Он трясется весь, такая болезнь. За руки не

держать – он уснуть не может. Его удержать одни человек не в силах. Твой отец – батыр…»

Первый испуг прошел, и четырехлетняя Бижикен привыкла к виду отца. Она рассмотрела его глаза, а глаза были добрые. Она теперь с мальчишками играла, с девчонками-сверстницами совсем по-другому – у нее, как и у них, есть отец! А когда ей исполнилось семь лет, Бижикен каждый раз перед уходом в медресе относила отцу пиалу кумыса, это была ее обязанность.

Руки ему держали, а ноги постоянно были прибавлены тяжелым вьюком из одеял и подушек. Бижикен иногда устраивалась поверх и пыталась поиграть с Есенеем, но вьюк дрожал, как живой, и долго ей никогда не удавалось удержаться, она скатывалась на пол и говорила: «Папа, я пойду к мулле учиться – алип-би-ти… А ты поспи. Хорошо?» – «Хорошо, маленькая, ты иди, а я посплю». При ней он не позволял себе расслабиться, но закрывалась дверь, и у него вырывался стон: «О боже! За что?..» Сколько раз мысленно он брал ее на рули, сажал на плечо… Сколько раз чувствовал, как Бижикен забираемся к нему на спину, когда он совершает намаз, и руками обхватывает его за шею… «О боже…»

Так это было, и Улпан понимала – отец, пусть и прикованный к постели, не такой, как у других, был нужен, нужен Бижикен! Но что поделаешь?.. И уже другой упрек слышался ей в напевных словах дочери, которая продолжала читать молитву в мазаре, у камня, этим камнем навсегда отгорожен от них Есеней!

«Апа… А почему я одна у тебя? У папы?.. Где мои братья? Где сестры? Кроме тебя, нет. Ты одинока, и я одинока… Когда я ночью просыпаюсь, слышу твои вздохи. Неужели ты никогда не перестанешь вздыхать, апа? Прости, но не веселят меня самые веселые игры… если вижу – упал малыш по имени Сейтек и его сестренка Айша, она моих лет, сажает брата к себе на плечи. А Багила

упала – ее подхватит Сансызбай, старший брат. Мне тоже хочется кого-нибудь унести на спине. А меня, когда я была маленькой, как они, кто-нибудь уносил на плечах?»

Нет, ничего этого не говорила Бижикен.

Бижикен, полузакрыв глаза, произносила нараспев:

– … Он оживляет и умерщвляет, и к нему вы будете возвращены… Те, которые уверовали и были благочестивы, – для них – радостная весть в ближайшей жизни и в будущей…

Она читала, не понимая слов, которые произносит. За нее печалилась, не вытирая слез, Улпан и вкладывала в эти слова свой смысл, свою непроходящую боль. «А Бижикен у меня взрослеет», – думала она.

Человек тридцать собралось за аулом во главе с Байдалы-бием и Кузембаем, волостным управителем. Они сидели, разговаривали о предстоящих поминках, когда возле них остановились всадники, трое, поздоровались.

– Добро пожаловать… – откликнулся Мусреп.

Его поблагодарил безбородый, чей конь стоял впереди:

– Спасибо… Мы по делу приехали. От Кожык-батыра. От его имени мы должны повидаться с Улпан-байбише. Она дома сейчас?

– Вы слезли бы с коней… – продолжал Мусреп, которому всадники не понравились, и разговор безбородого – тоже. – Сказали бы нам – с чем приехали. А там видно будет, дома Улпан-байбише или ее нет.

– Нет, – упрямо возразил безбородый. – С чем приехали, скажем Улпан, самой, и тут же повернем коней обратно.

– Тогда сразу можешь повернуть. Не примет она, особенно людей, посланных Кожыком.

– Ну и сибаны!.. Пройдохи! Не успели похоронить Есенея, а жену его держите в черной юрте, никого не подпускаете к ней! Хотите его орду разграбить?

Мусреп взглянул на Шондыгула, и Шондыгул поднялся, легко сдернул с коня безбородого, конец повода сунул ему в руку и самого прижал за плечи к земле перед Байдалы-бием.

– Говори… – приказал бий.

Тот нисколько не смутился и начал:

– Что ж, скажу! Может быть, до вас дошла весть, что аулы Кожыка, все его двадцать четыре аула поразила черная оспа? Почему не пригласили батыра на поминки Есенея?

Бий, выслушивая кого-нибудь, не станет вступать с ним в пререкания, он только вынесет окончательное решение, и хотя ответ у Байдалы был готов, он кивнул Мусрепу.

– Есеней при жизни никогда не звал Кожыка, – сказал Мусреп. – А умирая, завещал, чтобы разбойники с большой дороги не глумились над его прахом. Кожык не будет позван.

– Что еще скажешь? – обратился к гонцу Байдалы-бий.

– Скажу – Кожык привезет двадцать четыре сабы с кумысом, сто баранов, пятьдесят откормленных кобылиц для забоя. Двух наров он нагрузит подарками для Улпан-байбише. Двадцать четыре скакуна готовы к байге в честь Есенея.

Байдалы еще намеревался послушать.

– Керей-уаки – все – знают… – продолжал Мусреп. – В ту осень Есеней еле выбрался из ледяной воды, замерзал по дороге. Но когда ему попался шалаш Кожыка, Есеней не обогрелся возле его огня, не прикоснулся к еде. Кожык не человек, а свинья, если воображает, что мы позволим ему поганой ногой ступить на землю, где будут поминки…

– Что еще можешь сказать? – спросил Байдалы.

– Скажу – сибаны, вы зря так поступаете. Есеней умер, а живая мышь не боится дохлого льва! Есеней умер – кто вас будет бояться, сибаны? Кожык – это Кожык… Кенесары сегодня – это он. Двести коней у него всегда на привязи, двести джигитов спят по ночам, не раздеваясь, подложив седла под голову. Раз вы так поступаете, Кожык возьмет сибана на мушку! Тогда посмотрим… Я все сказал.

Настала очередь Мусрепа взглянуть на Байдалы-бия. Бий вынес приговор:

– За наглость, за неуважение к скорби аула, который готовится к поминкам, дать этому безбородому сорок ударов плетью… За угрозы, произнесенные им, отнять коня, а самого отправить пешком!

Если приговор бывает чрезмерно суровым, один из тех, кто находится рядом, может по обычаю попросить: «Смилостивьтесь, биеке…» Бий может наказание по такой просьбе уменьшить до половины, хотя все равно считается, что виновный понес наказание полностью. На этот раз никто не заступился, и Шондыгул с несколькими джигитами увел безбородого.

Вечером в доме Улпан собрались Байдалы, Кузембай, Мусреп и совсем молодой, но уже проявивший свое мужество джигит по имени Кунияз.

Улпан выслушала их, спросила:

– Как понять Кожыка? То, что он послал к нам гонцов, это конец его бесчинствам, или он что-то новое задумал?

Ей ответил волостной – Кузембай, из керейского рода кошебе:

– Будь наш Есеке жив, я бы сказал – конец бесчинствам. Но Есеке нет… Безбородый говорил – у Кожыка двести джигитов, они постоянно грабят аулы по ту сторону Ишима. Теперь по старой памяти Кожык наметился и на керейские земли.

Байдалы высказал свое мнение:

– Эта кровожадная собака к живому Есенею боялась подступиться… Кожык хочет свести счеты с мертвым Есенеем!

Предположения свои они высказали, но ни тот, ни другой не обмолвились – что же предпринять. Видимо, решить это они предоставляли Улпан самой.

За Кожыка когда-то Кенесары отдал младшую сестру, сватом приходился Кожык и Чингису Валиханову. С молодых лет – едва семнадцать исполнилось, – Кожык стал известен своим злобным нравом, своей беспощадностью. Поначалу степные аулы приняли сторону Кенесары, а через два-три года поняли, что одна дорога с ним к добру не приведет, и стали возвращаться… Кожык со своими головорезами – их у него тогда было триста – охотился за беглецами по приказу Кенесары, отбирал скот, угонял девушек и молодых женщин, и во всей добыче имел свою долю. Когда Кенесары удалось захватить крепость Тургай, Кожык был первым в кровавой расправе с мирными жителями. Кожык с Кенесары шел до конца, и не отстал бы от него, если бы тот не погиб, когда напал на киргизов… А Кожык бежал на север Бетпак-Далы, угнав с собой четыре тысячи лошадей. Потом он поселился в урочище Мензей, в нижнем течении Ишима. Его власть распространялась на сто пятьдесят верст по обе стороны реки. Атыгаи и караулы, жившие на этих землях, бежали от соседства с ним. Бежали уаки, хоть сам Кожык и происходил из уаков. От девяти жен у него было двадцать четыре сына, и каждый владел аулом. А в аулах собрались те, что ходили в походы с Кенесары. Кожык, наверное, решил, что пришло его время, и на поминках хотел запугать насмерть и поставить на колени кереев.

Улпан заметила нерешительность Байдалы-бия и Кузенбая, но не впервые принимала она на себя ответственность, взваливала на плечи тяжелый хоржун…

– Поминки мы с божьей помощью проведем, сородичи мои, – сказала она. – Посмотрим… Может быть, если Кожык не уймется, вызовем из Стапа казачью сотню. Но как нам дальше жить? Выходит,

умер Есеней, и никому больше не под силу справиться с Кожыком? Но Есеней разве в одиночку шел на врага? Нет, он бросал общий для кереев боевой клич – Ошибай… Созывал уаков их ураном Жаубасар… И разве все вместе они не прогнали с наших земель не какого-то Кожыка, а самого Кенесары, когда тот был в полной силе! А Кожык… Он из уаков, но родное племя не хочет его знать. Ему удалось избежать кары от рук Есенея, но разве Есеней не сказал вам перед смертью: «Керей, пока ты не покончишь с Кожыком, не будешь знать покоя». Не о себе он заботился – личной вражды у Есенея не было к Кожыку. Этот вор, этот убийца проклят всеми атыгаями и всеми караулами, всеми кереями, всеми уаками! Место ему – в темном доме, где на окнах решетки. Если все остальные попрячутся по лесам, сибаны в одиночку вступят в схватку с Кожыком… У них больше нет Есенея, но мужчины, слава аллаху, есть!

Молодой Кунияз весь напрягся при ее словах о том, что есть у сибанов мужчины, хоть сейчас на коня – и в поход.

– Улпан говорит правильно… – начал Мусреп. – Говорит, что давно должны были сказать мужчины. Гонца Кожыка выпороли… Коня у него за наглость отобрали. Значит, сибаны решились на все. Но Кожык не только их враг. От предков достался нам обычай – такого общего врага, неисправимого злодея закидывают камнями, по камню от каждого рода… Сибаны, я думаю, не останутся в одиночестве. А место Кожыка – в тюрьме. Байдеке, кому же, как не вам, начать это дело и завершить его…

Байдалы-бий любил, когда его имя называлось первым. Он сказал:

– Самый верный путь покончить с разбойником, это – чтобы бог осенил единством кереев и уаков.

– А за кем же пойдет народ, если не за вами? – почтительно произнес Мусреп. – Известен Байдалы-бий не только среди казахов, но и среди русских. Кто может сесть выше вас?

Байдалы гордо поднял голову.

– Кузембай! – обратился он к волостному управителю. – Готовь пригауар пяти наших волостей… Выслать в край собачьих упряжек, чтобы никогда не мог вернуться обратно. Навечно…

– Нас ждут, – напомнил Кузембай. – Другие бии, волостные управители. Позвать их сюда?

Кунияз огорченно воскликнул:

– Жаль! А я уж думал – настал день, можно садиться в седло, поднять знамя, крикнуть боевой клич! А вижу – дело ограничится тем, что будет испачкана еще одна бумага!

За годы после Кенесары, если и случались кое-какие мелкие стычки, все равно это время можно было назвать мирным. Сибаны обзавелись скотом, меньше, по сравнению с прошлым, стали умирать дети, джигитов в аулах прибавилось. Если раньше жители этих краев считались людьми благодаря Есенею и его имени, теперь они и сами что-то представляли из себя.

Все собрались и все ждали, что скажет Байдалы. Он воздел к небу руки:

– Седлай коней, сибан! – торжественно произнес он. – Седлай коней, бросай боевой клич! Бумагу тоже напишем, но одной бумагой Кожыка не свалишь. Помните – если всех посчитать, у него найдется больше трехсот джигитов! Помните и то, что наш поход будет считаться сибанским походом.

– Значит, поход все же состоится? – обрадовано спросил Кунияз.

– Да… Большой поход…

К походу готовились быстро и решительно.

Трудно было найти хоть один аул, у которого не нашлось бы своих счетов с Кожыком, и все пять волостей посылали против него своих джигитов. Но нужны были хорошие кони, еда… Байдалы не зря намекал, что поход будет сибанским.

– Бог в помощь, мужчины! – говорила Улпан. – Дух Есенея не обидится на меня, если его скот я обращу на такое благородное дело…

Люди называли Кожыка вором – и это было верно. Грабителем – тоже верно. Убийцей… В степи многие казахи остались лежать навечно после встречи с ним или с его людьми. Опять и опять вспоминали, как во времена Кенесары Кожык устроил резню среди русских – в Тургае и Мокрасыбае. Про него рассказывали, что он со спокойным лицом слушал крики детей в подожженных домах. Таким в молодости был, таким остался на всю свою жизнь. Через его земли и сегодня никто не проедет неограбленным. Страх, который внушало его имя, доставлял Кожыку наслаждение. Он состоял в родстве с ханскими родами. И еще не все нити были оборваны, которые поддерживали надежды на восстановление ханского трона, и многие из этих нитей Кожык держал в своих руках.

Сарбазы его давно состарились, кое-кто и на коня уже не был в состоянии сесть. Но выросли сыновья, многие из них запах крови узнали, едва отведав материнского молока. Так вот, если кто-нибудь задумает расстелить белую кошму, чтобы поднять на ней нового хана, у Кожыка всегда наготове боевой отряд!

Как он мог так долго продержаться?.. Русские чиновники не очень доверяли жалобам, обвинявшим Кожыка в разбое, и не принимали во внимание приговоры, которые ему выносили бии и волостные

управители. На жалобы Кожык сам посылал жалобы… В ответ на их приговоры – выносил свои. Такие ответные иски часто встречались у казахов, и дела запутывались до невозможности. Кроме того, одно время Кожык настаивал, чтобы его аулы выделили в отдельную волость. Писал, что у него пятьсот юрт. Когда проверили, все это оказалось чистейшей ложью. Верно, джигитов насчитывается свыше трехсот, но аулов – всего двадцать четыре, пятисот юрт не набирается. И в самом деле он вор, много чего за ним числится… Но у кого, спрашивается, из казахских биев чистые руки? Есть ли такой казахский волостной управитель, на которого не поступало бы хоть одной жалобы в день? Все они мастера наговаривать друг на друга, и клеветники столь искусные, что попробуй разобраться, кто прав, а кто виноват. Пусть разбираются сами – русские чиновники сходились на этой мысли, и Кожык преследованиям не подвергался.

Но на этот раз чаша терпения переполнилась. Керей-уакские бии, волостные управители проявили настойчивость. Бумаги с нарочными отправили не только в Кзыл-Жар, но и в Омск – генерал-губернатору, а пока бумаги там будут читать, пока будут думать, как поступить, – по сто пятьдесят джигитов из каждой волости собрались, чтобы идти в поход. Их вели Бокан-батыр – из шагалаков, из таузар-кошебе – Мустафа, он не только унаследовал от своего отца Сегиза-серэ умение слагать песни, но и считался отважным батыром, который не может мириться с несправедливостью. От сибанов – Кунияз, от рода балта – Кушикбай-батыр; балта, род немногочисленный, но очень почитаемый всеми кереями. Шли с ними волостные управители, бии – Кузембай, Байдалы… Не остались дома и влиятельные в аулах люди – такие, как Мусреп, и с ним Кенжетай.

Улпан для сибанских джигитов дала шестьдесят коней, не глядя на стати, на масть: из лучших выбирал Шондыгул. Сказала – не станет требовать их обратно. Сорок, жирных яловых кобылиц для забоя,

чтобы джигиты ни в чем не нуждались, табунщики гнали следом за отрядами.

Северный берег Ишима сплошь зарос лесами, много было озер, где в камышах гнездились гуси и утки. И они, и другие перелетные птицы – журавли, кулики, чибисы – в те времена не достигали северо-востока Сибири, лето проводили в западной, выводили потомство и с ним на зиму улетали. Только серые утки с черными колечками на шее летели дальше на север.

Стараясь не вспугивать чутких птиц, чтобы не привлечь ничьего внимания, отряды обходили озера, бесшумно углублялись в леса. Разведчики заранее, оставшись незамеченными, определили, где какой из двадцати четырех аулов Кожыка расположился. Те не очень и охранялись, привыкли, что все их боятся. На рассвете каждый аул по отдельности был окружен, так что объединиться они не смогли, не смогли и оказать сопротивления. Покорно сложив руки на груди – совсем не такие, какими их привыкли видеть в степи, кожыковские джигиты ожидали решения своей участи.

Мустафа взял на себя – захватить самого Кожыка.

Со своими сорока джигитами он обложил двенадцатикрылую юрту, которую сам Кожык, с его чванливыми ханскими повадками, называл белой ордой.

Когда кольцо было замкнуто, Мустафа крикнул во весь голос:

– Кожык!.. Выходи!

В открытую дверь грохнул выстрел, и пала одна из лошадей.

– Ты, собачий сын! Если жить хочешь, выходи из юрты!

И снова выстрел был ответом на его слова – застонав, начал сваливаться из седла один из джигитов.

– Разрушим его шанрак… – приказал Мустафа.

Это был от предков пришедший способ – джигиты на полном скаку огибали юрту и, привставая на стременах, наносили удары тяжелыми шокпарами по остову юрты, отчего с треском ломались ууки. Увлекая за собой верхнее покрытие, рухнул шанрак.

Раздался пронзительный вопль женщины:

– Погубил ты нас, погубил, Кожык!

Закричал ребенок.

– Огня! – потребовал Мустафа.

Как всегда в юрте, противоположная от двери сторона была заставлена сундуками, на них лежали постельные принадлежности для гостей и другие домашние вещи, которыми не пользуются каждый день. Джигиты принесли непрогоревшие березовые угли – угли были закопаны в золу возле кухонной юрты, в ямке для костра, и с трех сторон подожгли остов.

Не переставая, рыдала женщина. Задыхаясь в дыму, надсадно кашлял ребенок.

– Выходи!..

В дверь – прикладом вперед – высунулось ружье, невидимая рука с силой швырнула его. Потом, согнувшись, вышел Кожык. В нижнем белье. К этому времени уже рассвело – он молча стоял перед ними, седой, с непривычной для казаха рыжеватой бородой. Следом появилась его жена – из молодых, с ребенком на руках, который по-прежнему заходился в кашле.

Джигиты – из тех, что были с Мустафой, – вели одного из сыновей Кожыка, Бекежана, его захватили по соседству в отау-юрте, с женой – она приходилась дочерью Чингису, звали ее Рахия.

– Подлец ты… подлец… – сквозь зубы процедил Кожык. – Я послал тебя в дозор на ночь, а ты, выходит, полез к своей бабе под подол, подождать не мог…

Бекежан стоял молча, опустив голову.

В гостевой юрте джигиты Мустафы подняли Якупа, старшего сына Чингиса, и с ним – еще троих.

Легкий ветер подгонял огонь, и белая юрта Кожыка горела уже вовсю, обдавая жаром. Пришлось отойти подальше.

Всех пленных Мустафа приказал вести в урочище Уйен-кили – в тополиную рощу, где ждали бии и волостные управители. А сам остался, пока не сгорит аул Кожыка не только белые, но и черные юрты. Если не сжечь, кто-то из джигитов может тайком вернуться – пограбить, а стоит начать грабить, нет уже воинов, одни мародеры… И пока не утихло пламя на пожарище, Мустафа не садился на коня, чтобы ехать к ожидающим его вожакам похода.

Это был давний обычай у кереев и уаков – выжечь дотла место, связанное с черной бедой, с воспоминаниями о пережитых страданиях и муках… Предают огню и такие места, где случались нашествия оспы и холеры, или же – падеж скота, и потом несколько лет близко туда не подходят.

Аз-Тауке учил: «С того места, где побывала черная беда, даже бульдыргу для себя нельзя брать…» А в ауле Кожыка, кроме бульдырги – сыромятной петли на рукоятке камчи, много всякого добра, но ни один из джигитов не опаганил руки, ни к чему не прикоснулся. Сгорело летнее становище, сгорели его зимовки.

Среди людей Кожыка немало было и таких, которым претило положение отщепенцев, каких-то степных хищников. Кое-кто из молодежи подумывал с том, что куда лучше – веселиться на алты-

баканах, чем рыскать по степи в поисках очередных жертв! Надоели им батыры и палуаны, служившие еще Кенесары, надоели своим обжорством и ленью, надоели хвастливыми нравоучительными воспоминаниями о былых схватках. Нашлось в аулах и много женщин, захваченных в разное время в разных набегах, иные – совсем недавно. Они радовались свободе, надеялись, что уж их-то отпустят по домам, и всю дорогу яростно проклинали ненавистных кожиковсих разбойников.

А те, столь отважные с беззащитными, даже не смогли оказать сопротивления, в одно утро их захлестнуло волной – и смело! Весь этот сброд – больше двухсот человек, с Кожыком, с его двадцатью четырьмя сыновьями – под охраной отправили в Кзыл-Жар. Отпустили только гостей с Якупом во главе, женщин-наложниц – на их родину, и еще – стариков из табунщиков и чабанов. В семье Кожыка при живых мужьях, которые больше не вернулись к ним из Березова, остались вдовами семьдесят две женщины, их не стали высылать.

А в то утро на берегу Ишима, в тополиной роще, джигиты праздновали победу. Они зарезали оставшиеся двадцать кобыл и пировали после захода солнца – месяц уразы еще не кончился – при свете костров. К утру джигиты стали разъезжаться по своим аулам. По установлению биев и волостных управителей каждому дали по одному коню из табунов Кожыка.

И только сибанские джигиты не взяли ни одного.

– Почему отказываетесь? – спросил Байдалы-бий у Мусрепа.

Тот ответил:

– Байдеке, сибанам стыдно наживаться на походе, который вы назвали сибанским. Сибаны сами должны одаривать людей из других

аулов. Мы же дали слово – взвалить на плечи тяжесть этого похода – и не думали о добыче.

– Ну, если так… – сказал бий.

Ни он сам, ни Мусреп не договаривали до конца.

«Отправляемся в сибанский поход…» – говорили джигиты кереев, покидая свои юрты. «Из Улпанского похода мы возвращаемся с победой и с конями!» – славили они имя байбише, возвращаясь. Они успели узнать: последнее слово, что с шайкой Кожыка пора покончить, принадлежало ей.

По дороге бии и волостные свернули в аул Кузембая, чтобы там составить бумагу для губернатора, а в бумаге, кроме всего прочего, записать: семь тысяч голов лошадей, две тысячи верблюдов, принадлежащих Кожыку, они передают в казну…

Настроение у всех было приподнятое. Нет больше угрозы, которая постоянно нависала над их аулами, пока ходил на свободе Кожык…

Мрачным возвращался один лишь Байдалы-бий. Он не переставал корить себя за ошибку. Он думал, если Кожык сумеет отбиться или уйти, то виновных в нападении на него он без расплаты не оставит. А вся ответственность – на сибанах! Но что получилось? Кожык далеко, и возврата ему нет. Дело обошлось почти без жертв. Сибанским был назван поход – и слава вся сибану! И даже не сибану, а какой-то бабе… Твердят – Улпан, Улпан!.. Выходит, что и его, Байдалы-бия, в поход послала эта же баба!

Встретить своих Улпан вышла далеко за аул, в сопровождении девушек и молодых женщин.

Джигиты ехали строем, и трудно было поверить, что несколько всего дней назад они пасли в степи табуны, ходили за плугом, мирно собирались кочевать на джайляу… Впереди всех, как предводитель

отряда, ехал Кунияз, поставив стоймя пику. Справа от него – Мусреп, а по левую руку – Тоганас-палуан. Джигиты, у которых были пики, тоже подняли их кверху, приветствуя своих женщин. А позади ехали те, что были вооружены шокпарами, луками, иные – подняли ай-балта, секиры. В ножнах покоились селебе-пышаки, длинные ножи, наподобие кинжалов.

Женщины глазами искали своих, и радостно вспыхнуло лицо у Бикен, когда она в одном из первых рядов увидела здорового и невредимого Кенжетая, и подумала, что в своем ауле так же сейчас встречает Мустафу подруга ее – Гаухар…

Когда джигиты приблизились, Улпан первой опустилась на одно колено, и все женщины – тоже, и так они стояли, пока не слезли с коней и не подошли к ним Кунияз, Мусреп, Тоганас-палуан и другие джигиты. Им помогали слезать с седел почтенные аксакалы.

Трое главных подошли к Улпан – сказать, чем закончился поход, и уже после этого выпрямились коленопреклоненные женщины и девушки.

– Сорок старух… – сказала Улпан. – И я – сорок первая – пять дней и пять ночей молились за вас, головы наши не коснулись подушек… Когда мужчин нет в доме, кажется, что аулы – совсем пустые. Пусть для сыновей Сибана этот военный поход станет последним, будь проклято то, что разлучает нас! А теперь – заходите к нам, отведайте мяса того скота, что принесен был в жертву в честь победы.

К тем джигитам, которые еще оставались в седлах, подбежали девушки, поддерживая им стремя, и сами повели боевых коней и привязали их к белым юртам Есенея. И пики, луки, секиры красовались у входа, придавая аулу воинственный и суровый вид.

Только что, сидя на конях, джигиты чувствовали себя гордыми и независимыми мужчинами, и вот они снова превратились в мирных

чабанов и табунщиков, пахарей и косарей… Им ли помогали сойти женщины и девушки? А то, что кони были привязаны к поясам есенеевских юрт, не означало ли, что Улпан решила отобрать их после удачного похода?..

Уже откинуты были входные пологи – во всех четырех белых юртах. Кто поскромнее, стремился в крайнюю, но туда не пускали. Пришлось идти в самую большую, где еще вроде бы витал дух Есенея. Джигиты осмелели и, не сняв сапогов, устраивались на шелковых одеялах, положенных поверх ворсистых ковров. Улпан не могла не вспомнить, как она сама постеснялась снять сапоги в лавке тобольского купца в первую поездку, и потому вела себя так, чтобы никому не стало неловко за свою бедность…

Она взбалтывала кумыс, а девушки, и Бижикен среди них, подносили джигитам полные чаши. Возле астау – глубоких деревянных блюд – сидело по восемь джигитов, и в каждом блюде – голова, бедренная кость, казы. Все, что полагается почетным гостям… И дастархан для чая был накрыт богато – закуски, пряности. И так было во всех юртах, где встречали вернувшихся из похода. Улпан как будто доказывала правомерность казахского назидания: «Уважай своих так, чтобы чужие покой потеряли от зависти».

После долгого пиршества джигиты стали расходиться, пора было ехать в свои аулы. Возле юрт их поджидали жены, матери, сестры, и каждая из женщин держала в поводу коня. Женщины улыбались и, словно в этом была какая-то тайна, шептали своим:

– Улпан-апа оставила коня, теперь конь наш…

Бедняк гордится, стоит ему подняться на крышу собственной хижины… А сейчас – они с победой вернулись из похода! Были гостями в юрте Есенея! Получили в дар по доброму коню! Такой гордости каждому аулу хватит на много лет…

Джигиты почувствовали себя мужчинами, которые способны защитить близких… Вместе с ними радовалась Улпан. Ведь после кончины Есенея она и сама была встревожена, и такую же встревоженность замечала среди сибанов. А вдруг всколыхнутся старые обиды у враждебно настроенных к ним племен? Есеней, тот тоже не был безгрешен. Были целые аулы, были и отдельные влиятельные люди, которых он когда-то больно задел, которые помнили силу его непререкаемой власти.

Воинов у каждого племени должно быть не меньше, чем у его врагов. Есеней покинул их… Но ведь именно сибаны возглавили поход всех кереев, а кереев – пять волостей! И это обнадеживало Улпан на будущее – значит, можно не опасаться, что враги воспользуются. Враги будут вынуждены оставить их в покое. Она не считалась табунами своими, отарами… Она не стала забирать лошадей, чтобы никто не мог сказать: «Эта баба до похода многое обещала… А когда вернулись – пожалела…»

Кожык больше не мог угрожать им. Улпан стала готовиться к поминкам.

21

Была байга – и первым мог прийти только один скакун. Вторым – тоже только один. И третьим. И так считали до девяти, а дальше не смотрели – кто за кем… Подарков было девять. Хозяева-неудачники – а таких набралось двести девяносто один – каждый из них заверял – по досадному недоразумению его конь пришел как раз десятым… И даже когда выяснилось, что семнадцать лошадей застряли где-то на половине дороги, дальше у них сил не хватило, то, по утверждению их владельцев, они тоже были десятыми.

Зато у борцов-палуанов все происходило на глазах у зрителей – кто поборол, а кто оказался прижатым к земле.

Поминки прошли мирно – некому было нарушить торжество, оскорбить честь усопшего.

Аул Улпан затих, гости разъехались по всем сибанским аулам – родственников навестить, друзей. Уехали бии и волостные управители, те, что принимали участие в сибанском походе.

Берег озера Кожабай опустел. Берегом завладели коршуны и вороны, орлы-стервятники, орлы-могильники, сычи – все, кто кормится падалью. Весь день их привлекал сюда запах крови. Они издалека слетелись, но только и могли, что делать большие круги в небе. Люди мешали им. Однако стоило людям разойтись – наступил птичий пир, на всех хватило прихваченных жарким солнцем остатков мяса.

Солнце село, птицы стали разлетаться на ночлег, к своим деревьям, на свои ветки, в свои гнезда. Темнело, и наступило то самое время, когда бии и волостные решили заняться своим делом…

Они собрались неподалеку от аула – такие сосредоточенные и мрачные, будто кого-то не поминать, а похоронить намеревались. Нарочных послали за представительными людьми сибанов.

Первым заговорил Токай-бий:

– Одна из самых больших… нет – самая большая орда племени кереев остается в руках вдовы и сироты. Не будем говорить о девчонке – она чужое добро, она рождена для чужих семей… Что думают сибаны о молодой женщине, которая стала вдовой? Удержит ли вдова, не рассыпав, богатства Есенея? И богатства сибанов? Мы вернулись сказать вам свое мнение, чтобы не было потом обид… Так и так – волостные, бии наелись мяса, напились кумыса и уехали, даже не оглянулись… Не подумали о нашей судьбе… Это для начала я сказал…

Токай замолчал, взглянул на Байдалы, и Мусреп про себя отметил – видно, они заранее определили, кто и что будет говорить… Послушаем…

– Ты начал, а я продолжу… Сибаны родня нам, и мы пришли, охваченные тревогой. Мы пока заметили только дым, а это – дым большого пожара, который может разгореться! Этот пожар охватит всех кереев и всех уаков! Единственный брат Есенея, младший его брат Иманалы предъявляет свои права на наследство. Предъявляет права на жену брата, по законам аменгерства. Вот о чем я должен сказать. А что скажут нам сибаны?

Вспыльчивый Кунияз и на советах держал себя так, словно каждую минуту готов вступить в схватку.

– Сибаны ничего не скажут, – первым откликнулся он. – Что говорить?! Не знаю, кому пришло в голову накликать беду на нашу голову! Кому?.. Чтоб у тех собственный дом сгорел, кто раздувает пожар у других! Чтоб беда их самих настигла, прежде чем…

Кунияз повышал и повышал голос, Байдалы-бий перебил его:

– Кунияз-мырза, глухих среди нас нет… Мы пришли по-родственному, никого не позвали из уаков, чтобы чужеродные не встревали в наш разговор. Разве одно это не показывает, что мы заботимся о вашей же судьбе? А если все роды узнают о притязаниях Иманалы? Примут ли они во внимание, что одни только сибаны не соглашаются с братом усопшего?.. И кто сможет опровергнуть его права? Так повелось издревле! Ты, сибан, не говори первое, что взбредет в голову! Женщина без мужа, как наперсток без пальца. Ты поручишься за вдову?.. А вдруг она – единственная владелица богатств Есенея – задумает угнать весь его скот к своим курлеутам? Ведь и без того у них целый кос есенеевских лошадей. А курлеуты теперь перешли в Кустанайский уезд, а Кустанайский уезд подчиняется отныне Оренбургу… Нет, судьбу наследства, судьбу вдовы должны решать мы сами, пока другие не вмешались!

Мусреп молчал. Бии и волостные готовились долго, целый год. У них с Улпан много счетов. Не их ли она с позором опровергла в тот год, когда приезжали омские торе?

Она, как должное, приняла славу недавнего сибанского похода против Кожыка и его шайки. Разве могут простить такое женщине? Они готовы на время забыть свои собственные распри и отложить свои собственные тяжбы, чтобы выступить против нее. Тут они едины! Первым делом намерены признать Иманалы наследником, признать и его права на Улпан. Намекают, что она может покинуть сибанов, вернуться к своим… Это еще один клин, который они хотят забить между Улпан и сородичами ее покойного мужа.

Мусреп пока молчал, он только хотел выяснить, что еще задумали бии, и спросил:

– Это все, что мы должны были услышать от вас?

– Нет! – сказал Байдалы. – Нет… Неужели ты, сын сибанов, не слыхал? Иманалы хочет устроить поминки по Есенею, когда кончится месяц уразы. Есеке покинул наш бренный мир в прошлом году. По пути на джайляу, возле озера Сореле. Там и намерен собрать людей Иманалы. Что можем сказать мы против?.. И как смотрят на это предводители сибанов?

Байдалы прямо впился глазами в Мусрепа, знал, что от него многое зависит…

Толкают к пропасти, расставляют ловушки… Избежишь одной, попадешь в другую… Мусреп понимал – начнешь спорить с биями, опровергать их доводы, то все сибаны, и Улпан первая, окажутся виновными. Такой приговор и вынесут представители пяти волостей, если дело дойдет до этого. Стоило бы повернуть все так, чтобы у них не было повода вмешиваться.

Мусреп строгим взглядом осадил Кунияза, который по-прежнему порывался что-то сказать.

– Уважаемые бии… – начал он. – Мы приносим вам благодарность – вы не посчитали за труд вернуться к нам, предупредить о надвигающейся грозе. Но учтите и другое… То, о чем говорили и Токай-бий, Байдалы-бий, таит в себе много опасностей… Только разве это – не семейные дела, которые и сами сибаны в состоянии решить. По своему усмотрению. Кто наследник, какой удел будет уготован вдове… Хуже всего, что вы не собираетесь признать Улпан сибанской байбише. Боитесь, она покинет свой аул? Но поверьте мне – если в этом роду есть два человека, достойные называться сибанами, одна из них – Улпан! А если один человек, – это тоже Улпан! Пятнадцать лет у нас называют ее Есенеем! Так он сам велел, а кто мог ослушаться его? Вы говорите – Улпан вдова… Улпан вдова. А сибаны считают ее святой Улпан. У кого бы вы ни спросили, все это подтвердят, даже под страхом поссориться с вами. А к вам у нас всего

две просьбы… Ради самого аллаха, уезжайте, не говорите об этом с Улпан. Зачем к ее скорби добавлять, что она чужая нам… А второе – на сегодня достаточно, что вы поведали нам причину своих тревог, причину возвращения с дороги. Дайте нам время, и увидите сами, – в силах мы справиться со своими делами или нет.

Байдалы и Токай – зачинщики – не знали, что предпринять. По всему видно, сибаны не позволят вмешиваться. Если же нажать на них, могут прибегнуть и к защите русского закона. А потом – как знать, чью еще сторону примут остальные бии и волостные. Вот хотя бы Курымсы-бий… С ними вернулся, а сидит и молчит. Не поймешь, что думает… А к его слову все кереи и все уаки прислушиваются. Вот если бы он сказал – одумайтесь, сибаны, мы пришли к вам не как враги, а как ваши друзья, не отступайте от заветов предков… Одного этого было бы достаточно, чтобы смирить гордыню…

Они с надеждой смотрели на него, но старый бий заговорил лишь после долгого раздумья:

– Быть может, мои старые уши не услышали то, что нужно было услышать. А мои старые глаза не увидели того, что нужно было увидеть. Моя вина, случается, в том, что не поспеваю я за вашим временем, оно виляет, как лисий хвост. В старину говорили, а я запомнил – племя, которое ищет повода для ссоры, наживет себе много врагов, а племя в мире со всеми – только прибавит себе сил. Этого я придерживался всю мою долгую, долгую жизнь. Вы мне сказали, бии, – поедем, узнаем, нет ли у сородичей Есенея обиды на нас, или просьбы к нам… Ведь достояние его осталось без настоящего хозяина… Потому я и отправился с вами. Сидел, слушал… Понял – сибаны далеки сейчас от всякой беды, они живут в мире и согласии. Что скажешь? Одно – не надо вмешиваться, не надо кромсать их жизнь.

Мусреп поторопился пригласить их:

– Время позднее. И угощение для вас давно готово. Он боялся, как бы кто-нибудь не попытался ослабить впечатление от слов старого бия.

После угощения никто из вернувшихся не смыкал ночью глаз, ворочались Байдалы-бий, Токай-бий. К рассвету прискакали доносчики, разосланные с вечера по аулам, чтобы выспросить, как относятся сибаны к своей байбише. Вести доносчиков тоже не могли принести утешения. Взрослые молятся за ее здоровье и благополучие. Молодежь считает неприличным звать ее по имени, только и слышно «Улькен-апай»…

Доносчиков принимали за аулом, в отсутствие Курымсы-бия. А он, покинутый своими спутниками, решил попрощаться с Улпан и пошел в большую юрту Есенея.

Увидев его издали – они следили за каждым его шагом, бии всполошились. Как бы он – и ногами стал слаб, и головой – не выложил Улпан весь их вчерашний разговор!

Первым вскочил Байдалы:

– Этот старик сам показал нам путь! Мы тоже должны посетить Улпан, попрощаться с ней… Как говорили в старину, про которую твердит нам Курымсы-бий, кто долго крутит, тот поборет в конце концов своего противника. Сколько нас?.. Неужели не одолеем ее?

– Верно, Байдеке… – Токай тоже поднялся. – Попробуем покрутить, пока она одна, без своих советчиков.

Те, кто помоложе, без возражений последовали за ними.

В юрте они застали Улпан и старого бия, который, очевидно, все уже сказал, что хотел сказать, и теперь прощался с нею:

– Айналайн, люди в твоих аулах не позволяют пылинке запятнать твою честь. Я слышал, тебя называют матерью племени… Святой… Я к их словам присоединяюсь. Надеюсь, что богу еще угодна моя молитва, а я буду молиться за тебя.

Курымсы-бий поднялся. Поднялась и Улпан – проводить, накинула ему на плечи халат. Он ушел, ни с кем, кроме нее, не попрощавшись. Рядом с Улпан остались две женщины, но их Байдалы и Токай в расчет не принимали.

Они пустили в ход все свое краснобайство. Ночь всегда сменяет самый светлый день… За летом наступает зима. Родственники завидуют, когда у тебя много добра. Но те же родственники не станут тебя кормить, если ты вдруг обеднеешь. Так устроена жизнь, и не нами были начаты, и не нами кончатся твердые обычаи и установленные порядки, которые служат для народа объединяющим началом. Люди такого ума, как Улпан, не должны его разрушать, это все равно, что разрушать шанрак собственного дома. Кто знает?.. Сегодня у тебя все благополучно, а завтра – беда, боль, страдание. Бывает, нуждаешься в помощи того самого родича, которого только вчера сам обидел! Даже самый незначительный пожар застилает дымом все вокруг… Настало время, когда всем надо подумать о единстве наших племен, и никто не должен взбаламучивать дно прозрачного озера…

Сами порядком взбаламутив, напустив туману, бии перешли к делу. Наследство… Бесспорные права Иманалы на вдову старшего брата…

Улпан слушала не перебивая, не отводя взгляда. А взгляд ее обладал такой прямой и бесхитростной силой, что Байдалы и Токай, другие бии, волостные управители не выдерживали его, отводили глаза. Повадки у них были волчьи – они из засады кидались на свою жертву, окружали кольцом, когда один уставал преследовать, в ход шли свежие силы…

Улпан молча взбалтывала и взбалтывала кумыс в большой темной чаше, стоявшей перед ней. Казалось, она совсем забыла о том, что этим кумысом надо бы угостить почтенных людей, пришедших к ней в дом. А хуже нет, когда чаша перед твоим носом, и хозяйка машет ложкой-ожау, но не намеревается ни подать наполненную кесе, ни убрать чашу… О чем эта проклятая баба думает? Нарочно?.. Есеней тоже подолгу просиживал молча, и трудно было понять, что он скажет или сделает. Видно, кое-чему Улпан у него научилась!

Златоусты уже и сами запутались в своих намеках и доводах, они стали повторяться, и тогда Улпан вроде бы вспомнила о кумысе. От беспрестанного взбалтывания он стал терпким, приобрел особый дразнящий запах, и гости места себе не находили, пока им в руки не попали наполненные кесе, пока они не промочили пересохшие от долгого говорения глотки.

Улпан начала с того, что принесла им благодарность, – пристойно прошли поминки по Есенею, без всяких ссор, стычек, которые часто возникают, когда собирается много народа… Бии и волостные управители сами участвовали в походе против Кожыка, разорили и сожгли разбойничье логово, а славу победы подарили их роду…

– Этого сибаны не забудут, – сказала она.

– Е-гей!.. Такая удачная мысль – назвать поход сибанским – счастливо посетила Байдеке… – вставил свое слово Токай-бий, метнул новую стрелу в его незажившую рану. Знал же, что Байдалы простить себе не может этой затеи. Байдалы и Токай могли совместно строить козни против Улпан, но их отношения между собой не менялись. У Байдалы все же хватило выдержки промолчать. Улпан продолжала:

– Чувство благодарности у меня вызывает и то, что вы вернулись – откровенно высказать свои опасения… Молодой сибан, подумали вы в своих заботах о нас, без Есенея не сможет управлять своим конем –

и расшибется… Разве не так следят издали старики, когда ребенка впервые сажают в седло? И вас, я верю, привели обратно в аул заботы о нашем благополучии… Сибаны не забудут этого!

После ее слов трудно было продолжать так, как они начали. Бывают люди, которых можно за спиной у них поносить, а при встрече нет никакой возможности повторить то, что говорилось в их отсутствие. Улпан была из таких людей. И друзья ее, и враги знали: она с полным правом представляет сибанов, и сибаны всегда поддержат свою байбише – Улпан к этому времени и в самом деле стала похожа на байбише, она раздобрела, наметился у нее второй подбородок, но так же легко, как и прежде, она несла пышное тело, по-молодому блестели ее глаза, которые насквозь видели собеседника – с добром он пришел или с низкой хитростью…

Байдалы-бий, Токай-бий и все их спутники как бы признали, что пригрозить Улпан, вынудить ее поступить, как требуют они, – не удалось. И теперь они осушали кумыс – чашу за чашей, будто просто заехали утолить жажду…

Но если они считали свое дело на сегодня законченным, то Улпан собиралась кое-что им сказать напоследок:

– К вашей помощи еще не раз прибегнет семья, которая состоит из вдовы и сироты… А одну просьбу я хочу сейчас… Через три года моя единственная дочь достигнет возраста, когда ей предстоит стать хозяйкой отау-юрты. Бижикен у меня одна… Бижикен – последний след Есенея… Как я могу допустить, чтобы она переступила порог юрты в чужом краю? Стала бы чужой для рода своего отца? Если бы керей-уаки согласились одного из своих сыновей, равного моей дочери по достоинству, отдать в шанрак Есенея, я приняла бы его как зятя в правую сторону своей юрты. Они бы и стали наследниками Есенея, а я отошла бы от дел. Вы знаете, сибаны между собой не

сватаются. Это – забота всех керей-уаков, и не забудьте о моей просьбе.

Знала – кому высказывает, и все же высказала им свое заветное желание. Все равно без них она не могла бы принять в дом молодого человека, который дал бы ее дочери испытать счастье материнства. Улпан представляла себе: дети, много детей… Как всегда, одни плачут, надо их утешить, другие ласкаются. «Аже… аже…» – слышала она их голоса, называющие ее бабушкой. Она видела внучат – верхом на стригунах. А один из них вбегал в юрту с криком: «Аже, дай кумыса!» Он и был ее постоянным любимцем, она даже чувствовала, как его плотные ручонки обнимамают ее за шею, пухленький, глаза как у верблюжонка… Она и радовалась его приходу, и плакала, когда долго не было…

– Улпан-байбише, исполнить вашу просьбу – это наш первый долг перед всевышним, – с важностью произнес Байдалы-бий. – Я думаю, это должны решать кереи, не впутывая никого из чужих. Позовешь уаков, разве останутся в стороне атыгаи и караулы? Кому же не захочется – отдать сына в ваш дом?

Больше никто из них ничего не сказал. На прощанье она Байдалы и Токаю тоже накинула на плечи халаты. Если они и после этого будут настаивать на правах Имманалы, люди их осудят и не поддержат.

Сибаны и так задержались с переездом на джайляу, и на другой день аулы тронулись в путь. Они сопровождали караван своей байбише, и это было знаком уважения к Улпан.

Как всегда, каждый год, аулы ревниво присматривались, кто и как перезимовал, больше стало скота у соседей или меньше… Хорошо ли одета молодежь… А у подростков – есть стригуны или нет… Прибавилось ли за зиму малышей… Все это успевали рассмотреть по пути на джайляу, за четыре, за пять дней.

Вековечной казах-арбе сибаны, привыкшие к перевозкам хлеба и сена, предпочитали теперь бричку с кузовом. То и дело – напоказ, конечно, – вдоль дороги гнали косяки лошадей. Верхом на стригунах, от одного аульного каравана к другому, сновали ребятишки, и кому из них удавалось первым догнать кого-то, тот требовал байгу – подарок. Женщины с бричек бросали им баурсаки, курт… Так продолжалось, пока не прибывали на джайляу, и не представлялось большего удовольствия для ребятишек, для тех, у кого были свои кони или стригуны. Но сколько слез проливали те, кому родители дать стригуна не могли!

Дети не принимали во внимание, чью бричку они догнали, – семьи состоятельной или бедняка-кедея. Требовали угощение со всех. Несколько раз и Улпан раздавала сладости. Несколько раз Бижикен приносила свои баурсаки, которые ей удалось получить.

Под вечер всадники, ехавшие впереди, приблизились к озеру, которое обычно без ночевки не миновали. Но аксакалы – должно быть, заранее условились – только показали кончиками своих плетей вперед – не останавливаться, а ехать дальше. С весны прошлого года озеро стало называться «Озеро, где умер бий». Сейчас здесь на берегу поставил свои юрты Иманалы, тут и собирался устроить свои поминки по Есенею.

Если это случится, он как бы подтвердит права на наследство, а права Улпан во многом потеряют силу. Сам Иманалы, пожалуй, до этого не додумался бы, но у него не было недостатка в советчиках.

Сибаны проехали мимо, никто не свернул к аулу Иманалы, и яснее этого нельзя было выказать свое отношение к его затее. Всадники молча сидели в седлах, примолкли женщины, даже ребятишки, почувствовав настроение взрослых, перестали скакать взад-вперед.

Женщины из более зажиточных семей, в тарантасах, запряженных парой, следовали за коляской Улпан.

– Вы поезжайте дальше, – повернулась она. – Я скоро догоню вас…

Ее упряжка свернула к юртам на берегу озера.

К Иманалы Улпан вошла решительно, в сопровождении Дамели. Айтолкын никак не ждала ее – и смутилась от неожиданности… Их сыновья, ставшие взрослыми, вскочили…

Иманалы, не вставая, приказал им:

– Уйдите…

Улпан без приглашения прошла на почетное место, села.

– Правильно, что отослал их… – сказала она. – Мы должны поговорить наедине, как взрослые люди. Я приехала не с новосельем поздравить. Я приехала сказать – отправляйтесь со всеми вместе. Позор, чтобы единственный брат Есенея торчал в одиночестве, как прокаженный! Скажи – хоть один сибан завернул к тебе, проезжая мимо? Сибан считает тебя виновным перед братом, перед его памятью. Ты не морщь лицо, ты слушай! Тебя, тебя считают причастным к смерти Есенея! Дубину, ударившую его, держали твои руки… Есеней больше не поднимался с постели. Тебе самому уже больше шестидесяти лет… Жил бы ты своим умом, ты бы сейчас защищал честь усопшего брата, чтобы никто не посмел коснуться его постели. А ты?.. Сам хочешь в эту постель залезть, стать аменгером для его жены! Ты собираешься суду биев предъявить иск, что ты – наследник Есенея. Тебе нужен скот? Сколько?.. Присылай завтра же своих сыновей, пусть берут! Мне скот не нужен. Ты всем сообщил, ты хочешь справить поминки… Попробуй, и увидишь – хоть один сибан к тебе приедет? Понимаешь ли ты, каким позором покроешь свое имя? Только что поминки устраивала семья Есенея. А в будущем году

устраивай ты. Я слушать тебя не стану, ты и рта не раскрывай. Вели разбирать юрты. Кочуй на джайляу со всеми вместе.

Дрожа от ярости, крикнула Айтолкын:

– А ты нас на каком отшибе у сибанов поселишь?

– Замолчи! – оборвал ее Иманалы.

– Живи, где захочешь, – ответила Улпан. – Зови сыновей… Собирайтесь. Чтобы на рассвете тронулись с места.

Иманалы, не ответив впрямую, повысил голос:

– Е-ей! Скажите, пусть юрты разбирают! Переезжаем! Его сыновьям до смерти надоели выходки отца. Когда Улпан вышла, они, обрадованные, бежали к соседним юртам…

22

……

……и никого не осталось,

кто бы мог рассказать, как все происходило.

23

Как говорится, есть люди, которых хорошо посылать за своей смертью – они долго будут ездить, пока вернутся.

Три года бии и волостные управители кереев не могли исполнить обещания, которое они дали Улпан и которое приравнивали к первейшему долгу перед всевышним. Пять волостей племени кереев насчитывали около пяти тысяч домов; это – около пяти тысяч сверстников Бижикен. Но, вероятно, никто из этих юношей не был свободен, все связаны обещаниями, данными их родителями. А ведь в эту семью не нужно было платить калым. Приходи – и будешь купаться в богатстве… А какая девочка подросла!.. И мать не оставит молодых своими заботами! Но и при всех этих условиях для Бижикен не находилось жениха.

Бии и волостные не решались нарушить равновесие. Поначалу каждый из них стремился отдать в дом к Улпан одного их своих сыновей… Но все они зорко следили друг за другом, чтобы так не случилось. Тогда-то ведь и нарушится то самое равновесие! Кто породнится с Улпан – станет в два раза богаче, в два раза влиятельнее! Зачем сегодняшнего единомышленника своими руками превращать в завтрашнего врага?

Заранее прикинув все выгоды, которые получит возможный соперник, бии и волостные не могли не колебаться. Проще всего

было бы объявить наследником Иманалы, раздробить имущество Есенея, но такой разговор, не встречая поддержки, давно заглох… Думали – сосватать Бижикен джигиту из семьи незначительной, но такое решение таило свои опасности. Сегодня – незначительный, а через два года при поддержке Улпан превратится в нового Есенея, молодого… Кому стать волостным, кому – бием, все будет решаться в их доме!

Так они и продолжали сидеть в засаде, не выдавая ни своих намерений, ни своих подозрений. Приближались перевыборы волостных управителей, биев. Зачем в такое время заговаривать о деле скользком, как припорошенный снегом лед, и горячем, словно прикрытые пеплом раскаленные угли…

Выборы должны были происходить в середине марта, перед самым наурузом, и месяца за два с половиной до этого в дом к Улпан морозным вечером пожаловали нежданные гости – человек двадцать уаков, бии, аульные старшины, аксакалы. Ночевали они в гостевом особняке, а наутро пришли к Улпан и после долгих приветствий и пожеланий приступили наконец к делу, ради которого приехали сюда.

От их имени говорил старый бий Утемис:

– Улпан-байбише, мать сибанов, нам нечего скрывать – мы из тех людей, кого сильный керей держал в стороне… Говорили, что Кожык – родом из уаков, потому нас не позвали тогда в сибанский поход. Если бы не вы, Байдалы и Токай не пригласили бы нас, шайкоз-уаков, и на поминки по Есенею. Что поделаешь?.. Малочисленные роды, как наш, привыкли к подобным унижениям. Шайкоз-уаки живут на клочке – с одной стороны соседствуем с урочищем Каршыгалы, где обитают семьи ваших родичей курлеутов. С другой – граничим со Стапом. Сибаны – тоже род не очень большой, населения не наберется и на одну аульную управу. Но благодаря Есенею,

благодаря вам, байбише, он стал родом, который никому не уступит в своей гордости! А у шайкоз-уаков никогда не было таких златоустов, как Байдалы, как Токай. Я даже не уверен – сумеем ли складно изложить наши мысли. Мы простые люди, скотоводы… Рядом с русскими живем – сеем, как крестьяне, хлеб. Наших ушей коснулась просьба, высказанная вами, – для шанрака Есенея уступить одного из сыновей керей-уаков. Керей – своенравный – никак не может договориться! А сына, достойного дочери Есенея привезли мы…

Улпан с самого начала заметила среди гостей молодого Торсана, сына Тлемиса, его круглые, чуть навыкате кавказские глаза, доставшиеся ему по воле его бабки. Еще бы не знать Торсана… После смерти его отца Тлемиса Улпан посылала Торсана на далекие ярмарки – в Ирбит, Тобол, Кзыл-Жар… Торсан в Стапе кончил русскую школу, на него в делах можно было положиться. Как она сама не подумала о Торсане.

Утемис закончил:

– Торсана вы знаете, сына Тлемиса, который тридцать лет бывал в этом доме.

– Верно, Торсан – джигит, привычный для наших глаз… – Улпан чуть улыбнулась.

Но старый Утемис еще не кончил:

– Я знаю… Я хочу надеяться, что вы не скажете, «нет, он недостоин моей дочери…» От вас у шайкоз-уаков нет никаких тайн. Торсан недавно ездил в Кзыл-Жар, к начальнику… Возил бумагу. В Кзыл-Жаре разрешили создать у нас свою отдельную волость. Скоро выборы. Мы думаем волостным избрать этого джигита.

Улпан немного выждала – не скажет ли он еще что-нибудь, и сама сказала:

– Я не из тех, кому в дом нужен непременно волостной или бий… Сибаны сами испытали – как бывает плохо, когда один род господствует над другим. Я не скрою от вас, не скажу, что я не обижена… Среди кереев не нашлось ни одного сына для шанрака Есенея… В добрый час, если у немногочисленного шайкоз-уака нашелся достойный джигит. Погостите в нашем доме дня два, три. А перед отъездом вы получите ответ.

Торсан… Он выделялся среди своих сверстников. В делах Улпан надеялась на него больше, чем на его отца. У Тлемиса была скверная привычка – то он хватался за голову, что обманули его, то безудержно хвастался, как сам кого-то надул! У Торсана такой привычки не было, а в деловитости он Тлемису не уступал. Похоже, из него выйдет человек, который и сам никого не обманет, и никому не даст себя обмануть. Улпан немного покоробило его желание – в глазах у него прочла – во что бы то ни стало занять должность волостного управителя… Но тут же она сама себя одернула: а разве Есеней не стремился много лет получить ага-султанство? Мужчины есть мужчины… Наверное, правы уаки – добиваются самостоятельной волости, чтобы не быть зависимыми от кереев. Торсан?.. Что уак, что керей – какая разница? Не зря говорят, если кто-то самостоятельно выбился в люди, не спрашивай у него родословную. Согласилась бы Бижикен…

Бижикен было уже четырнадцать. В длинном платье с оборками, в шапке из меха выдры, украшенной перьями филина, она казалась выше матери. И все чаще смотрелась в трюмо. Бижикен как-то утратила детскую откровенность, и в ее глазах Улпан читала невысказанные вопросы – о чем-то, что ей, матери Бижикен, известно, и чем она должна поделиться с дочерью. Такой час приходит не раньше и не позже, чем он должен наступить.

Но даже Улпан, которая, казалось, все знала о своей дочери, могла только догадываться, что Бижикен жалеет ее. Она видела сверстниц матери – женщин тридцати пяти, сорока лет… У каждой – пять или шесть детей, не меньше. И еще могут быть. А Бижикен – одна у нее. И та – дочь! Кто-то посватается, уведет. С кем тогда она останется?

Спали они в одной комнате.

Улпан уже легла после разговора с аксакалами уаков, а Бижикен задула лампу, устроилась у себя в другом углу и жалобно сказала:

– Апа… Апа, я замерзла…

Да… То она замерзнет, то, говорит, боится чего-то… И так – каждый вечер, лишь бы найти причину забраться к матери в постель, понежиться, поласкаться…

– Замерзла? Иди ко мне, верблюжонок мой… Бижикен тотчас очутилась у нее под одеялом, замурчала, обняла.

– Бижикен… – сказала Улпан.

– О-х-хо-о… – отозвалась она, уткнувшись в теплое материнское плечо.

– Бижикен, ты – как маленькая… Слушай внимательно. Важное дело.

– Е-ехе-е…

– О ком же мне еще заботиться, если не о тебе?

– У-ух-х-у…

– Ты ведь знаешь Торсана?

– Е-ех-хе…

– Как, по-твоему, он – хороший джигит?

– Е-ех-хе-е…

– Или он плохой джигит?

– О-ох-хо. – Плечи у Бижикен, Улпан почувствовала, поднялись кверху и опустились.

– Он хочет стать приемным сыном у нас в доме.

– О-хо-о…

– А ты догадываешься, каким он может стать сыном у нас в доме?

– Е-ех-хе-е…

– Мне-то – сыном и зятем. А тебе… Ты согласна?

Бижикен крепко-крепко стиснула мать, и ни одного не расцелованного места не оставила у нее на щеках и на шее.

– Подожди, Бижикен… Он парень деловой, я знаю. Не станет ли он все по-своему делать в нашем доме?

– Апа! – Кажется, к Бижикен вернулся дар речи. – А ты? А я? Ведь я от тебя родилась? Если он захочет все повернуть по-своему, он будет просто глупым!

Улпан думала, уже не делясь с Бижикен своими соображениями. Шайкозы из ергенекты-уаков. А они свое родовое имя получили от женщины, которая когда-то пришла к ним от ергенекты-найманов. Храни аллах, все будет хорошо!

Тесно обнявшись, они лежали в темноте, молчали.

Утром Улпан выразила свое согласие посланцам уаков.

Свадебные пиршества проходили в аулах сибанов и в аулах уаков, а когда они кончились, Торсан поселился в доме Есенея. Куш-куйеу – зять, принятый в дом, от слова куш – сила, без которой нет семьи.

Бии, управители кереев сопротивлялись выделению уаков в самостоятельную волость, но сделать ничего не могли. Волостным был избран Торсан.

Ему не исполнилось еще и тридцати лет, но его быстро стали отличать, постоянно ездили к нему урядники, сам пристав, другое окружное начальство, и каждого он одаривал. Дом, который Улпан когда-то построила для гостей, стал служебным помещением волостной управы. Торсан знал, что делал, – аульные дела он передал старшинам, биям, а сам поддерживал отношения только с округом и Омском. Он не упускал случая показать когти биям и волостным кереев, помнил, как они противились созданию новой волости и его избранию. Так он уже был в силах при поддержке округа разместить крестьян-переселенцев из России не в своей волости, а на землях кереев.

Дома он был другим. Чай пили обычно втроем. Бижикен – у самовара, а пиалу Улпан передавал Торсан. За ужином он крошил заботливо для нее мясо. Только и слышно было:

– Ешьте, апа… Пейте, апа…

Он не знал, где усадить их, когда приезжали дорогие для Улпан люди – Мусреп, Кунияз. Сам поливал им на руки из кумгана и для них крошил мясо, подавал пиалы с чаем.

«Кунияз-ага, мне жаль, что вы не родились уаком!.. Кому бы, кроме вас, стать тогда волостным? И наш небольшой род расцвел бы с вашей помощью!» Находил он почтительные слова для признания заслуг стареющего Мусрепа! «На что жаловаться сибанам, если у них есть мудрец из мудрецов – Мусеке…»

Улпан, наблюдая вблизи жизнь Бижикен и Торсана, ни в чем не могла упрекнуть зятя. Она не забывала, сколько обид и сколько предательств вынесла от керейских биев и волостных, а с тех пор, как

Торсан поселился в ее доме, Улпан, казалось ей, обрела былое душевное равновесие. Что ни говори, а мужчина в доме – это мужчина в доме… В ее дела, связанные с сибанами, он не вмешивался.

Прошло больше четырех месяцев, первые стаи диких гусей потянулись с юга. Торсан вернулся расстроенным, мрачным, озлобленным, каким не знала его Бижикен, не знала Улпан. Он ездил домой к своим, и оттуда завернул в Каршыгалы, взглянуть, по его словам, как пасутся табуны Улпан. Шайкоз-уаки граничили с этими пастбищами. Там он и встретился с тремя сыновьями Иманалы, они вели в поводу трех коней. Темно-серые, в яблоках, кони вышли из зимовки в отличном состоянии. После линьки лоснились, холка высокая, развитая грудь, длинная шея, уши остро-срезанные, при всем желании не найдешь изъяна в строении ног. Торсан сразу оценил, как смотрелись бы они в упряжке, летом веером, а зимой гусем! А эти пустомели заарканили их без спроса, загоняют на охоте! Вон беркуты у них на руках, собаки бегут следом, и еще целая орава с ними, всадников десять. А кони – один охромеет, другому спину собьют, третьему…

После коротких сдержанных приветствий Торсан не стал скрывать неудовольствия:

– Вы, наверное, думаете, у табунов здешних нет хозяев, и коней можно брать без счета?.. Когда вздумается?..

– Смотри-ка! – откликнулся старший – Есенжол. – Ты не забывай, куш-куйеу, что я по родству прихожусь тебе дядей, выражайся почтительней.

– Да, он – куш-куйеу!.. – повернулся к Есенжолу второй из братьев, Ресей. – Но его положение в доме не означает, что он – хозяин всего скота, всего имущества!

Третий сын обратился к Торсану:

– Куш-куйеу-мырза! Пойми… Наследником Есенея является не какой-то куш-куйеу. Мы трое!.. Потерпи немного… Мы ведь еще не получили свою долю наследства.

Торсан не мог не обратить внимания – они нарочно проглатывали это слово «куш-куйеу», а когда оно произносится слитно, то получается кушук – зятек-щенок, зятек-приемыш… Он не стал с ними препираться, резко дернул коня в сторону и поскакал. Но быстрая езда не развеяла его гнева, в ушах звучало: «Кушук-куйеу… кушук-куйеу…» Выходит, с мыслями о наследстве сыновья Иманалы и не думали расставаться… Когда была его свадьба с Бижикен, Улпан при всех сказала, что полновластными хозяевами всего достояния Есенея будут ее дочь и ее зять. Иманалы слышал это своими ушами, слышали его сыновья, и никто из них слова против не сказал. При людях – не захотели, но затаили злобу, свои намерения.

С Улпан обо всем этом Торсан заговорил прямо:

– Апа, я узнал, что я не хозяин вашего скота, вашего имущества! Я в этом доме, оказывается, всего-навсего кушук-куйеу!

– Шырагым, что с тобой? – прервала его Улпан. – Ты никогда не повышал голос, разговаривая со мной.

– Я на месте поймал сыновей Иманалы… Они трех скакунов угнали, из того табуна, что пасется в Каршыгалы. Я не мог не сказать, что есть у лошадей хозяева… Они сказали – хозяева они, а я кушук-куйеу!

– Шырагым, сынок… Стоит ли печалиться из-за трех коней? У нас еще тысяча голов, вам хватит с Бижикен. Несколько лет назад бии и волостные керей-уаков решили: вдова, не имеющая сыновей, одну треть всего скота и всего имущества отделяет родственникам мужа. Я с ними согласилась. Несколько раз повторяла Иманалы, чтобы

произвести раздел. О нем можно много плохого сказать, но в этом деле он оказался мужчиной и взять ничего не захотел. Это его беспутные сыновья… Ты прости им… А я скажу, и в другой раз они не посмеют.

Но Торсан настаивал на своем:

– Нет, апа… С этим делом надо покончить. Отдайте им то, что должны из наследства. Если они всю жизнь будут считать, что вы им должны, если будут хватать, что на глаза попадется, мы спать по ночам перестанем. Я хозяин в доме или я кушук-куйеу?

– Шырагым, ты устал, и потому я прощаю твои обидные слова. Отдохни с дороги… Об остальном поговорим завтра.

Торсан ушел.

Улпан и после его ухода не переставала думать о случившемся. Как понимать?.. Неужели должность волостного, управителя изменила Торсана? Ведь раньше вежлив был до приторности, только и слышно было – апа, апа… Может быть, сегодня он приоткрыл свое настоящее лицо? Но Улпан сама себя остановила – нельзя быть чрезмерно строгой. Молодой… А какой джигит стерпит, если из табуна угонят трех лучших скакунов? Подождем с обвинениями. Сыновья Иманалы в отца – такие же вздорные, такие же забияки. Скорей всего, они и начали задираться. Если она приняла Торсана в дом сыном, то надо оградить его от людского недоброжелательства, от насмешек…

В тот же день она позвала к себе Иманалы.

Брат ее мужа в последние годы сильно сдал. Может быть, годы его изменили, может быть, повлияла болезнь Есенея, к которой он считал себя причастным, может быть, о боге начал задумываться. И не все же плохое в самом плохом человеке, есть и хорошее.

– Послушай, деверь, – сказала она ему. – Долгие годы ты не хотел со мной ужиться. Сейчас, слава богу, когда ты приходишь, почетное место в доме Есенея – твое. Во многом совпадают наши мысли. Поэтому послушай, что я скажу. Твои сыновья самовольно увели трех коней из табунов, что пасутся в Каршыгалы. Мой зять приехал расстроенный – что-то они наговорили друг другу. Ты скажи сыновьям, если им нужно, я им не три дам, а тридцать три! Но только – с разрешения… Наверное, я не сумела как следует объяснить в прошлый раз, но одна треть всего скота принадлежит тебе. Можешь в любое время забрать. Ты веришь моим словам?

– Верю, Улпан! С тех пор, как я узнал тебя получше, я верю всему, что ты говоришь. Но я не хочу больше, чтобы одни моим именем прикрывали свои склоки, а другие говорили, что я хочу ограбить семью Есенея… Ягненка не возьму! Ты сама знаешь, каким я был. Удивительно ли, что сыновья ведут себя так? Пусть появятся дома эти собачьи дети, я им…

– Не надо, Иманалы! Не бей их. Иначе наступит такой день, и они поднимут на тебя руку. И лошадей не надо возвращать, пусть твои сыновья не таят в душе злобу. Пусть и мой зять не считает, что он по первому своему слову вышел победителем… Не надо нам ни победителей, ни побежденных. Пусть не враждуют между собой…

– Я сказал, что верну лошадей, – и верну их…

– А я сказала – оставишь, и ты оставишь. В твоих табунах сейчас не больше двухсот голов. Возьми свою долю!

Иманалы покачал головой:

– Нет… Твой деверь Иманалы совсем недавно почувствовал себя своим человеком в родном ауле. Я не хочу, чтобы снова обо мне говорили худое. Попросят сыновья – можешь от своей доброты подарить им коней, а я об этом слышать больше не хочу и говорить

не стану. У меня другое на уме, покоя мне не будет, пока не исполню…

– Что же?

– Ты сама сказала, что я – грешный человек, очень грешный. Есть моя вина и в болезни, и в смерти брата. Как ты смотришь?.. Я – как бедел-хаджи – отправлюсь в Мекку вместо Есенея?

В Мекку… Прикованный к постели Есеней, которому не могли помочь омские, тобольские, тюменские, челябинские доктора, какое-то время уповал на бога: «О алла! Я предам забвению все мирские заботы, буду славить тебя – лишь верни мне силы…» Но бог был глух к его молитвам!

– А ты помнишь, – сказала Улпан, – слова Есенея незадолго перед смертью? Когда пришли к нему прощаться? «Если бог считает, что он мне больше ничего не должен, то и я ничего не должен ему». А почему он это сказал? Кому сказал? Помнишь?

– Конечно, помню… Люди, пришедшие попрощаться с ним, предложили послать кого-нибудь в Мекку вместо него.

– Я смотрю на тебя, Иманалы, и думаю… Все, что ты делаешь, ни в чем удержу не знаешь. Был буяном, забиякой – без удержу… Теперь без удержу предался богу, четки из рук не выпускаешь… Если ты признал свои грехи, если ты осуждаешь себя – это и называется искуплением. А в Мекку… Ты даже представить не можешь, в какой стороне она находится. Ты в Кзыл-Жаре ни разу не бывал. Мекка… Сиди уж дома!

И еще один разговор был у нее с Шондыгулом.

– Каранар… Ты успеешь до вечера пригнать из ближних табунов трех темно-серых, в яблоках?

Не было ничего на свете, чего не сделал бы Шондыгул, если Улпан называла его – Каранар. Но на этот раз он отрицательно покачал головой:

– Нет, не успею… Ты забыла, что сегодня вторник, день неудач, из дому можно выезжать только после полудня. А если выеду после полудня, вернусь только к рассвету.

– Хорошо, Каранар… Вернешься к рассвету, это будет не поздно. Выбери тройку, чтобы по масти не отличались. Нужны для одной упряжки.

– Понял, понял… Больше можешь ничего не объяснять, – ответил Шондыгул и пошел собираться, чтобы сразу после полудня и выезжать.

К ужину Торсан не приходил, отсиживался в управе. А за завтраком, хоть и передавал Улпан пиалу, но его дурное настроение пока не развеялось.

– Торсан, ты не видал еще? – обратилась к нему Улпан, стараясь ничего не замечать. – Я велела пригнать из табуна трех темно-серых, все – в яблоках. Поедете в Кзыл-Жар, запрягайте их.

– А я видела, апа! Кажется, много я лошадей перевидала… А таких красивых… Я даже не знала, что такие бывают на свете! – Бижикен налила Торсану чаю. Торсан заулыбался:

– А мне почему ничего не сказала?

– А ты почему всю ночь спал, отвернувшись от меня? Кроме того, мне хотелось получить коримдык от тебя!

Ничего не было важнее для Улпан, чем счастье Бижикен, чем мир в ее доме…

– До вашего отъезда надо приучать их к упряжке, и еще следите – степные лошади в городе пугаются, могут понести. Твой отец, Бижикен, этот табун велел пасти отдельно, не смешивать с другими. В последний раз он гнался за волком, и вместе с конем провалился в наледь. Так Шондыгулу крикнул сперва Байшубара вытаскивать, а потом уж его самого. Еще отец говорил: эти кони – нрав у них такой – они ни одного жеребенка не отдадут волкам, все кидаются на защиту…

Торсан еле мог усидеть на месте и сразу после чая пошел взглянуть на лошадей.

Вернулся – будто заново на свет родился:

– Апа!.. Сибаны не зря говорят, что вы – святая! Угнанные кони не стоят того, чтобы принести их в жертву за благополучие этой тройки! Апа… Простите меня за вчерашнее… Ваш сын вел себя как мальчишка…

– Е-е, айналайн… В семье всякое бывает, но я не из тех, кто держит зло. Достаточно, что ты сам понял… Нет сильнее человека, который умеет признать свою оплошность.

– Вы жалеете меня, апа, но клянусь богом – вы от меня слова лишнего никогда больше не услышите!

– Ладно, шырагьш… Но что вчера ты верно сказал, надо это дело решить раз и навсегда… У меня других наследников нет, кроме вас двоих – сына моего и дочери… Я могу снова собрать людей и повторить свои слова. Вечером скажете мне, что надумали…

Торсан с Бижикен до вечера так и не договорились. Бижикен твердила, что заводить речь о наследстве – для ее матери убийственно.

Торсан возражал:

– Но ведь апа сама начала…

– Сама? Нет, дорогой, ты начал, когда вернулся из Каршыгалы…

– А что я мог другое, если твои братья смеются мне в лицо и уверяют – они наследники.

– Ты, наверное, первым задел их.

– Я не задевал. Я только сказал, кони не без хозяина… Чтобы их брал, кто захочет.

– А разве этого недостаточно?

– Для кого?

– Для них… Ты сказал – ты хозяин табунов!

– А я должен был сказать, что я не хозяин?

– Настоящий хозяин ничего не должен говорить! Я уж представляю, какие молнии метали твои глаза…

– Мне больше не хочется вспоминать об этом, Бижикен. Прошу тебя, прекратим этот разговор…

– Давай и о наследстве прекратим.

– Пусть апа сама. Что она скажет, я стану рабом ее повелений…

– Хорошо, – согласилась с ним Бижикен.

За вечерним чаем Улпан сказала: у них достаточно времени было, чтобы подумать и обсудить, и к какому же решению они с Бижикен пришли…

– Наши две головы не стоят вашей одной, – ответил Торсан. – Наше решение – что вы скажете, на то мы и согласны…

Улпан взглянула на Бижикен, Бижикен важно кивнула, подтверждая сказанное мужем.

– Тогда сделаем так… – начала Улпан, она ведь тоже весь день думала, как сделать лучше. – Идите в управу… Писарь должен быть на месте, еще с кем-нибудь посоветуйтесь и составьте бумагу от моего имени. Хозяевами отныне являются сын мой Торсан и дочь Бибижихан… Всего скота, всего имущества – мне ничего не оставляйте… Иманалы от наследства отказался, полностью, это тоже надо будет указать. Свои слова, на этой бумаге, он пусть подтвердит… Если кто-нибудь из торе есть, из приезжих, они пусть тоже распишутся как свидетели. Идите… Я буду вас ждать.

Дарственную составили только к полуночи.

Торсан оказался на высоте. Половина всего имущества и скота оставалась за Улпан, половину он переводил на свое имя и на имя Бижикен. Под бумагой были подписи и печати двух аульных старшин, витиевато расписался и русский пристав, который ночевал у них. Отпечаток пальца Иманалы – большой, густой, как след верблюда на солончаке.

– А почему так? – спросила Улпан. – Разве не говорила я – все вам?.. Это ты, Бижикен, настояла?

– Я предлагала оставить одну треть, а он велел писать – половину… – Бижикен посмотрела на мужа.

– Апа… – сказал Торсан с достоинством. – За свою жизнь вы не научились принимать подарки, вы знаете, как их раздавать. Что станете делать, если кто-то придет и попросит коня или дойную кобылицу, или корову? Неужели скажете: просите не у меня, а у детей моих?! Нет… Бумага бумагой, а полной хозяйкой всего добра являетесь вы.

Улпан слушала его не возражая. Она чувствовала, что Торсан оправдывает ее надежды. Не каждый ведь найдет в себе силы отказаться от того, что само плывет в руки… Дай бог им с Бижикен счастья. Она приложила большой палец к бумаге – такой же плотной и гладкой, как почетная грамота губернатора, поставила печать с крупными буквами: «Есеней Естемисов». Печатью этой, хранившейся у нее, Улпан всегда удостоверяла оттиск своего пальца под всеми бумагами.

– Храни у себя… – сказала она Торсану.

На джайляу аулы расположились вдоль своих озер, усеянных, как всегда в это время, птичьими стаями. Казалось, вчера еще в снегу чернели первые проталины, а теперь трава пестрела яркими цветами, словно степь сама заботилась о своей красоте и всю зиму укрывала их корни теплым снежным покровом, чтобы по весне высветило их солнце, чтобы искрились они бесчисленными алмазами росинок. А еще до восхода солнца начиналась несмолкаемая песня серого жаворонка, который, не зная устали, славил степь, и песня эта сопровождала повсюду – сидишь ли ты в юрте, идешь ли пешком к озеру, скачешь ли во весь опор на коне.

Весна царила и в доме Улпан.

Молодые занимались друг другом, у них была своя жизнь. Нежность, шутки… Правда, шутки иной раз грозили обернуться резкостью, но все кончалось мирно. А порой Торсан и Бижикен словно силой мерялись. «Вот я…» – начнет он, и тут же его перебьет она: «Нет, не ты, а я… я…»

– Ты?.. – переспросил ее как-то утром Торсан. – Вот ты сама и предупреди – апа, мы…

Бижикен побежала к матери, Торсан шел следом.

– Апа, ты не станешь нас ругать, если мы завтра поедем в Кзыл-Жар?

– А почему я должна вас ругать?

– Но Торсан предлагал через три дня ехать, а мне хочется пораньше. Город посмотреть… Я же никогда не бывала…

– Конечно! Посмотришь город… Сходите на базар… Да… Для поездки возьмите коляску.

Но Торсан не согласился.

– Нет, апа! В вашей коляске я не поеду, – сказал он. – Если не хотите, чтобы надо мной смеялись, не говорите об этом.

На следующее утро – солнце еще не вставало – тройку темно-серых заложили в тарантас. Торсан с Бижикен ехали на съезд волостных.

Кони с места взяли наметом. «На такой упряжке не стыдно и к белому царю поехать… – подумала Улпан, провожая дочь с мужем. – Как на подбор… Шондыгул знал, каких коней выбрать».

24

В то лето сибанские аулы позже обычного возвращались к своим зимовкам, они задержались на осенних пастбищах, и причина задержки была печальной.

Еще в середине лета Улпан позвала с собой в Каршыгалы Торсана и Бижикен. Несибели, несмотря на восемьдесят своих нелегких лет, была бодрой, хлопотала, чтобы получше принять дочь, свою внучку и ее мужа. Одного взгляда было достаточно – не только бабушкой, скоро она станет прабабушкой… Она улыбнулась – улыбка у нее сохранилась молодая – и сказала: «Мне не надо никаких других милостей… Лишь бы дожить, чтобы расцеловать ребенка, который родится от моей внучки. Хорошо бы – мальчик… Увижу, а потом пусть бог забирает меня к себе».

Но не дождалась Несибели. Говорят, ее последние слова были: «Артыкбай зовет… Ему без меня плохо…» Торсан и Бижикен тоже были на похоронах. Поехал Иманалы – он с Айтолкын не считался, когда молод был, не считался и теперь, когда вместо увесистого шокпара он не выпускал из рук четок.

Мертвым – лежать в земле, а живым – жить… Из Каршыгалы Торсан с молодой женой поехал к своим, земли шайкоз-уаков граничили с поселениями курлеутов. Хоть Бижикен и ждала ребенка, но Улпан понимала: съездить надо, ведь со свадьбы Бижикен не бывала на родине мужа.

А летом, после Кзыл-Жара, Бижикен взахлеб рассказывала матери, каким успехом пользовалась в городе. «Это не я говорю, передаю, что говорили обо мне другие…» Восхищались ее умением вести себя, ее красотой… Кто знал Улпан, не удивлялись – дочь пошла в мать. То, что Бижикен не преувеличивала, подтверждали подарки, которые она привезла с собой. А жена начальника – должен был состояться

той, по-городскому называется бал – переодела Бижикен в такое платье, что она сама себя в большом зеркале не узнала, только саукеле оставила на голове… Все хотели с ней танцевать, а она не умела…

Радостное, приподнятое настроение не покидало Бижикен и на джайляу, и Улпан вспоминала свои первые месяцы с Есенеем. Девушки, молодые женщины, не говоря уж о джигитах, тянулись к отау-юрте… Как только солнце шло на закат, собирались возле алты-бакана, качели как один раз поставили, так и не убирали. Улпан прислушивалась… До нее доносились голоса – это пели новые, подросшие Гаухар, Бикен… И, должно быть, взлетали в синеющее вечернее небо – новая Улпан и новая Шынар, такие же близкие, как сестры, подруги. Улпан было грустно, не могло быть не грустно, что ее время прошло, но и такого спокойного счастья она еще никогда в своей жизни не испытывала… Ей хотелось, чтобы скорее появился внук, которого она уже столько раз поила кумысом. Но ждать по всем расчетам оставалось месяца три.

Среди молодежи на джайляу единственный человек не принимал участия в общем веселье. Торсан… Волостной… Не слезает с седла – ездит по аулам. Часто закладывают темно-серую упряжку в тарантас – он собирается в Кзыл-Жар… Писари жаловались, что им ни днем нет покоя, ни ночью. Аульные старшины шептались – Торсан готов заставить их продать последнего коня, лишь бы за аулом, за волостью ни копейки не числилось недоимок.

У Бижикен – не без удовольствия – Улпан замечала свои черты. Хорошо ей – она хочет, чтобы всем было хорошо. Плохо?.. Она постарается пережить это в одиночестве. Осенью из аула Торсана Бижикен вернулась одна и не очень-то веселая. Что там такое случилось? Что она узнала? Улпан не расспрашивала – знала, что бесполезно Может быть, устала с дороги? Так хотелось ей думать, и

она старалась отвлечь дочку веселой шуткой, нежной заботой, лаской…

На шутки Бижикен откликалась:

– Апа… Скажи… Когда ты меня носила, я куда тебя пинала? Нет, ты скажи… – не отставала она.

– Е-е, ты сама должна помнить, твои ноги должны помнить, у своих ног и спроси…

– А по ночам я успокаивалась?

– Откуда ты могла знать, день или ночь?

– А больно тебе было?

– Да нет, господи боже ты мой! Я радовалась, когда ты ворочалась. Я думала – ты хочешь поиграть со мной.

– А ты думала – я мальчик?

– Да…

– У меня тоже так, апа.

Но разве можно обмануть мать? Что-то Бижикен утаивала. Уйдя куда-нибудь, а потом вернувшись, Улпан замечала у нее следы тщательно скрываемых слез.

Торсан приехал через два дня после нее – приехал ненадолго, снова собирали в Кзыл-Жаре волостных, хотели посоветоваться, какие меры принять, чтобы пресечь многочисленные случаи барымты и других видов воровства и разбоя. Хоть с Кожыком и было покончено после сибанского похода, но не один Кожык только имел обыкновение выезжать по ночам на дорогу…

Торсан торопился. Только и успел вечером порасспросить Улпан, как боролся с разными темными людьми Есеней. С Торсаном были два

бия из уаков, а два писаря допоздна составляли бумаги. На рассвете он уехал. Улпан не знала, заходил ли он к Бижикен, и если заходил, то о чем они разговаривали…

К вечеру после его отъезда Бижикен призналась матери, что ей плохо. А плохо стало еще по дороге домой из аула Торсана.

– У меня живот распирает…

– Айналайн, это бывает – растрясло в тарантасе… Ничего страшного, пройдет. Но, может быть, чтобы не беспокоиться, позовем доктыра?

– Позови, апа…

Говорила она с трудом, делая большие промежутки между словами.

Не одного – трех врачей позвала Улпан из Стапа, из Кпитана. Она не высказывала им своих опасений – неужели выкидыш? Но, кажется, не похоже… Живот у Бижикен раздувало все больше, она тяжело дышала и молча переводила глаза с одного врача на другого. Не понимала, о чем они разговаривают, но надеялась угадать по их лицам, что ее ждет.

Улпан тоже прислушивалась, но из многих слов, непонятных, – прободение, язва, острый живот… – она осознала одно: поздно…

Они не отходили от постели. Улпан, которая тоже безвыходно находилась в комнате Бижикен, казалось, они только добавляют ей мучений…

К утру, когда ей стало совсем плохо, Бижикен, не открывая глаз, сказала:

– Ап-па… Торсан п-под-длец… Я не з-на-ала раньше, а т-теп-перь з-зна-аю. С-смот-три… Ч-тоб его руки м-меня не к-кас-са-лись, ап-па…

Улпан прислушалась – не скажет ли Бижикен еще что-нибудь. Улпан всмотрелась…

И вскрикнула…

Не старая еще женщина, она превратилась в старуху.

Казалось, и слез больше нет, все выплакала. Но слезы снова текли по щекам, стоило ей на рассвете, всю ночь не сомкнув глаз, уйти из дома на кладбище, на могилу Бижикен, еще свежую, не успевшую осесть. Там она проводила весь день, и только к вечеру Дамели уводила ее домой, а если бы не увела, она и ночь могла бы просидеть.

Бижикен оставила мать в полном одиночестве. Никого… Но она была не только матерью Бижикен, она считалась матерью целого рода. По вечерам у нее в юрте собирались женщины, старались отвлечь ее, рассказывали новости. Урожай в ауле ожидается хороший, надеются собрать с десятины не меньше, чем по тридцать пудов, и травостой – богатый… Они считали, что от белой верблюдицы, которую когда-то Шынар подарила Улпан, народилось целое стадо – около тридцати голов! А белый бура стал огромным, как скала! Никого не подпускает к себе, кроме Жапека!

Они хотели от всей души подбодрить ее, но, сами того не подозревая, наносили ей новые раны:

– Е-е… Чем про верблюдов, сказала бы лучше о табуне темно-серых, в яблоках. Есеке гордился – за своего Байшубара, от которого пошло потомство, он отдал двадцать жеребых кобыл! И конь оправдал такую цену! Байшубара на зимней охоте никто не мог бы заменить, он волков не боялся!

Вступала другая:

– Эти темно-серые и нашу айналайн – Бижикен – примчали в последний раз домой. Рассказывают, она, когда ездила в аул к уакам, велела запрягать тройку, а Торсана оставила, сказала – ты сам как-нибудь доберешься…

При дорогом имени Бижикен, при имени Торсана Улпан снова начинала плакать… Ей не давали покоя последние слова Бижикен, сказанные перед самым концом, что Торсан оказался подлецом… Что такое она узнала? Бижикен не была вздорной девчонкой, которая по пустяку может обидеться. Чего не могла простить она Торсану?

Сам он, ничего не подозревая, приехал в аул после похорон. Нарочных за ним посылали в Кзыл-Жар, в его родной аул – и нигде не могли найти. А ждать было нельзя. Торсана весть о смерти Бижикен сразила наповал. Он осунулся, побледнел. Три дня он почти не уходил с кладбища. Трогательную заботу проявлял об Улпан, готов был исполнить любое ее желание, только – желаний у нее не было.

Что думать о Торсане, она так и не знала, да и не могла ни о чем думать, кроме одного: Бижикен нет, Бижикен нет, и так никто никогда не узнает, внук у нее должен был родиться или внучка…

Торсан безвыходно оставался в доме, пока не отметили сороковой день. А потом ему приходилось отлучаться по делам. Хоть сама управа и находилась по соседству с зимним домом, но земли волости были расположены далеко, большую часть времени он проводил там.

В середине зимы Торсан заехал по пути в Кзыл-Жар. Он Улпан не понравился. Стал каким-то важным, говорил значительно, словно взвешивал каждое слово, чтобы придать ему силу и власть… На могилу к Бижикен он сходил один, а когда вернулся, Улпан показалось – не таким должно быть лицо у человека, который совсем недавно потерял молодую любимую жену.

Задерживаться ему было некогда, и перед самым отъездом – сани уже стояли у крыльца – он сочувственно сказал изможденной своей скорбью Улпан:

– Апа… Апа, как жить? Вот и у вас никого не осталось пиалу чаю налить…

Улпан поняла, что он имеет в виду, но ни сил не было, ни желания отвечать Торсану. Бижикен нет с ней, а если нет Бижикен, какая разница, что и с кем теперь произойдет?

Через полтора месяца Торсан из своего аула прислал к Улпан бия Утемиса.

Бий передал его слова: в мыслях у Торсана одно, только об Улпан он тревожится. Если апа разрешит, он привезет ей келин, чтобы было кому постель ей стелить, чай готовить, мясо сварить…

Улпан сказала:

– Мне всего этого не нужно. Если хочет жениться, это его право. Кто может потребовать от человека молодого, чтобы он на всю жизнь остался один?

Как потом узнали, Торсан и не собирался ждать возвращения Утемис-бия. В то самое время, когда тот вел разговор с Улпан, в ауле у курлеутов пировали сваты.

Торсан женился.

В жены он брал дочь Рымбека, того самого – мужа племянницы Игамберды, а Игамберды племянником приходился Каиргельды, чей отец – Карабай – родился от Акбайпак, а та была младшей сестрой родной матери Тлепбая, а внук Тлепбая – Тулен в свое время засватал Улпан за младшего своего сына Мурзаша.

Предательство Рымбека, который наводил в аул курлеутов сыновей Тулена, так и не обнаружилось, он пас табуны, которые Есеней подарил, а Улпан оставила в Каршыгалы. Он заметно раздобрел и все

чаще его называли байшикешом, а байшикеш – еще не бай, но по своему достатку к баю приближается…

Земли шайкоз-уаков издавна соседствовали с Каршыгалы, и Торсан до своей женитьбы часто навещал курлеутов. В их ауле он и приметил Жауке, улестил обещанием жениться, и только лес мог бы поведать, в каких кустах встречались молодой джигит и девушка. Но лес молчал. Торсан женился на Бижикен. Жауке горевала, призывала аллаха покарать обманщика, но в конце концов простила его, еще до смерти Бижикен.

Жауке Торсану нравилась. Роста она, правда, небольшого, но прекрасно сложена, большие черные глаза, чистый лоб… Нрав у нее был несносный, верно, но Торсана это не беспокоило. Он из нее дурь вышибет!

В дом к Улпан он привез ее в марте.

– Вот вам келин, апа… – представил он Жауке. – Теперь будет кому о вас заботиться. А родом она из курлеутов, не чужая вам, младшая сестра…

Улпан поднялась навстречу молодой женщине, поцеловала ее:

– Пусть твой приход, шырагым, принесет в этот дом счастье.

Жауке быстро освоилась. Она прибралась в доме – дом после смерти Бижикен был неживым, запущенным. Жауке расспрашивала Улпан, что надо, как надо… В одном можно было ее упрекнуть: аульных женщин, которые помогали Улпан, Жауке восприняла как рабынь, батрачек – и разговаривала с ними пренебрежительно, и покрикивала, если ей казалось, что они что-то сделали не так.

А началось это с Дамели, которая первой попалась на глаза.

– Е-ей, старуха? Ты разве в гости в этот дом пришла? Надо что-нибудь делать, а ты одно знаешь – сидеть возле апы. Надо же хотя бы отрабатывать то, что ешь!

Дамели со слезами пошла к Улпан и та позвала Жауке:

– Шырагым… Ты не трогай эту женщину, она для меня – не посторонняя. Она близкий мне человек.

– Тогда пусть сидит сложа руки! – ответила Жауке, вильнула подолом и ушла взбешенная.

Давно уже так сложилось, что женщины, приходившие помочь, каждый вечер оставались с Улпан – чаю попить, поговорить. Но Жауке и этого не потерпела.

– Хватит… Можете все уходить… – распорядилась она.

Жауке рассчитывала с первых же дней захватить в доме власть. Стать хозяйкой. А хозяйка не она, а эта баба, Акнар, ишь ты… В одну из комнат нельзя входить лишь потому, что там в неприкосновенности стоит кровать Бижикен. В другой – она сама спит. В большой комнате – торчат целый день, посетители к ней идут с глупыми своими делами и просьбами. Жауке и Торсан вынуждены ютиться в боковой комнатушке, и Жауке без позволения не может ни к одной вещи притронуться!

По ночам она жалила Торсана:

– Какой ты сын в этом доме? Какой ты хозяин? Ты все наврал! Уже было – один раз меня обманул, богом клялся жениться. Второй раз – теперь… Говорил, что весь скот, все имущество будет принадлежать нам. А ты на побегушках у нее, эта баба посылает тебя на базар за покупками. Сын… Какой ты сын?! Ты в этом доме кушук-куйеу… Скоро она отправит нас жить в тот аул, где челядь ее живет!

Ну и язык… Чтобы хоть как-то уладить дело миром, Торсан уговаривал ее:

– Надо, чтобы хоть один год прошел со смерти ее дочери… Ты потерпи…

– Стану я терпеть! Вези меня домой. А обратно я приеду, когда минет годовщина по твоей возлюбленной, которую ты на меня променял!

– Перед людьми будет неловко. Пойми же ты, потерпи…

– Сколько можно терпеть? До тех пор, пока для своей возлюбленной ты не воздвигнешь мазар?

– Без этого нам тоже не обойтись… Не построить – сибаны обидятся…

– А ты на меня не обижайся, если я твоей бабе, твоей хозяйке нагрублю. Нет у меня сил терпеть!

Торсану стало не по себе. Нужно всячески избегать излишних осложнений. Видимо, придется поменьше разъезжать – ему казалось, если он постоянно будет дома, то сможет удержать Жауке, иначе натворит она бед.

– Жауке, айналайн… Ты постарайся понять, о чем я говорю… Дело тонкое…

– Не желаю я ничего понимать! А ты… Ты лучше повернулся бы лицом ко мне…

Торсан повернулся.

Он и в самом деле перестал ездить и с Жауке глаз не спускал. Улпан вела себя ровно, она никак не проявляла своих чувств. Скорее наоборот – предупреждала то, что могло вызвать со стороны Жауке грубость. Несколько тюков с покупками всю зиму оставались неразвязанными, Улпан вскрыла их, отдала Жауке новые ковры, новые одеяла и подушки. Велела перенести в ее комнату «борансуз-

айна» – трехстворчатое зеркало. Узнав о том, что Жауке ждет ребенка, Улпан давала ей советы, как должна вести себя женщина. Но на Жауке и это не подействовало – с каждым днем она становилась все нетерпимее, все придирчивее.

Если тереть в одном и том же месте – протрешь дыру. Если без конца растягивать – порвешь. Для Улпан – она и сама о том не подозревала – однажды наступил такой предел.

Мазар на могиле Бижикен был установлен. Как и положено – меньше отцовского. Улпан наблюдала, чтобы все было сделано как следует, а потом стала собираться в дорогу. В ее жизни кончилось время радостей, наступило время печалей, и конца им не предвиделось.

Собиралась она в Каршыгалы – на поминки, год миновал со смерти матери, Несибели. Шондыгул за оглобли откатил в сторону коляску и уже подвел тройку – тройку темно-рыжих. На темно-серых со смерти Бижикен Улпан ни разу не ездила. Рядом с коляской стояла Шынар – с кем еще, кроме нее, могла Улпан делить свое непроходящее одиночество? На тарантасе, запряженном парой, подъехал Иманалы.

Все было готово в дорогу, и тут из отау-юрты вышла Жауке и крикнула Шондыгулу:

– Е-ей!.. Коляску на место поставь! Запрягай тарантас… Не свататься же она едет!

Шондыгул мрачно спросил:

– Байбише сама так велела?

– Байбише?.. Я так говорю! Этого мало? Или ты не слышишь?

На шум голосов из отау выскочил Торсан и, недобро стрельнув глазами в сторону Жауке, прошел в большую юрту, где с

наступлением тепла обосновалась Улпан. Он, видимо, не стал вспоминать, что когда-то клятвенно обещал не садиться в ее коляску, чтобы над ним не смеялись…

– Апа… – мягко сказал он. – Мы хотели завтра в Кзыл-Жар. А ноги у вашей келин отекли, в коляске ей будет удобнее. Вы не возражаете?

Улпан все слышала, но разве обязательно, как Айтолкын, как Жауке – вступать в перепалку?..

– Мне все равно, – сказала она. – Тарантас тоже не развалится по дороге, в тарантасе я доеду до Каршыгалы.

В ауле у курлеутов Улпан ждали. Расставили юрту Артыкбая, вещи сложили, как они лежали при жизни батыра и Несибели. В поминках участвовали все сорок семей. Пришел и Рымбек, очень почтительно разговаривал с Улпан.

Здесь она немного отдохнула душой. Рядом были люди, которые много лет помогали ее родителям, обогревали их старость, их покой. Она считала своим долгом вознаградить их. Чем?.. Двадцать лет назад, когда она вышла замуж за Есенея, у отца оставалась дюжина лошадей, табун, из-за которого ее чуть не похитили братья Мурзаша… Теперь лошадей стало шесть дюжин, пусть пригонят этих лошадей, она раздаст друзьям Артыкбая и Несибели.

Накануне вечером она сказала об этом, утром повторила просьбу, и никто не возражал. Но и табун не пригоняли. В полдень к ней в юрту пришли четыре аксакала, из тех, что помнили Улпан девочкой, которая взбиралась на спину Есенея, мешая ему совершать намаз.

– Улпанжан… – сказал самый старший из них. – Все твои приказания можно выполнить, кроме одного. Твой табун нельзя пригнать…

– Почему?

– Торсан все табуны, и твой с ними, велел перевести из Каршыгалы на земли шайкоз-уаков. Две недели тому назад приезжал и так распорядился.

Заговорили и другие аксакалы:

– Да, со всеми угнали и табун Артеке…

– Десять джигитов было – шайкозов, они табунщиков прогнали, а табуны повернули к себе…

– И у самих табунщиков отобрали лошадей. Наверное, хотели, чтобы весть об этом дошла до аула с опозданием. А мы и не могли тебе сообщить, Улпанжан, зная, в каком ты горе.

– А некоторые подумали – может, ты сама велела… Но этого аксакала оборвал самый старший:

– Что глупости говоришь? Какие это – некоторые? Никому и в голову не могло прийти! Мы сразу поняли – подлость, подлость кроется за этим!

Не могла Улпан делиться с ними своими печалями.

– Не знаю… Торсан в Кзыл-Жар уехал… – сказала она. – Я не успела его повидать. Может быть, он хотел пастбища в Каршыгалы сохранить нетронутыми для зимы…

Аксакалы больше ни о чем не расспрашивали. Молчал Иманалы, который слышал весь разговор. Молчала Шынар.

Улпан нечего больше было здесь делать. Хоть время и перевалило за полдень, Шондыгул принялся запрягать в тарантас темно-рыжих.

Перебирая свои четки, за ними ехал Иманалы.

По дороге из Каршыгалы было много озер. Гуси и утки с подросшим потомством готовились к дальнему перелету. Летом они учили

птенцов плавать, а сейчас – тянулись в небе треугольники гусиных косяков, стаями проносились утки. Родители и в воздухе держались впереди, и птенцы покорно следовали за ними, у них учась выбирать направление, держаться строем, и на озере тоже не отставали от старших, которые выбирали участки, богатые кормом. Им никто не мешал – аулы откочевали с джайляу на осенние пастбища, а с отлетом птиц на озерах наступит полная тишина, до следующей весны.

Когда проезжали мимо большого озера, которое по краям заросло камышами, начавшими золотиться, Улпан сказала:

– Шынар, а помнишь – мы с тобой такое озеро ни за что не пропустили бы без того, чтобы не искупаться. Стареть, что ли, начали?

– Почему это – стареть? – откликнулась Шынар. – Я тоже подумала, мы всегда пользовались случаем поваляться на траве… А то и заночевать под открытым небом.

– Может, останемся здесь, у озера? А на рассвете – дальше? Тем более, что выехали поздно, и солнце идет на закат…

– Давай, Улпанжан… Кто может нам помешать?

Выбрав место, где поставить тарантасы, Улпан и Шынар отошли подальше. Вода уже была холодноватая, и потому они не заплывали далеко, а поплескались, потерли одна другой спины – и скорей на берег, обтереться и одеваться. Теперь уж до будущего лета ни за что не полезешь в воду…

Костер из кизяка, разложенный Шондыгулом, багровыми языками выделялся в сумерках. Было мясо, был кумыс. Не хватало только песен у костра… Но кто станет их петь? Иманалы одно знал – перебирать четки и считать, сколько раз за день он перебрал – одну

за другой – янтарные костяшки… А Шондыгул намаз не читал, какие у него грехи, чтобы нужно было замаливать их?

Не хватало у костра и неторопливого душевного разговора, но Улпан знала, что друзья тоже подавлены случившимся, и, если не начнет она, за весь вечер никто и слова не вымолвит. А начать и ей было трудно… Сердце у нее дрогнуло, когда в Каршыгалы аксакалы сказали… Виду она не подала, но понимала – если Торсан решился на это, если он забрал лошадей и у табунщиков-курлеутов, которые двадцать лет пасли табуны, значит, он начал действовать напропалую… Ей хотелось поделиться этими мыслями со своими, но подступила она к разговору издалека:

– Послушай, мой деверь… – обратилась она к Иманалы. – Раньше я звала тебя деверь-драчун, деверь-забияка… А как теперь звать, не знаю! От тебя слова не услышишь, только и шепчешь молитвы. А руки постоянно заняты четками.

– Что мне остается на старости лет, Улпанжан? Грешен я многими грехами…

Улпан продолжала, не отрывая глаз от пламени костра:

– А мне что прикажешь делать? Сам грешен, хочешь, чтобы и я держала грех на душе? Вот человек!.. Должен получить от меня свою долю наследства, а не хочет, никак его не уговоришь! Значит, и на мне грех, раз я до сих пор не отдала!

Шынар слишком хорошо знала ее и поняла – Улпан только начала, а сказать им она хочет что-то важное… И Шынар не ошиблась.

– Еще при жизни Бижикен, – сказала Улпан, – я велела составить бумагу, дарственную… О том, что половина наследства принадлежит ей и Торсану. Теперь что ж… Эта половина стала добычей Торсана. А

другая – остается у меня. Но я надеюсь – не сегодня, так завтра Иманалы, бывший драчун, возьмет ее…

Ее терзало то, что половина достояния, которое можно считать сибанским достоянием, ушла к шайкозам, и себя она винила в этом, и раскаивалась…

К вечеру следующего дня Улпан и ее спутники добрались до озера, где сибанские аулы проводили осень. Но ее аула на месте не оказалось. Ребятишки, окружившие в ожидании подарков ее тарантас, радостно сообщили:

– Апа! Ваш аул вчера уехал!

– Они говорили – хотят пораньше в зимние дома!

– А вы тоже поедете, апа?..

Улпан раздала им конфеты, баурсаки, все, что было у нее, и поехала к Шынар, у нее ночевала. Стояло тепло. На полянах, на опушках лесов стрекотали сенокосилки, на желтых пшеничных десятинах сновали жнейки. Что за необходимость была у Торсана так рано возвращаться в Суат-коль, вполне можно было побыть еще здесь.

Ее тарантас въехал за ограду усадьбы, остановился у высокого крыльца. Ее удивило, что во дворе было много незнакомых шайкозских джигитов, вели они себя как дома, переговаривались, не обращая на нее никакого внимания. Возле особняка для гостей толпились люди, разодетые в мундиры с белыми воротниками и начищенными медными пуговицами, в скрипучих новых сапогах… Наверное, какое-то собрание их волости, подумалось Улпан. На крыльце животом вперед стояла Жауке, она не поздоровалась с Улпан, не сдвинулась с места, – она как бы охраняла дверь. К тарантасу подошла Дамели.

– Улпанжан… – сказала она вызывающе и достаточно громко, чтобы все ее слышали. – Улпанжан, ты теперь не в своем доме будешь жить, а в доме, где гости останавливаются…

К ней уже спешил Торсан в сопровождении чиновника, тоже незнакомого для Улпан.

– Апай… – начал он. – В большом доме набралось полным-полно гостей, повернуться негде… Вы обидитесь, я знаю, но поселитесь в гостевом особняке…

На этот раз он не назвал ее апа, как мать, как старшую сестру. Он сказал – апай, как можно обратиться к любой посторонней женщине.

Улпан молчала, и тогда взорвалась Жауке, она по-прежнему закрывала собой входную дверь в большой дом.

– Что ты?.. – закричала она. – Что стелешься перед ней?! Мы с тобой могли тесниться вдвоем в маленькой комнатке? А сейчас ты воображаешь, что одной комнаты для нее – для одной будет недостаточно?!

Один раз Улпан должна была сказать и сказала:

– Подлая ты тварь… Ты думаешь, ты добилась своего? Подожди! Все унижения, которые я испытала от тебя, ты еще почувствуешь на своей шкуре! Ты на тот свет не уйдешь, пока не заплатишь за все сполна… Будьте вы прокляты! Сибаны отомстят вам за меня, за Улпан, жену Есенея!

Не драться же было с Жауке, и Улпан прошла в гостевой особняк. В прихожей между двумя комнатами, расположенными по образцу хоржуна, валялось множество сапог, головки у них были потерты стременами.

В большой комнате человек пятнадцать резались в карты.

– Когда у них семнадцать очков, русские не берут карту… Говорят – казна…

– А я русский, что ли?

– Ты не русский и не казах, а – собака!

– Но я хоть не вор, как ты, из тюрьмы не сбегал!

– Ты?.. Ты сам грязная свинья, такую свинью в тюрьме надо сгноить!

Таких гостей этот дом еще не видел.

Те, что заметили Улпан, начали перемигиваться, переговариваться…

– О, смотри!.. Нам скучно не будет…

– Дай бог, дай бог…

– Не пропадем…

Дамели провела Улпан в маленькую боковую комнату. Там стояла ее кровать и сложена была постель Бижикен. стояло французское трюмо – среднее зеркало, самое большое было разбито, похоже – камнем ударили, не могли так разбить при переноске. Зеркало еще год почти назад Улпан подарила Жауке, ей самой – не для кого было больше и незачем всматриваться в свое отражение… Теперь зеркало к ней вернулось…

Она тяжело опустилась, подложила под локоть подушку.

– Чай у тебя есть, Дамели?

– Есть, айналайн, как не быть… Чай они пили вдвоем.

– Твоя Зейнет – хорошо живет? – спросила Улпан. – Ты довольна своим зятем?

– Очень довольна, Улпанжан, – ответила Дамели. – Работящий джигит оказался, заботливый. Ему и сенокосилка послушна, и

жнейка… И он не только водить их умеет… У кого сломалось, сразу бегут к нашему Тасгамбеку. Знают, он починит!

– А с тобой он как?

– Улыбается… Говорит: «Апа, я в тебя пошел, минуты без дела не могу просидеть». А внуки… Одного возьмешь за руки, другой плачет, того приласкаешь, этот начинает…

– И пусть всегда так будет у тебя, Дамели…

После чая Улпан сходила на могилу Бижикен, в одиночестве посидела в мазаре. Конечно, теперь-то ясно – когда она ездила в аул к Торсану, кто-то рассказал девочке про Жауке, что муж продолжает с ней встречаться, хоть в жены и не взял… Но почему она таилась от матери? Разве Улпан не сумела бы успокоить ее, утешить?.. Когда-то она принесла в комнату к Есенею годовалую Бижикен. А он даже не мог подержать ее на руках. Попросил: «Акнар, унеси ее…» Он мог только вести отсчет, сколько ей исполнилось – один год, один месяц и один день… два года, два месяца и два дня… Он прислушивался – сегодня Бижикен плакала два раза и смеялась пять раз…

Дома Улпан, хоть и рано было, легла в постель. Ее знобило… Она попросила Дамели, которая собралась к себе:

– Дамели-апа, ты пошли кого-нибудь за Шынар. Пусть придет ко мне, пораньше придет – до восхода солнца…

– Хорошо, айналайн, пошлю…

Длинная цепь подлостей Торсана замкнулась здесь, в этой комнатке, куда ее переселили из собственного дома, где она хорошо ли, плохо ли – прожила жизнь. Казалось бы, пустяк – коляска для поездки в Кзыл-Жар, но началось с коляски… А наверное – раньше, только Торсан прятал свое лицо. А теперь решил – больше незачем. Табуны из Каршыгалы перегнал на земли шайкозов, и табун ее родителей с

ними. И у табунщиков забрал лошадей, до единой! Понятно и то, почему он и Жауке поторопились в Суат-коль с осеннего становища. Надо было занять дом, а Улпан, переселив ее сюда, превратить в жалкую приживалку, у которой и права на свое слово нет!

Нет, нет, нет, нет… Я – Улпан! Стоит мне кликнуть клич, и сибанские джигиты вскочат на коней! Торсан на всю жизнь забыл бы дорогу в усадьбу Есенея! Но он же в своей подлости ни перед чем не остановится… Прогнать его – и он лучших людей сибанов на протяжении дня сошлет в край собачьих упряжек. Мало ли у него друзей среди чиновников – вон и сегодня полон дом, едят, пьют и уедут с богатыми подарками…

Я бы, продолжала Улпан горькие размышления, согласилась поселиться на самом краю аула, в самой черной залатанной юрте… Но неужели я должна буду проходить мимо своих домов с закрытыми глазами? Когда пойду на кладбище… И даже не в этом главное! Я не смогу переносить взгляды жалости… взгляды сочувствия. А разве выдержит сердце – каждый раз слушать колокольцы под дугой, когда станут проезжать мимо?

Неотступные мысли опутывали ее, как неистребимый вьюнок опутывает стройную белую березу. Не только горестные – перед нею проходили и те дни, когда она была счастлива, когда сородичи Есенея в один голос твердили: пусть воздастся Акнар за добро, которое она для нас сделала.

Воздалось…

Какой мерой измерить мучения, выпавшие на ее долю? Она теперь, как никогда раньше, понимала Есенея. Прикованный к постели тяжкой своей болезнью, уверенный, что никогда больше не поднимется, Есеней однажды сказал ей: «Акнар… Сколько мук тебе досталось… И все из-за меня! А мне чего ждать? Тянуть вот такую

собачью жизнь? Открой сундук. Там шкатулка позолоченная, достань маленький флакон, запечатанный. Дай мне… Лучше сразу – залить нору, в которой меня терзают мои муки».

Улпан достала флакон, похожий на маленькую тыковку, подержала в руках, рассматривая. «Яд?» – спросила она. «Да, купил когда-то у джунгарского купца, лошадь отдал. Думал – пригодится, если на войне возникнет опасность попасть в руки к врагам». – «Но такой опасности нет», – ответила ему Улпан и тыковку унесла с собой.

В другой раз он глазами показал на свой кожаный пояс с кистями, который висел на стене. «Акнар, тебе не жаль меня? Возьми лучше вон тот кинжал с позолоченной рукояткой, дай мне. У меня еще хватит сил, самому…»

Кинжал она тоже унесла, и кинжал, и тыковку хранила в своей комнате. Теперь я его понимаю, думала она, я понимаю, что была безжалостной, ведь может наступить такое время, когда жить нельзя.

Она встала, вынула из шкатулки тыковку, а кинжал – из ножен, и снова легла. Что может она пожалеть из того, что оставит? Я ничего не оставляю. Рукоятка кинжала холодила ладонь, будто она к камню прикоснулась в мазаре Есенея. Прозрачная – из синего хрусталя – тыковка согрелась в руке, как согревалась когда-то рука маленькой Бижикен.

Улпан отложила яд, снова взяла кинжал. Подержала. Сунула обратно под подушку. Подождать Шынар? Но они простились в тот вечер, когда – в последний раз – купались в осеннем озере и ночевали в открытой степи. Шынар начнет говорить то же, что она сама говорила Есенею…

Несколько слов на прощание

Осенью 1928 года меня ждала Кзыл-Орда, тогдашняя столица Казахстана. Меня переводили туда на работу. А перед тем, как обосноваться на новом месте, я побывал дома. Наши проводили лето на берегах озера Кожабай, памятного мне с детства, и хорошо было побездельничать, покупаться, попить кумыса, терпкого, каким он бывает поздним летом. Но все на свете кончается, и настало время ехать. Мой старший брат, аульный учитель Хамит повез меня на станцию – в Лебяжье.

Дорога вела мимо кладбища, где сибаны издавна хоронили сородичей, со всех десяти аулов.

– Смотри… – сказал мне Хамит.

Уезжали мы в пятницу, и в этот день поклониться усопшим и почтить их память пришли старики. Слепой Исахмет, он носил звание «кари», кари – это человек, который наизусть может прочесть коран, весь, строка за строкой, суру за сурой. С ним был кузнец Тайжан, которого вся наша детвора любила за бесконечную доброту и постоянную готовность откликнуться на мальчишеские наши беды. Возле могилы сидели и еще аксакалы – Наргожа и Сулеймен, самый младший сын Иманалы.

Когда мы подъехали, Исахмет-кари читал молитву. А сидели они возле могилы, надгробием служил большой белый камень, поблескивали многочисленные вкрапления, должно быть, кварцевые. Мы с Хамитом спешились, подошли – я хотел поздороваться и попрощаться со стариками.

Кари Исахмет был знатоком корана. Он хорошо разбирался в родословной казахов и говорил о давних событиях так, будто все это случилось вчера или позавчера… Но он чутко прислушивался и к тому, что происходит сегодня, и его суждения были меткими, а

советы дельными. При том, что его называли – кари, он не был истовым богомолом, каким, к примеру, кончил свои дни Иманалы.

Кончив молитву, Исахмет обратился ко мне:

– Габит… А ты знаешь, чья это могила?

– Знаю, – сказал я. – А если бы не знал, то прочел бы надпись на камне. Улпан… Наша общая мать Улпан.

– Верно… – Он обрадовался, наверное, тому, что вот и молодежь, а я тогда бесспорно относился к этой части населения, с почтением относится к давно ушедшей женщине и помнит ее имя. – Улпан осталась в памяти и останется, пока на свете найдется хоть один сибан. Безлошадным – она давала лошадей, она кормила голодных, она первой начала сеять хлеб в. наших краях – и многих спасла от голодной смерти. Любой бедняк всегда мог рассчитывать – он найдет у нее поддержку да помощь. Столько добра сделала, а сама умерла в горе, в несчастье…

Его слова подтвердили и другие старики.

– Такой, как она, у нас больше не было… – вздохнул Наргожа. – А мужеством она превосходила любого мужчину. Это и сам Есеней признавал.

– Есеней знал, что Улпан ничего худого не подумает, не скажет и не сделает, – вступил в разговор кузнец Тайжан. – Ее все керейские бии, все волостные боялись. Знали, ни одна их хитрость или подлость не укроется от глаз Улпан, а ее слово – стрелой их могло пронзить…

– Бояться-то боялись… – сказал Сулеймен. – Но после смерти Есенея за все сполна решили с ней рассчитаться! Зависть… Скрытая ненависть… В конце концов именно они и столкнули ее в преисподнюю, к прожор Торсану…

Преисподняя… прожорливый Торсан… Это, может быть, звучало немного вычурно, зато верно. Хуже адских мук – то, что должна была пережить Улпан в последние годы и особенно в последние месяцы своей жизни. Я уже и тогда многое знал о ней, о ее временах. Но молчал. То, что я знал, – никуда не денется. Мне стариков важно было послушать.

Тайжан положил ладонь на белый камень:

– Теперь говорят, что святых не бывает… А наша Улпан?.. Ее могила никогда не оседала… Свежая, как будто вчера насыпали… И гребень всегда острый, четкий!

– Это понятно – почему, Тайжеке… – сказал Исахмет. – Сибанские женщины в первые пять лет ухаживали за могилой Улпан, стоило пройти дождю, а весной – после таяния снегов, женщины в белых платках приносили землю, добавляли… Потому могила столько лет и держится.

Я спросил:

– А кто поставил белый камень? Не Торсан ли?

– Торсан?.. – переспросил, будто не расслышал, Исахмет. – Как же! Торсан расщедрился бы!.. Это – наши сибаны. А Торсан придавил могилу маленьким серым камнем, где-то по дешевке раздобыл его. Два года пролежал, потом выбросили. Сообща аулы решили – Акнар достойна лучшей памяти. Я уж не знаю, где раздобыли этот, откуда привезли…

Моих познаний в минералогии не хватало, чтобы определить – где какой камень добывают. Скорей всего, это был мрамор, но такого я раньше не встречал. Яркими звездочками поблескивали прожилки и точки, вроде бы действительно – сияние исходило от могилы женщины, чье имя так много значило в памяти окрестных аулов.

Может быть, это сияние и заставило Тайжана-кузнеца вернуться к мыслям о святости Улпан:

– Если бы иначе было, разве сбылись бы ее слова? Перед смертью, потрясенная черным вероломством Торсана, она прокляла его и его семью: «Ты на тот свет не уйдешь, пока сполна не заплатишь за все мои муки и унижения!» Так она сказала.

– Наш отец много лет не ладил с Улпан, не признавал ее, – сказал Сулеймен. – А потом все переменилось, мы от него только хвалу слышали, когда речь заходила о ней. И в своих намазах он постоянно поминал ее имя.

Судьба Торсана и в самом деле могла бы послужить подтверждением старой народной мудрости, что зло не остается безнаказанным. Не всегда, к сожалению, так случается, но с Торсаном – случилось… Когда он постарел, управление делами волости уаков перешло к его старшему сыну Шокану. Но Торсан все время вмешивался и творил то, что творил всю жизнь, – несправедливости. Не выдержав, Шокан покончил с собой – всадил себе в сердце остро отточенный нож.

Сам Торсан умер значительно позднее – в 1920 году, глубоким стариком. Семья распалась. В один день, после бурной ссоры, его сыновья разбрелись кто куда. Двое отправились искать счастья в аулах у родственников их жен, третий – куда-то совсем далеко. Дома, поставленные Улпан, опустели. Так рухнул шанрак Торсана. Управители, которые в своей волости распоряжались как дома, хозяева жизни, таксыры – сыновья Торсана заканчивали свой жизненный путь в полном ничтожестве и нищете. Мне это впоследствии довелось увидеть собственными глазами.

А в тот день – на кладбище – после смерти Торсана миновало восемь лет, но не было человека, который пришел бы прочесть молитву на

его могиле. Не было человека, который хоть бы лозинку посадил в изголовье. Земля осела, из ямы торчали старые подгнившие накаты из досок. Говорят, дочь – чужое добро, сын бросит горсть земли на могилу отца… Но сыновья Торсана никогда больше сюда не возвращались. Торсану самому это, понятно, было безразлично, но все жители сибанских аулов считали это действием Улпанова проклятья.

– А отчего умерла наша Акнар? – спросил я. – Ей же не так много было лет…

– Как это случилось, Габит, знала одна Шынар, твоя прабабушка, – сказал Тайжан. – Но она эту тайну никому не раскрыла, с собой унесла.

– Она пришла в дом на рассвете, – поделился Сулеймен тем, что знал. – Первой увидела… Твоя прабабушка обмыла Улпан, завернула в белую кошму, перевязала в трех местах… Мы на похоронах были, но близко нас не подпускали – маленькие. Лица ее так и не видели.

Исахмет-кари подвел черту, как теперь сказали бы:

– Вот что сохранилось… – сказал он. – А народ никогда не ошибется. Народ может услышать неточно и, чтобы эту неточность исправить, кое-что видоизменяет. Так что, все про Улпан – достоверно, Габит… Правда, не исключено – что-то преувеличили, что-то забыли, что-то преуменьшили. Но так было…

Мы с Хамитом, хоть впереди нас ждала длинная дорога, сидели, слушали…

Наргожа вспоминал:

– Мусреп, твой прадед, был верным другом Акнар-байбише… В ауле у нас его все любили. Мальчишками мы не раз дрались, кому вести на водопой к озеру лошадь Мусрепа. А кони у него были лучшие из

лучших, в конях он толк знал. И Шынар ничего не жалела для аульных ребятишек. К ней прибегали, и никто с пустыми руками не уходил. Она умерла молодой, и Мусрепу на старости лет пришлось тяжело. Ботпай, младший его сын, больше по тоям разъезжал. А старший…

Про старшего я знал, потому что это был мой дед. Что-что, а сильным хозяином никто не решился бы его назвать.

Мы с Хамитом прошли к могиле Мусрепа. В изголовье, закрывая ее ветвями от солнца, стояли две старые морщинистые березы. Никто их не сажал, они когда-то выросли сами, а это считалось добрым предзнаменованием.

На этом можно было бы закончить. Но был еще один случай, который снова свел меня с Улпан.

Осенью 1941 года мне надо было попасть в свой аул, и в Петропавловске мне дали машину, чтобы доехать.

Лил дождь. Дорога расплылась, потому что никакого асфальта тогда и в помине не было. Старый «пикап» со стертыми покрышками принялся выплясывать, едва мы выехали за город. Пикап то съезжал влево, то – вправо, а то принимался буксовать на месте и после нескольких отчаянных попыток двигался дальше. Так мы и ползли. Шоферу, раненному в первые дни войны и теперь находившемуся в отпуске, не под силу было подчинить машину, и он возмещал это замысловатой, непревзойденной руганью. Он высказал все, что думает о дороге, о гитлеровских фашистах, из-за которых покрышки лысые, а новые взять негде.

Уже совсем ночью мы кое-как доползли до какого-то поселка. В домах было темно, и снова шофер гробанул Гитлера, из-за которого у людей нет керосина для ламп. И все же одно окно светилось. В большом доме на площади. Шофер вылез и, хлюпая по воде сапогами, пошел проситься на ночлег.

Сквозь дверь ему отвечал женский голос:

– Сторожиха я… Старуха… В колхозной конторе. Ничего не знаю – кто вы, что за люди… Не пущу. Боюсь.

Шофера я пристыдил:

– Эх, ты… Сказал бы – у нас хлеб есть, немного сахару и чай для заварки. Колбаса. Бутылка водки.

Должно быть, такое изобилие произвело впечатление. Жила сторожиха в боковой комнатке, а дом – и в темноте было заметно – стоял высокий, добротный, из сосновых бревен. Человеку дом прежде принадлежал состоятельному. Сторожиха вскипятила чаю. Мы выпили по стопке водки, и она подобрела.

– Может, имеете желание в баню? Должно, не остыла…

Со времен Улпан наш род привык к бане… Ведро воды шофер плеснул в печь, и нас обдало паром. Шофер первым взобрался на полок, и оттуда раздался его голос:

– Надо еще поддать… А то мы и не согреемся путем…

Жестяным ковшом с длинной ручкой я почерпнул в бочке воды и опрокинул на раскаленные камни в топке. На одном из них – я не поверил глазам – появилась надпись. Неполная… Улп… Я еще плеснул. Нет, все то же – Улп… А когда-то имя читалось полностью, когда мы с Хамитом по дороге в Лебяжье…

Для Исахмета, которому я на следующий день в своем ауле рассказал, это не было неожиданностью.

– Е-е, Габит… – с горечью сказал он. – Есть люди, для них мучения со смертью не кончаются. Исчез белый камень. Давно. Был слух – какие-то джигиты продали по сходной цене…

Я не стал ни о чем допытываться.

Многие годы я не забывал о женщине, она родилась раньше своего времени и покинула этот мир с тяжестью неисполненных желаний и неосуществившихся надежд. Все это было и прошло – за один день и одну ночь… Но Улпан, как видение бесконечно далеких уже времен, оставалась со мной, и я должен был вернуть ее, что и сделал, правда, с большим опозданием, по своему обыкновению…

КОНЕЦ